

Артур Лесли Мортон

4.07.1903 - 1987

АНГЛИЙСКАЯ УТОПИЯ

A. L. MORTON. THE ENGLISH UTOPIA

London, 1952

Перевод с английского *О. В. ВОЛКОВА*

Под редакцией и со вступительной статьей *В. Ф. СЕМЕНОВА*

М.: Иностранная литература. 1956

Веб-публикация: [мистер Невилл](#) и редакторы библиотеки [Vive Liberta](#) и [Век Просвещения](#), 2010.

Вступительная статья

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. РАЙ БЕДНЯКА

1. Страна Кокейн
2. История Кокейна

ГЛАВА II. ОСТРОВ СВЯТЫХ

1. Мор — гуманист
2. Мор — коммунист

ГЛАВА III. РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

1. Новая Атлантида
2. Реальное и идеальное государство
3. Утопия и реакция

ГЛАВА IV. СМЯТЕННЫЙ РАЗУМ

1. Конец Кокейна
2. Буржуазный герой обретает Утопию
3. История Гулливера

4. Берингтон и Палток

ГЛАВА V. ВОССТАВШИЙ РАЗУМ

1. Справедливость политическая
2. Утописты-социалисты
3. «Книга машин»

ГЛАВА VI. МЕЧТА УИЛЬЯМА МОРРИСА

1. Новости из Бостона
2. «Вести ниоткуда»
3. Создание Призрака

ГЛАВА VII. ВЧЕРА И ЗАВТРА

1. Утопия из целлофана
2. Разрушители машин
3. Последняя фаза

КОНЦОВКА: ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ О КОКЕЙНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТРАНА КОКЕЙН

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Тематические ссылки

Утопический роман XVI-XVII вв. Утопии и действительность - вступ.статья Л.Воробьева. *Фрэнсис Бэкон*, «Новая Атлантида». *Дени Верас*, «История севарамбов»

<http://enlightment2005.narod.ru/arc/utopia1.pdf>

с обсуждением и дополнительные ссылки

<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p84146792.htm>

Французская литературная сказка XVII-XVIII вв.

Франсуа Салиньяк де Ла Мот Фенелон. История Флоризы. Путешествие на остров Наслаждений

<http://enlightment2005.narod.ru/arc/Novel.pdf>

с обсуждением

<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p64939888.htm>

Т.Лабутина. «Консерватор» Свифт и «реформатор» Дефо

http://vive-liberta.narod.ru/journal/labut_xvii.pdf

В.Волгин. Сборник работ «Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в.»

Коммунистические течения в средние века (катары, вальденсы, дольчиане, беггарды, Джон Виклеф, Джон Болл, табориты, адамиты, гернгутеры)

Историческое значение «Утопии»

Коммунистическая утопия Т.Кампанеллы

Социалистические идеи в Англии XVII века (Джерард Уинстенли, Джон Белларс, Корнелиус, Эверард)

Социалистические идеи в Англии XVIII века (Морелли, Уоллес, Томас Спенс, Огильви, Голл, Томас Пейн)

Социальные идеи В.Годвина

http://enlightment2005.narod.ru/science/volg_soc4.pdf

В.Волгин. Французский утопический коммунизм

http://narod.ru/disk/8863360000/volgin_soc1.pdf.html

Подборки

Вильям Годвин <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#godw>

Вильям Блейк <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#WB>

Перси Биши Шелли <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#shellY>

Этьен Кабе <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#cabet>

Томас Пейн <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#tomp>

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Настоящая книга «Английская Утопия» принадлежит перу английского прогрессивного историка А.Л.Мортон, имя которого уже известно советской общественности. В 1950 году Издательством иностранной литературы был опубликован большой труд А.Л.Мортон «История Англии», которым с тех пор широко пользуются в СССР и преподаватели, и аспиранты, и студенты исторических факультетов. В своей новой монографической работе А.Л.Мортон поставил своей задачей проследить развитие социально-утопической мысли в Англии на протяжении большого периода — с XIV по XX век. Автор правильно объясняет в своем введении факт наиболее широкого распространения этого рода литературы именно в Англии тем, что в этой стране раньше, чем в других странах, началось и быстрее, чем где-либо, происходило разложение феодализма и развитие капитализма, что здесь это развитие приняло особенно четкие, классические формы (стр.13). Именно противоречия капиталистического строя, проявившиеся наиболее ярко в Англии — стране старейшего капитализма, — порождали в ней наибольшее количество утопий, в которых, как правило, говорилось о совершенно ином общественном порядке, основанном на иных принципах, чем капитализм, — на принципах общей собственности, планового хозяйства, товарищеского сотрудничества, полного и всестороннего удовлетворения потребностей всех людей. Правда, в Англии создавалось не мало и буржуазных утопий, представлявших собой усовершенствованный вариант того же буржуазного строя, но основными и по численности и по силе своего влияния на народные массы были утопии, содержащие именно антикапиталистические тенденции и мотивы.

Весьма ценной является и другая общая мысль автора книги о том, что утопии — это не просто творчество, фан

тазия, мечта отдельных лиц, что они восходят к сознанию народных масс, что «раньше... поэтов, пророков и философов существовал простой народ», что народная утопия может служить своего рода мерилom для литературных утопий (стр.17—18). Совершенно правильно и заключительное положение, развиваемое автором в последней главе жншгя, о том, что в основе утопий лежат поиски народными массами реального выхода из тяжелого положения их ;в классовом обществе, что новое совершенное общество (о котором ранее мечтали утописты) — это и есть коммунистическое общество, создаваемое и осуществляемое силами рабочего класса. Большим оптимизмом в этом отношении звучит одна из заключительных фраз книги: «Сегодня длинный ряд славных утопических писателей влился одним из потоков в могучую реку социалистического движения и внес в него свой благородный вклад. Сегодня миллионы людей убеждены в том, что Утопия — не в виде какого-то совершенного, а потому неизменного общества, а в виде живого общества,двигающегося все к новым победам, — будет достигнута, если люди будут готовы за нее бороться» (стр.260).

Содержание предлагаемой читателю книга А.Л.Мортонa весьма богато и разнообразно. В первой главе — «Рай бедняка» — автор подробно останавливается на «Стране Кокейн», анализируя эту старинную балладусатиру о счастливой сказочной стране, в которой изобилием могут пользоваться все люди и притом без особого труда. В русском народном фольклоре этот мотив также нашел свое отражение в различных сказках и присказках о «молочных реках с кисельными берегами» и т.п. Не скрывая известной примитивности и наивности этого идеала, автор правильно подчеркивает социальную направленность данного популярного произведения, в котором отразились мечты народа о «золотом веке», представляющие собою отголоски ещё первобытно-общинного строя. В то же время автор подчеркивает противоположность идеологии «Страны Кокейн» официальным господствовавшим в средние века, религиозным, христианским теориям о незыблемости феодального строя, о греховности человеческой природы самой по себе и о необходимости для человека примириться с существующей действительностью, возлагая надежды на улучшение положения лишь в загробном, потустороннем мире. А.Л.Мортон по-

казывает большое влияние «Страны Кокейн» на последующих писателей, развивавших в своих произведениях основной лейтмотив этой наиболее ранней и в высшей степени оригинальной утопии. Влияние «Страны Кокейн» автору удастся проследить до произведений даже XIX века, и притом не только в Англии, но и в Америке.

Во второй главе — «Остров святых» — Мортином дает весьма глубокий, интересный и всесторонний анализ знаменитой «Утопии» Томаса Мора. Твердо можно сказать, что до сих пор в английской литературе, несмотря на обилие работ на эту тему, не было еще такого живого, смелого и острого анализа этого замечательного произведения. Автор рассматривает Томаса Мора всецело в условиях его времени, подчеркивает ряд малоизвестных черт в биографии самого Мора: в моровском идеале «Утопического острова» вскрывает черты, предвосхищающие позднейший научный социализм и коммунизм.

Мор как гуманист с его гуманистическим окружением в Англии начала XVI века показан в этой главе в высшей степени ярко и конкретно. Ниже мы коснемся тех спорных оценок, которые, с нашей точки зрения, имеются у автора по этой в общем весьма удачно написанной главе.

Очень интересна третья глава монографии — «Революция и контрреволюция». В ней идет речь об эпохе великой английской буржуазной революции середины XVII века и ее социальных последствиях. Мортон совершенно правильно характеризует двойственную сущность буржуазных революций, которые, с одной стороны, обещают свободу и облегчение положения народным массам, а с другой — фактически завершают победу над феодализмом установлением власти только имущих классов. «Буржуазная революция, — пишет автор, — всегда представляет собой результат действия комбинации классовых сил. Буржуазия втягивает в борьбу под стягом освобождения от привилегий значительную часть неимущих классов. В результате, как только пройдет первая стадия, начинается борьба между теми, кто хочет ограничить революцию уничтожением феодальных привилегий и королевского абсолютизма, и теми, кто стремится ее продолжать, чтобы уничтожить или ограничить власть имущих, без чего недостижима та демократия, во имя которой борются массы» (стр.89—90). Отсюда обилие всяких конституционных проектов — умеренных и радикально-демократических —

во всех трех классических буржуазных революциях: английской, американской и французской. Отсюда и обилие всякого рода новых социальных утопий в Англии XVII века, отразивших, с одной стороны, планы и рецепты реформ самой буржуазии и, с другой — надежды упования и мечты демократических слоев населения.

Мортон подробно анализирует «Атлантиду» Фрэнсиса Бэкона (относящуюся еще к кануну революции), утопию Сэмюэля Гартлиба «Макария» (относящуюся к началу революции) и «Океанию» Джеймса Гаррингтона, появившуюся в 1656 году, уже во времена Протектората Оливера Кромвеля. Далее в этой главе рассматривается ряд утопий периода Реставрации, то есть второй половины XVII века. К сожалению, знаменитая утопия Джерарда Уинстенли «Закон свободы» не рассматривается специально Мртоном, что, конечно, является значительным недостатком его исследования.

Весьма содержательными в книге являются четвертая и пятая главы — «Смятенный разум» и «Восставший разум», в которых анализируются многочисленные утопические произведения XVIII века и первой половины XIX века. Дефо, Свифт, Берингтон, Палток, Годвин, Шелли, Блейк, Стене и другие авторы XVIII — начала XIX века, обычно изучаемые с точки зрения развития английской классической литературы и политической мысли, автором настоящей книги рассматриваются в другом аспекте — с точки зрения обнаружения в их творчестве социально-утопических мотивов. Весьма ценным является подчеркивание автором международного значения Великой французской буржуазной революции XVIII века, давшей мощный толчок развитию социальной и политической мысли в Англии. Известное внимание автором уделено и представителям утопического социализма первой половины XIX века в Англии, прежде всего Роберту Оуэну, хотя пропорционально место, отведенное этому крупнейшему теоретику утопического социализма в книге Мортонa, занимает сравнительно мало страниц. Автор в своей книге ограничивается анализом главным образом тех произведений, которые включают в себе элемент фантазии, а не являются абстрактным сочинением типа социально-политических трактатов.

Интересный очерк содержится в пятой главе об утопических взглядах Джона Гудвина Бармби, связанного, с одной стороны, с французским социалистом-утопистом

Кабэ, а с другой — с бывшим участником чартистского движения.

Отдельная глава — глава шестая — посвящена Мртоном анализу утопии социалиста Уильяма Морриса «Вести ниоткуда» (1890 г.), представляющей в свою очередь ответ-критику на утопию американского буржуазного писателя Беллами «Через сто лет» (1888 г.). В этой главе, озаглавленной «Мечта Уильяма Морриса», Мортон, весьма высоко оценивая это произведение Морриса, устанавливает как бы мост между «Утопией» Томаса Мора, написанной несколько сот лет назад и давшей в свое время наиболее законченное и яркое изображение утопического мира, осуществления которого автор (Томас Мор), однако, и сам еще не ожидал, и этой новейшей утопией второй половины XIX века, автор которой (Уильям Моррис) принадлежал уже к направлению научного социализма и был глубоко уверен в том, что Утопия не останется мечтой, а будет обязательно осуществлена на практике и даже не в столь отдаленное время (стр.212).

В последней — седьмой — главе, носящей название «Вчера и завтра», рассматриваются утопии английского писателя Герберта Уэллса, социально-политические взгляды которого были проникнуты типичными фабианскими компромиссными и доктринерскими мотивами (в ряде мест в его книгах есть даже резкие выпады против марксизма). В последних параграфах этой главы — «Разрушители машин» и «Последняя фаза» — автор говорит о некоторых декадентских и даже фашистских по духу утопических романах, авторы которых — представители наиболее реакционных кругов буржуазии — договариваются до требования разрушения всех машин и предсказания гибели всякой жизни на нашей планете. Фактически это означает конец истории английской Утопии.

Таково вкратце интересное и богатое содержание новой книги Мортонa. В ней проявилась большая историческая и литературная эрудиция автора, владение методологией исторического материализма, а также интерес и симпатия к народной идеологии, вера в социализм как нечто действенное, реальное и особенно актуальное в наше время.

Однако книга А. Л. Мортонa не лишена и некоторых недостатков. В ней есть ряд спорных мест, на которых, по нашему мнению, необходимо остановиться.

Прежде всего мы не совсем согласны с автором в том, что произведенное им, ввиду ограниченного объема данной книги, сужение понятия утопии было действительно неизбежным. Ограничивая это понятие исключительно произведениями, носящими фантастический и, во всяком случае, поэтический, «вымышленный» характер, автор исключает из своего рассмотрения такое крупное произведение утопической мысли, как знаменитую утопию вождя диггеров Джерарда Уинстенли «Закон свободы» (1650 г.); между тем в этом произведении, несомненно, отразились народные настроения и чаяния тех низов общества, которые ожидали от революции 1640—1660 годов действительного улучшения своего положения. Это сказывается и в форме построения утопии Уинстенли: хотя излагающееся в ней как будто происходит в рамках исторически существовавшего английского государства, в действительности речь идет о полностью вымышленном обществе и государстве, для реализации которого в условиях XVII века даже не было подходящих условий. То же самое надо сказать и о творчестве Роберта Оуэна. Автор сравнительно мало говорит о его критико-утопических взглядах, не считая возможным, повидимому, ответить им больше места в рамках данной книги. Между тем громадное историческое не только английское, но и международное значение социалистической системы Оуэна бесспорно. Оуэн был подлинным классиком в среде социалистов-утопистов; вместе с французскими социалистами-утопистами Фурье и Сен-Симоном Оуэн был непосредственным предшественником Карла Маркса и Фридриха Энгельса — мыслителей, выработавших основы научно-революционного коммунизма. Но в Англии в том же XIX веке были и другие представители утопической мысли и другие ее проявления. Например, аграрные проекты О Коннора и других чартистов были тоже своего рода английскими утопиями, отражавшими настроения широких мелкобуржуазных крестьянских и части городских масс Англии и Ирландии со всей их противоречивостью и иллюзорностью в условиях капитализма, но в то же время с несомненными кооперативно-коллективистскими тенденциями и формами. Все это осталось также вне поля зрения автора «Английской Утопии».

Известным недостатком книги А. Л. Мортоня является ее калейдоскопичность в последних главах. Произведе-

ний разных писателей дается слишком много, анализ же их по необходимости делается сжатый и краткий, порой недостаточно углубленный. Между прочим не совсем удачным является и очерк об У. Моррисе. Содержащая «Вестей ниоткуда» автор почти не дает, считая это произведение, повидимому, хорошо известным английскому читателю. Освещение и оценка взглядов Морриса носят слишком общий характер. Сама позиция Морриса как представителя научного социализма в английском рабочем движении второй половины XIX века в действительности была более сложной и противоречивой, чем это изображено в данной книге.

Ряд замечаний у нас имеется и в отношении главы об «Утопии» Томаса Мора. В целом эта глава написана блестяще. Это, несомненно, одна из лучших глав книги. В то же время именно она вызывает ряд серьезных критических замечаний.

Прежде всего заглавие главы — «Остров святых» — противоречит ее содержанию. Автор в этой главе доказывает совершенно обратное, а именно, что Мор был гуманистом, отличался веротерпимостью, был поклонником разума. Момент «аскетизма» сказывается лишь в скромном быту и удовлетворении простых, непритязательных потребностей жителей Утопии, но это вовсе не то, что обычно понималось под понятием «святой» в средние века и во времена Мора. Никакой теократии, наличия монастырей, обилия духовенства, развитого обрядового культа, религиозной экзальтации и тому подобного в «Утопии» Мора как раз и нет.

Во-вторых, автор напрасно рассматривает Томаса Мора как представителя английского, в частности лондонского, купечества (стр. 48 и 61). Ни Мор, ни его отец никогда не были по профессии купцами. Это была семья, поднимавшаяся из типичных разночинцев до служилого чиновничье-судебного дворянства. Рыцарский (дворянский) титул впервые получил отец Мора, и от него он перешел по наследству Томасу Мору. Затем — и это самое главное — во взглядах Мора совершенно отсутствует какой-либо признак специфических буржуазно-купеческих настроений и требований. Конечно, Мор был против феодального гнета, он сочувствовал росту промышленности, торговли, развитию научной мысли, всему тому прогрессивному, что связано с эпохой зарождения капитали-

АНГЛИЙСКАЯ УТОПИЯ

Страна, где солнце светит
по обе стороны изгороди.

Западная поговорка.

ВВЕДЕНИЕ

стических отношений. Но он сам же подверг глубокой критике противоречия нового, нарождающегося капиталистического строя. Для Томаса Мора характерно другое. В своей критике возникающего капитализма, с его огораживаниями и с пауперизацией населения, обогащением одной части общества и ухудшением положения другой, с разделением общества на антагонистические классы — разделением еще более резким, чем при феодализме, — Мор отразил настроения трудящихся масс, больше всех страдавших от последствий этих социальных перемен. Советский академик В. П. Волгин в ряде своих работ, в частности во вступительной статье к изданной на русском языке «Утопии» Мора, вполне убедительно показал, что на взгляды Томаса Мора оказали влияние народные массы в лице своих наиболее многочисленных в ту эпоху представителей, мелких производителей — крестьянства, еще сохранявшего ко времени Мора общинный уклад своей жизни, и горожан-ремесленников, тогда еще не вышедших из своих цеховых организаций и объединений.

Несмотря на эти отмеченные недостатки, «Английская Утопия» в целом производит весьма положительное впечатление. Она представляет собой оригинальное, хорошо продуманное и скомпонованное, значительное по своему содержанию историко-литературное произведение. Книга, несомненно, вызовет к себе глубокий интерес не только историков, но и литераторов и философов нашей страны, глубоко интересующихся вопросами истории и теории социализма и коммунизма.

Проф. В. Семенов.

Эта книга — история двух островов: Утопии и Британии. У каждого из них своя история. Обе развиваются параллельно и помогают взаимно объяснить одна другую. Цель настоящей книги — способствовать этому объяснению. Люди думали, надеялись, а иногда и боялись, что Утопия есть тот самый остров, в который может вскоре превратиться современная им Британия. Их мысли и чаяния в этом направлении зависели не только от прочитанных ими книг и привычного круга идей, но и от событий, происходивших в реальном, окружающем их мире, от класса, к которому они принадлежали, и от роли, которую этот класс играл или хотел играть по отношению к другим классам.

Я назвал эту книгу «Английская (а не Британская) Утопия» по той простой причине, что рассмотренные мною утопии были именно английские, а не шотландские, ирландские или уэллские. Свифт представляет лишь отдельное исключение из этого обобщения. И я был рад, что мог ограничиться изучением утопий этой одной страны, так как наша литература особенно богата книгами такого рода. Это ее богатство объясняется, как мне кажется, главным образом очень ранним развитием у нас буржуазного общества, а также тем, что это развитие приняло классические формы. Английские политические мыслители гордились историей своей страны и считали, что на них лежит особый долг перед всем миром. Английская гордость порой принимает форму отвратительного самодовольства, и в дальнейшем мы увидим, что Утопия добилась наименьших успехов именно в борьбе с этим пороком; но иногда эта гордость носит благородный и щедрый характер — в ней проявляется стремление человека, достигшего определенных благ, поделиться ими со своими соседями. Так, одним из основных побуждений

составителей утопий в Англии было желание выразить свои представления о демократии, общественной жизни и идеальном устройстве государства в возможно более доходчивой и популярной форме. «Я изложил свои концепции в форме сказки, полагая, что это наиболее изящная манера высказываться», — писал Сэмюэль Гартлиб о своей «Макарии» («Остров Блаженных»).

Другой причиной обилия английских утопий является то обстоятельство, что Англия представляет собой остров. Всегда бывает легче вообразить себе что-нибудь ответственное тому, чем мы сами являемся или что мы знаем, поэтому Утопии мы всегда представляем себе в виде острова. Понятие острова включает в себе представление о чем-то законченном, ограниченном, а возможно, и отдаленном, то есть обладает как раз теми качествами, какие нужны, чтобы дать пищу нашему воображению. Правда, мы можем найти Утопии, размещенные под землей и на дне морском; либо окруженными горами где-нибудь в сердце Африки или Азии и даже на другой планете; либо весьма отдаленными во времени, а не в пространстве; и все же подавляющее большинство Утопий помещено на островах.

Английская Утопия представляет поприще столь обширное, что у меня редко возникало желание выйти за его границы. Однако в некоторых случаях мне пришлось это сделать, когда этого требовали интересы перспективы. Так, например, говоря о Моррисе, я не мог не коснуться Беллами или обойти молчанием французских утопистов-социалистов.

Точно так же я не считаю себя слишком строго связанным своим определением Утопии, как воображаемой страны, описанной в произведении, имеющем форму сказки, с целью критики существующего общества. Дать такого рода определение было необходимо для того, чтобы наметить разумные рамки моей книги и исключить из нее описание как попыток основания утопических коммун, так и сочинений, в которых отсутствует фантастический элемент. И все же мне пришлось сказать кое-что о Годвине, Оуэне и Уинстенли и, с другой стороны, коснуться книг, в которых элементам социальной критики отведено самое скромное место. Сэмюэль Батлер когда-то определил слово «определение» как «обнесение дебрей идей словесной стеной». Было бы, думается, очень

печально, если бы нельзя было от времени до времени отворачиваться от своих «дебрей» и кинуть через стену взгляд на сады других людей. Как бы ни было, если бы я стал об Уинстенли или Оуэне говорить столько, сколько они заслуживают по своему значению, из моей книги получилось бы нечто вовсе отличное от того, что я задумал, или от того, чем она оказалась в действительности. Поэтому я ограничился в одном случае просто ссылкой, а в другом — беглым очерком, хотя вполне отдаю себе отчет в том, что этот принцип едва ли кого удовлетворит.

Я считаю полезным кратко остановиться на самом слове «Утопия». Оно происходит от двух греческих слов, означающих в совокупности «нигде не существующее». Томас Мор назвал им свое идеальное государство. От него оно распространилось на все вымышленные страны, равно как и на книги, о них написанные. В своем труде я пишу «Утопия», когда это относится к книге Мора, Утопия (с прописной буквы, но без кавычек) — говоря о воображаемой стране и утопия (со строчной) — если речь идет о сочинении, написанном об этой стране. Я счел введение разницы между вторым и третьим понятиями очень удобным, но на практике ее не всегда легко провести, и каждый, кому придется прочитать ниже следующие страницы, найдет в них некоторую непоследовательность.

Клер, март 1952 г.

А. Л. Мортон.

ГЛАВА I

РАЙ БЕДНЯКА

Взгляни! Зарос тот узкий путь
Терновником так густо...
Ведет он к праведности, но
На нем все больше пусто.
А тот вон путь, что так широк,
В долине чудной вьется;
Кой-кем — хоть здесь царит порок —
Дорогой в рай зовется!
Смотри! Красиво как она
Бежит цветущим лугом,
То в царство эльфов путь, и там
Я нынче буду с другом!

Старая баллада «Томас Стихотворец».

1. Страна Кокейн

Первоначально Утопия была воплощением мечты. Позднее она становится сложнее и разнообразнее, превращаясь даже в орудие социальной критики и сатиры, но в основе ее всегда лежит нечто такое, что выражает чьи-то актуальные для того времени стремления. Поэтому история Утопии отражает условия жизни и социальные чаяния классов и отдельных людей различных периодов. Специфический характер воображаемой страны описывается по-разному. Он зависит от вкуса того или иного писателя, однако за этим разнообразием всегда видны те непрерывные изменения в ее описании, которые отражают естественный ход исторического развития. В английской Утопии, как в зеркале, отражается в более или менее искаженном виде подлинная история Англии. Поэты, пророки и философы превратили утопию в средство развлечения и поучения, однако раньше этих поэтов, пророков и философов существовал простой народ, со своими заблуждениями и развлечениями, воспоминаниями и надеждами. Поэтому первая глава этой книги должна

быть, по справедливости, посвящена народной Утопии. Эта Утопия появилась раньше других и оказалась наиболее распространенной и долговечной. Народная Утопия служит мерилom для оценки всех своих преемников.

У народной Утопии множество имен, она фигурирует под разными образами. Это и английская страна Кокейн и французская Кокань. Это и Помона и Горная Бразилия, Гора Венеры и Страна Юности. Это и Люберланд и Шла-рафенланд, Рай бедняка и Леденцовая гора. Брейгель¹, ближе всех других великих художников подошедший к пониманию чаяний народных масс, изобразил народную Утопию на картине со многими ее наиболее характерными признаками: тут и крыша из пирогов, жареный поросенок, бегающий с вилкой в боку, гора клецок, и люди, развалившиеся в удобных позах в ожидании, когда лакомые куски будут сами падать им в рот. Пряничный домик, найденный Гансом и Гретхен в заколдованном лесу, также принадлежит стране Утопии. Можно сказать, что к ней же, но с противоположного конца, примыкает и аббатство Телем у Рабле с его девизом «Делай, что захочешь». Народная Утопия своими корнями уходит в миф, она окрашивает собой литературное творчество, и едва ли найдется в Европе такой уголок, где бы она ни давала о себе знать. Бессмысленно доискиваться ее происхождения в каком-то определенном месте или в какой-то определенный исторический период, а тем более считать ее первоисточником какую-либо поэму или легенду. Вместо этого я решил сделать исходным пунктом своего исследования один из вариантов Утопии — описанный в английской поэме XIV века под названием «Страна Кокейн», и, основываясь на этой поэме, проследить историю Утопий в предшествующий период и в последующих веках, провести параллели между Утопиями, мифами и легендами и, наконец, проследить, как изменялось представление об этой благословенной стране с XIV века вплоть до наших дней.

¹ Питер Брейгель (Старший) — знаменитый нидерландский живописец, рисовальщик и гравер, один из основоположников реалистического голландского и фламандского искусства. Родился между 1525—1530 гг., умер в 1569 году. Гуманистическое и демократическое по своему характеру творчество Брейгеля сыграло большую роль в развитии передового искусства в Западной Европе XVI—XVII веков. — *Прим.ред.*

Принятый метод я считаю наиболее целесообразным, потому что народная Утопия на протяжении многих веков сохранила поразительно постоянный характер и все ее главные черты наиболее полно отразились именно в поэме «Страна Кокейн». Последняя состоит примерно из двухсот стихов. В ней описаны существующий на земле и вполне земной рай, остров сказочного изобилия, вечной юности, вечного лета, веселья, дружбы и мира.

В учебниках литературы, где упоминается поэма «Страна Кокейн», это произведение трактуется как антиклерикальная сатира или же как забавное высмеивание тех, кто хочет все получать даром. Она, конечно, антиклерикальна и подвергает осмеянию монашеское обжорство и распутную жизнь. Очень возможно, что автор хотел использовать популярный сюжет для критики злоупотреблений своего времени. Но если это и так, то приходится признать, что тема очень скоро отошла от замысла, а сатира утонула в Утопии. Автор начинает со сравнения страны Кокейн с раем. Оно складывается далеко не в пользу последнего.

Пускай прекрасен и весел рай,
Кокейн гораздо прекраснее край.
Ну что в раю увидишь ты?
Там лишь деревья, трава, цветы...
Нет ни трактира и ни пивной,
Залей-ка жажду одной водой!

Зато в стране Кокейн:

Там совсем не нужна водица,
Для виду разве да чтоб помыться.

В дальнейшем поэт всецело увлекается описанием наслаждений, окружающих людей в этой благословенной стране. Лишь в самом конце поэмы он как будто вспоминает намеченную тему и дает забавный отрывок о монашеских проделках. Но и в этом отрывке чувствуется, что осуждение сильно смягчено чем-то похожим на восхищение.

Прежде всего интересно местоположение острова:

В море на запад от страны Спейн
Есть остров, что
люди зовут Кокейн.

¹ Spain (англ.) — Испания. — *Прим.ред.*

Самое упоминание о том, что остров находится где-то на западе, дает нам полное основание связать рассказ о нем с земным раем кельтской мифологии. На протяжении всех средних веков люди твердо верили в существование такого рая, но церковь всегда утверждала, что рай находится на востоке, и усиленно боролась с западным раем, усматривая в нем языческое суеверие. Несмотря на противодействие духовенства, эта вера сохранилась. На побережье Атлантического океана часто находили обломки деревьев неведомых пород, орехи, изредка даже челны индейцев или эскимосов, унесенные в океан неблагоприятным ветром. Это укрепляло веру в существование волшебного острова, причем эта вера настолько утвердилась, что западный рай в конце концов признала и церковь, канонизировав его под названием «острова св. Брандена». Из Ирландии и других стран было отправлено на запад несколько экспедиций для поисков этого острова. Как бы ни было, тот факт, что страна Кокейн является *западным* островом, служит доказательством того, что тема этого сказочного острова народная и дохристианского происхождения. Более того, размещение страны Кокейн в Западном полушарии следует рассматривать как одну из специфических антиклерикальных черт этой поэмы.

В описании страны Кокейн много общего с языческим Островом Яблок, или Помоной, где, как говорит Баринг-Гулд¹:

«Изобилие всего и золотой век длится вечно. Коровы дают столько молока, что им заполняют большие пруды.

Там есть также стеклянный дворец, летающий по воздуху. В прозрачных стенах его поселены души блаженных».

В одном ирландском описании говорится:

«Некоторые ручьи там текут молоком, иные струятся вином; там, несомненно, существуют реки виски и портера».

Помона описана сходно с островом Кокейн не только в отношении изобилия. Такое же сходство усматривается в изображении колонн:

Из хрусталя колонны стоят,
На солнце, как яркий свет, горят.
Из яшмы зеленой у них капители,
А низ из кораллов, чтоб все глядели.

в отношении разнообразия драгоценных камней или окон из стекла, превращающегося, когда это нужно, в горный хрусталь. Как известно, дворец или холм из стекла представляют неотъемлемую черту земного рая во всех мифологиях.

Итак, Кокейн прежде всего такая страна, где все сбывается. Это — Утопия изнуренных тяжелым трудом крепостных людей, которым все достается ценой больших усилий, тех, кто должен непрерывно бороться лишь для того, чтобы добыть скудные средства к жизни. Если этот аспект ее преобладает над ясным представлением о классовой борьбе (за исключением одного случая, к которому я вернусь ниже), то это следует признать вполне естественным, принимая во внимание условия того времени. Классовая борьба, несомненно, *существовала* в средние века. Угнетение и эксплуатация проявлялись тогда в совершенно неприкрытых и жестоких формах. Контраст между условиями существования крепостных и жизнью дворянства и богатого духовенства был разительным. Очень возможно, что одной из задач рассматриваемой поэмы было указать на этот контраст между сервом и монахом. Нам, тем не менее, следует всегда помнить о всеобщей бедности в средние века, обусловленной чрезвычайно примитивной техникой производства: оно давало лишь очень незначительный товарный излишек после того, как были удовлетворены насущные потребности трудового населения.

Следовательно, люди значительно сильнее, чем теперь, испытывали на себе гнет необходимости и чувствовали, что, по существу, жестокость этого гнета заложена в самой природе вещей. Человек был настолько далек от того, чтобы быть господином всего, что его окружало, что был склонен считать последнее своим господином. Он зависел от погоды не только потому, что плохая погода неприятна, но и потому, что плохое лето могло повлечь за собой абсолютный голод. Более того, даже при самых

¹ Сабин Баринг-Гулд (1834—1924) — английский церковный деятель и писатель. — *Прим.ред.*

¹ Сервы — крепостные крестьяне в средневековой феодальной Европе. — *Прим.ред.*

благоприятных обстоятельствах длинный рабочий день и скудное существование оставались тем уделом, от которого не было избавления. Если даже допустить, что свержение крепостными своих господ было вообще возможным, то и оно все-таки не принесло бы сколько-нибудь значительного облегчения их участи. Нам приходится считать уже некоторым движением вперед то обстоятельство, что к XIV веку люди стали сознавать, что они несут тяжелое бремя. К этому времени завершилась эпоха переселений и вторжений, постоянно дробившая формирующееся общество на малые, разрозненные группы. Сотрудничество между людьми и разделение труда распространялись все шире, а с развитием торговли росли и города, завоевывавшие себе известную долю самостоятельности (самоуправление в городах и т. п.). Происходило медленное, но в целом значительное развитие техники, а крепостничество, во всяком случае в Англии, клонилось к упадку и утрачивало свои наиболее жестокие черты. То, что люди раньше повсеместно переносили безропотно, без надежды на перемену, в результате этих сдвигов стало восприниматься ими как обуза и гнет: крепостной начал отдавать себе отчет в том, что он порабощен, — и XIV век сделался великим веком крестьянских восстаний.

Именно эта обстановка, это *пробуждение* надежды и привело к созданию «Поэмы о стране Кокейн». Без такой надежды эта поэма вообще едва ли могла появиться на свет. Но, если бы эта надежда была крепче и зиждилась на более прочном основании, она не приняла бы фантастическую форму причудливого сна об устройстве общества — желанном, но реально недостижимом. Именно эта фантастическая сторона мечты о Кокейне и обусловила то, что эту тему стали рассматривать как грубую, неуместную шутку. В самом деле, ничего нет легче, чем подвергнуть осмеянию такое представление о большом аббатстве:

Из пышек пшеничных на крышах дрань,
На церкви и кельях, куда ни глянь,
Из пудингов башни стоят по углам —
Сладкая пища самим королям.

Или

Широкие реки текут молока,
Медя и масла, а то и вина.

А также:

Гусей жареных летает стая,
На вертелах все, — ей-богу, клянусь!
Гогочут: «Я — гусь, я — горячий гусь!»

Наконец:

А жаворонки, что так вкусны.
Влетают людям прямо во рты,
Тушенные в соусе с луком, мучицей,
Присыпаны густо тертой корицей.

Но если, не принимая во внимание примитивность языка, сравнить это описание с рассказом Малори о первом появлении Грааля, то вряд ли в приведенных выше строках окажется больше основания для высмеивания, чем в следующем отрывке:

«Тогда они внесли в зал Святую чашу, покрытую белой парчой, так что никто не мог ее видеть, даже те, кто ее нес. И тут весь зал наполнился вкусным ароматом, а каждый рыцарь имел те яства и напитки, какие он любил больше всего на свете».

В действительности эта сторона описания страны Кокейн представляет слияние дохристианских культов природы и ее плодородия с самыми насущными нуждами и желаниями народа. В результате, несмотря на гротескную форму, в которой дана картина страны, в последней счастье заключается в чисто материальных и земных благах.

Особенно любопытной подробностью этого изобилия является дерево пряностей:

У корней — имбиря запах летучий,
Ростки — из валерьяны пахучей,
Мускатный отборный орех — его цвет,
Ствол корой из корицы одет,
Плоды — ароматные гроздья гвоздики.

Тут вовсе не пустая прихоть. Пряности ценились очень дорого в средние века и даже в последующее время, так как пища в Европе была очень однообразной и невкусной, особенно зимой. Из-за трудностей торговли с Востоком пряности были чуть ли не предметом роскоши, доступным лишь богатым людям. Поэтому наличие обильного и доступного запаса пряностей тут же, под рукой, мерещилось также как нечто весьма желательное в стране всеобщего благополучия.

Это изобилие пряностей и наличие четырех родников с «траяклем, гальбаном, бальзамом и глинтвейном» роднит

Кокейн с другим мифологическим мотивом, а именно с Родником Юности или Жизни, бьющим в стольких земных раях на Западе и на Востоке, родником, о котором сэр Джон Мэндевилл писал следующее:

«А возле этого города есть гора, которую люди называют Полomb Коломбо¹, и от нее город получил свое имя. А у подножия той самой горы есть порядочный и прозрачный родник, и у него вполне хороший и сладкий вкус, а пахнет он на манер всяких сортов пряностей, а также через каждый час дня он меняет по-новому свой вкус; и кто попьет днем из этого родника, тот исцеляется от любой болезни, которой он страдает. Я иногда пил из него и чувствовал, что мне становится лучше; некоторые называют его Родником Юности, так как те, кто пьет из него, выглядят вечно молодыми и живут без тяжелых болезней. Говорят, что этот родник течет из земного рая, поскольку он столь благотворен; и в этой стране растет имбирь, и приезжает туда много хороших купцов за пряностями».

Кокейн не только страна изобилия, но и такая страна, где этим изобилием можно пользоваться без затраты усилий. Именно эта черта, вероятно, больше, чем все остальные, возмущала моралистов и явилась причиной той дурной славы, которой пользуется теперь страна Кокейн. Однако совершенно очевидно, что в мире, где непрестанный и почти не вознаграждаемый труд был уделом подавляющего большинства людей, Утопия, не сулившая им отдыха и праздности, страдала бы существенным недостатком. Следует отметить, что в «Стране Кокейн» праздность ее обитателей подчеркивается все же меньше, чем в других изображениях Утопии, например в трактовке Брейгеля или в современной нам «Леденцовой горе». Жареные жаворонки, правда, сами влетают в рот в Кокейне, но в поэме подчеркивается главным образом то, что еду и питье можно получить без «забот, труда и тревог», то есть без той тяжелой работы и тех мучений, какие обычно заполняли жизнь средневекового серва.

Конечно, в стране Кокейн царят не только обжорство и праздность; есть в ней и многое другое, значительно более важное. С точки зрения морали, весьма

важной, особенно подчеркиваемой чертой этого произведения является то, что в нем Кокейн изображается прежде всего как страна мира, счастья и социальной справедливости.

День постоянно, нет места ночам,
Ссор и споров нету, поверьте!
Живут без конца, не зная смерти.
В одежде и пище нет нехватки,
У мужа с женой не бывает схватки...
Все вместе у всех — у юнцов, стариков,
У кротких, у смелых, худых, толстяков.
Наличие этого общественного идеала и чувства товарищества поднимает

Кокейн над царством нелепой выдумки и гротеска, и благодаря ему это произведение входит в число тех редких, но весьма типичных народных творений, в которых возвышенное и гротескное, соединившись, дают правдивое и живое отражение образа мыслей простого человека. В этом случае, как, впрочем, и в других, классовый дух хотя и не проявляется открыто, но являет как бы подкладку всей поэмы. Этот классовый дух более ярко проявляется в заключительных строках поэмы, иронических и представляющих для нас значительный интерес:

В эту страну, чтобы путь найти,
Епитимью сперва надо пройти.
Надо сначала целых семь лет
В навозе свином просидеть,
По шею в него погрузиться —
Тогда сможешь там очутиться.
Милостивые, добрые лорды,
Если откажетесь гордо
Эту епитимью стерпеть,
Никогда вам тогда не суметь
Из этого света уйти туда
И остаться там навсегда.
Молитесь, чтобы вам помог
Туда попасть милосердный бог!

Смысл этого отрывка совершенно ясен: в Кокейн, как и в царство небесное,

богатому человеку попасть труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко.

Лишь

¹ Названия средневековых медикаментов. — Прим.ред.

проведя семь лет по горло в навозе, то есть прожив так, как жили в то время самые обездоленные и жестоко эксплуатируемые крепостные, — только тогда может человек удостоиться попасть в благословенную страну. Обращение к «милостивым, добрым лордам» еще больше подчеркивает значение этих строк, хотя подобные обращения были в то время общепринятыми.

Это связывание социальной справедливости с изобилием наводит на интересное сопоставление легенды о Кокейне с античной традицией классического стоицизма, этой наиболее радикальной философии греческого и римского миров. В своей очерке о Диодоре Сицилийском, греческом историке I века до нашей эры, Бенджамен Фаррингтон приводит отрывок из его «Всемирной истории», в котором содержатся сведения об Утопии стоиков — «Островах Солнца», Утопии, несомненно, оказавшей влияние на «Город Солнца» Кампанеллы (1623) и, очень вероятно, на «Утопию» Мора.

Фаррингтон рассказывает о том, что солнце, «дающее свой свет и тепло всем одинаково», в античном представлении было тесно связано с понятием справедливости:

«Имеется множество доказательств того, что в ряде религий, где поклонение звездам сочеталось со стремлением к более справедливому устройству общества, солнце считалось верховным распределителем справедливости, блюстителем честности, оно заглаживало обиды и было нелицеприятным судьей во всех делах. В III веке до нашей эры солнце притягивало к себе, как магнит, тысячелетние чаяния обездоленной части человечества. Люди верили в то, что царь-солнце периодически сходит с небес на землю, чтобы водворить на ней справедливость и сделать всех участниками ничем не омраченного счастья».

Стоики особенно поощряли такие верования. В описании их островов Солнца, приводимом Диодором, очевидно, считавшим, что он пишет о стране, существующей в самом деле, мы встречаем ряд черт, уже подмеченных нами в описании Кокейна. На этих островах чудесный климат и царит сказочное изобилие:

¹ Бенджамен Фаррингтон (род. в 1891 г.) — английский историк, профессор древней истории в Суонси (Уэльс). — *Прим.ред.*

«Климат в их стране совершенно умеренный, так как она находится на линии равноденствия, и их не беспокоят ни жара, ни холод. Плоды у них спеют круглый год... Жизнь их проходит на цветущих лугах, земля дает им обильную пищу, так как по причине плодородия почвы и умеренного климата урожая вырастают сами собой в размерах, превышающих их потребности».

Море вокруг островов Солнца сладкое на вкус, и это напоминает нам о сладких источниках в стране Кокейн.

«Вода из их горячих источников сладкая и полезная; она сохраняет свое тепло и никогда не остывает, если только не разбавить ее холодной водой или вином».

И здесь мы также встречаемся с мотивом волшебного исцеления. Речь идет о животном, чья кровь «имеет удивительное свойство. Она немедленно заживляет порезы на живом теле, и отрезанные рука или иная часть тела могут быть снова приращены к нему, пока рана свежая».

Все это сочетается с нерушимой сплоченностью граждан этих островов:

«Поскольку между ними нет зависти, там нет и гражданских раздоров, и в течение всей жизни они сохраняют свою любовь к единению и согласию».

Я все это привожу вовсе не для того, чтобы заключить, что средневековые поэты прибегали к сознательным заимствованиям. Мне лишь хочется отметить стойкость традиции и выдвинуть предположение о существовании общего источника легенд, которым могли пользоваться все средневековые поэты и стоики.

К этому же течению общественной мысли принадлежат широко распространенные в средние века, даже среди власть имущих, политические теории, согласно которым правильно устроенным обществом признавалось лишь то, в котором все имущество находилось бы в общем пользовании, отсутствовали классы и не было бы государственного аппарата принуждения. Появление правил и частной собственности рассматривалось как неизбежное последствие грехопадения и греховного состояния человека. Такие идеи, связанные с представлением о «золотом веке», возможно, отражают также отголоски первобытного коммунизма. После XIII века, с ростом

влияния Фомы Аквинского¹, официальные церковные теории стали доказывать, что частная собственность и деление на классы являются естественным свойством человеческого общества. Несмотря на это, старые представления о том, что коммунизм является идеальной формой общества, сохранились. В народных массах эти идеи принимали форму, совершенно отличную от официальных теорий, переложивших на греховность человека вину за его неспособность достичь своего идеала. Эти идеи отчасти высказаны в проповедях Джона Болла² и сквозят в социальных мотивах описаний страны Кокейн.

Тема, разработанная в Кокейне, имеет продолжение. Правда, его нет в рассматриваемом нами тексте, хотя в заключительных строках содержится некоторый намек на развитие темы, представляющий исключительный социологический интерес. Об этом пишет Дж. Э. Тидди в своем исследовании «Игры мимов». Он указывает на намеренное противопоставление темы изобилия теме выворачивания нормального порядка вещей наизнанку, названной им жанром «шиворот-навыворот». В средневековом народном искусстве и литературе широко применялся прием изображения всего «вверх ногами». Вспомним о цапле, преследующей сокола, мешке, волочащем на мельницу осла, или рыбака, выловленного рыбой. Этот прием нередко переходил в набор слов без смысла, в словесную чепуху. Так, например, в мимической пьесе «Западная окраина» Вельзевул произносит длинную речь примерно такого содержания:

«Я шел прямо вдоль кривого переулка. Я повстречался с лаем, и он собачил на меня. Я пошел к палке и срезал изгородь... я ушел на следующее утро, примерно девять дней спустя, поднял эту дохлую собаку, погрузил руку в ее глотку, вывернул всю наизнанку и послал ее вдоль Вьющейся улицы лаять девяносто ярдов в длину и сам последовал за ней».

¹ Фома Аквинский (1225—1274) — крупнейший средневековый схоласт, философско-богословскому учению которого придавался характер официального учения католической церкви. — *Прим.ред.*

² Джон Болл (ум. в 1381 г.) — священник, один из вождей английского крестьянского восстания 1381 года, проповедник демократических уравнилельных идей. — *Прим.ред.*

За Вельзевулом сразу идет Джек Финней. Тот продолжает:

«Теперь, ребята, мы попадаем в страну изобилия, жареных камней, пудингов из слив, домов, крытых блинами, и поросят, бегающих с ножами и вилками, воткнутыми в спину, и визжащих: «Эй, кто меня съест!»

То же мы встречаем в «Амплфордской пляске мячей»:

«Я проехал весь путь от Итти Титти, где нет ни городов, ни селений, где трубы деревянные, колокола из кожи, веревками у них служат кровавые колбасы, по улицам шныряют поросята с вилками и ножами, воткнутыми в зад, и визжат: «Боже, храни короля!»

Под внешним шутовством здесь скрыт глубокий смысл, тут конец нити, ведущей нас непосредственно к бунтарской сути народной мысли того времени. Революционная мысль средневековья состоит в основном из двух течений, внешне противоположных, фактически же взаимно дополняющих друг друга. Одно из них ставит вопрос о равноправии: «Когда Адам копал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?» Второе течение стремится все перевернуть и переставить. Это идея света, опрокинутого вверх ногами: «Смиранных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Именно первая часть этого стиха и находит отражение в стране Кокейн.

Указанная связь между обоими течениями проявляется во всевозможных народных празднествах. Как на типичный пример можно указать на средневековый Праздник шутов. Строго говоря, этот праздник следует считать церковным. Состоял он в том, что в некоторых церквях пономари и низшее духовенство в течение целого дня сами отправляли службы, а старшему духовенству отводилась подчиненная роль. Не приходится сомневаться, что в нравах того времени было больше вольности и веселья и что существовали подобные празднества светского характера, вроде коронации Лорда Беспорядка (главы рождественских увеселений), описанной Филиппом Стэббсом в его «Анатомии злоупотреблений» (1583). Праздник шутов начинался обычно накануне дня Обреза-

¹ Джон Болл часто повторял эту фразу в своих проповедях. — *Прим.ред.*

ния (то есть Нового года; эта подробность заслуживает внимания сама по себе, поскольку Новый год был всегда временем, когда усиливались надежды на перемены и на жизнь по-новому)². Сигналом к нему служило чтение за вечерней стиха из величания Богородицы, уже приведенного нами выше: «Смирненных возвышает Господь...» Тут хор младшего клира закусывал удила. Этот стих, всегда служивший революционным лозунгом, повторялся снова и снова. Избирался церемониймейстер, называвшийся по-разному: то Королем Шутов, то Лордом Беспорядка, то Мальчиком-Епископом. Обедню служили со всякими нелепыми добавлениями. В храм вводили осла с седоком, усаженным задом наперед, в самых торжественных местах крик осла заменял реплики хора; каждое пародировалось размахиванием кровавой колбасой; клир выворачивал свои облачения наизнанку, мужские одежды сменялись на женские, на лица надевали маски в виде звериных морд. Нараставшее возбуждение и озорство очень скоро распространялись из церкви по всему городу или местечку.

Высшее духовенство пыталось в течение столетий прервать или хотя бы умерить эти увеселения, однако без большого успеха. Профессор Э. К. Чемберс³ приводит письменное свидетельство теологического факультета Парижского университета, выражающее официальную точку зрения церковных кругов и одновременно дающее очень живое описание праздника:

«Священников и причетников можно было видеть в часы богослужения в масках в виде всяческих харь чудовищ. Они пляшут в храме, переодетые женщинами, своднями и уличными певцами. Они распевают распутные песни. Они едят кровавую колбасу возле алтаря в то время, как священник служит обедню. Они тут же играют в кости. Они кадят вонючим дымом, сжигая подошвы старых башмаков. Они без стыда носятся и прыгают по храму. Наконец, они в отрепьях разъезжают по

¹ День обрезания Иисуса празднуется англиканской (а также римско-католической) церковью 1 января. — *Прим.ред.*

² Стоит отметить, что официальная дата Нового года в то время, 25 марта, приближает нас к другому празднику, очень схожему с этим, — Дню всех дураков.

³ Э. К. Чемберс (род. в 1866 г.) — английский историк и филолог. — *Прим.ред.*

городу и театрам на тележках и возбуждают смех своих товарищей и зрителей постыдными представлениями, непристойной жестикуляцией и шутовскими и развратными стихами».

Профессор Чемберс так определяет вкратце общий характер праздника:

«Основным замыслом празднества является изменение, переворачивание существующих установлений и разыгрывание, неизменно в шутовском духе, низшими причетниками функций, принадлежащих священнослужителям... Я хочу далее отметить, что это перевертывание существующих установлений, столь характерное для Праздника шутов, точно так же прослеживается и в других народных увеселениях. Шутовской король доктора Фрезера — кто это, как не самый захудалый простолюдин, избранный, чтобы представлять настоящего короля, которого надлежало принести в жертву богу, и облеченный в наивном стремлении перехитрить небо атрибутами королевской власти на все время праздника?»

Если мы вспомним, что эти народные обряды выполнялись с целью обеспечить хорошую погоду и обилие пищи, нам будет нетрудно проследить их связь с темой Кокейна. Они одновременно примыкают к римским сатурналиям и календам, а те в свою очередь, являются пережитками религиозных обрядов деревенского населения раннего, доклассического периода. В сатурналиях и календах также допускалась общая распушенность, но самой поразительной чертой было временное приравнивание рабов к их господам. Подчеркнем снова, что некоторые образы и обычаи, унаследованные, пожалуй, даже от доисторической эпохи, сохранились потому, что они все еще отвечали существующим реальностям позднейшего времени и служили той формой, в которую выливались революционные настроения этого периода.

Можно возразить, что в этих фантазиях и мечтах о Кокейне и в символических празднествах революционный дух получал направление, отличное от первоначального

¹ Сатурн считался древним верховным богом, и царство его было веком мира и всеобщего благоденствия, предшествовавшим развитию классов.

пути его развития, и таким образом обезвреживался. Но нельзя забывать о том, что в те времена революция была объективно невозможной, хотя народные восстания вспыхивали очень часто, что эти мечты и обряды служили своего рода средством поддержания надежд и стремлений народа, которые без этого могли угаснуть, — тех надежд и стремлений, все неопределенное значение которых выявилось лишь в более поздние времена. То же может быть сказано и о тесно связанном с этими обрядами культе ведьм. Он также представляет собой пережитки дохристианских верований, загнанных в подполье и вынужденных существовать тайно, несмотря на многочисленность их приверженцев. Можно предполагать, что этот культ был весьма развит и временами служил как бы фокусом политических восстаний, хотя мы, разумеется, располагаем очень скудными материалами об этом. Совершенно достоверно лишь то, что в разных странах периодически устраивались собрания, или шабаша. Их основной чертой были, во-первых, обильные и тщательно подготовленные, хотя и невзыскательные, угощения, а затем обряды, прямо противоположные установленным. Например, танцевали, вертясь обязательно против часовой стрелки; христианские ритуалы, так сказать, выворачивались наизнанку. Следует помнить, что в средние века все пляски и танцы порицались духовенством как нечто языческое и дьявольское; они, может быть, были бы искоренены совершенно, если бы не широкое распространение культа ведьм. Вполне возможно, что рассказ о Кокейне является в какой-то степени завуалированным описанием шабаша. Последний, очевидно, не являлся, особенно в более ранние времена, тем возмутительным, чуть ли не дьявольским делом, каким его представляли церковные писатели. Подобные догадки заводят нас, однако, далеко в область гипотез. Нельзя забывать, что мы не располагаем данными, чтобы составить себе мнение в вопросе о ведьмах, если не считать единичных показаний на перекрестных допросах, уцелевших в отчетах об их процессах.

2. История Кокейна

Подводя итоги всему вышеизложенному, мы можем сказать, что страна Кокейн воплощает в себе наиболее сокровенные помыслы масс и выражает их в предельно

конкретных и земных образах. Она, с одной стороны, связана с основной темой народной мифологии, а с другой — с основным потоком народных восстаний. Кокейн, безусловно, занимает очень важное место в истории идеологии, и эта утопия, несомненно, привлекла бы к себе гораздо больше внимания, чем это было до сих пор, если бы с самого начала ее намеренно не игнорировали и не высмеивали. В литературе отзвуки о Кокейне крайне малочисленны, прямых ссылок на нее мы не встречаем. При этом о ней всегда пишут, как о чем-то ребяческом или отвратительном, не заслуживающем серьезного внимания. Даже Шекспир, который благодаря своему широкому пониманию всего человеческого был столь близок народу, его помыслам и чаяниям, даже он, вкладывая в уста Гонзало («Буря», акт II, явл. I) слова, воспринимаемые как сочувственное и классическое описание Кокейна, едва ли принимает ее всерьез; напротив, он допускает, чтобы Гонзало был осмеян и прослыт за разносчика бабьих рассказов. В «Варфоломеевской ярмарке» Бен Джонсон откровенно выразил свое презрение к этой народной мечте. Следует отметить, что страна Кокейн выродилась здесь в Люберланд — страну праздных бездельников. Это превращение можно объяснить тем уважением к практической деятельности и к приумножению богатств, которым сопровождается развитие буржуазии. Мисс Пюркрафт упрекает Литтлуита, совсем в духе диккенсовского мистера Бэмбля, зато, что он хочет свинины, на что он отвечает:

«Мамаша, как же мы найдем свинью, если не будем ее искать? Что ж, она сама въедет на вертеле нам в рот, как в Люберланде, и будет кричать «уи-уи», так что ли?»

Приведем еще два примера такого презрительного отношения к Кокейну писателей-утопистов XVII века. Первый взят нами из книги «Мир другой и тот же самый», написанной епископом Холлом примерно около 1600 года и напечатанной в 1607 году. Хотя эта книга написана на латинском языке, она пользовалась популярностью и вызвала несколько подражаний. В 1608 году Джон Хили перевел ее на английский язык; я буду приводить выдержки из этого перевода. Названная книга

¹ Бен Джонсон (1573—1637) — английский драматург-гуманист, автор ряда острых обличительных комедий. — *Прим. ред.*

интересна сама по себе тем, что она является первой из негативных, или сатирических, утопий, то есть сочинений, в которых критика общества выливается в форму описания вымышленных стран, где существуют те глупости и пороки, от которых автор хочет излечить человечество. В книге «Мир другой и тот же самый» описывается путешествие к Земле Австралии и открытие там Крапулии, то есть страны излишеств. Эта Крапулия делится на пять провинций: Памфагойю, или страну обжор; Ивронию, или страну пьяниц; Виражинию — страну, управляемую женщинами; Моронию, или страну дураков, — о ней сказано, что она хуже всех возделана и гуще других населена, и, наконец, Лавернию — страну мошенников, чьи обитатели в большинстве живут бесчестным путем за счет соседей — дураков из Моронии. Поблизости расположена «Святая Земля», отмеченная на приложенной карте надписью такого содержания: «Доселе недостаточно известна».

Нет сомнения, что основной целью епископа Холла было осмеяние недостатков своего времени, но наряду с этим в его сочинении прослеживается стремление автора нарисовать картину, противоположную Кокейну, с целью выразить отвращение, испытываемое просвещенным умом самодовольной духовной osoby к вульгарным народным заблуждениям. Это видно из глав, посвященных описанию Памфагойи, чьим божеством является Омазий Горгут или Горбелли. Там мы читаем:

«Там есть некоторые твари, выросшие из земли и имеющие вид ягнят; будучи крепко привязанными к кочерыжке, на которой они растут, эти твари все же пожирают всю траву вокруг себя... рыбы там... от природы так прожорливы и жадны, что вы не можете забросить крючок без того, чтобы... у вас на леске не оказались нанизанными целые сотни их; одни висят на крючке, другие на нитке рядом, так им не терпится попасть в горшок; для них составляет величайшее наслаждение, чтобы их с помпой пронесли в столовую с кухонного стола».

Вслед за этим помещен ряд возмутительных описаний поведения народа и состояния, до которого его довела чрезмерная снисходительность и поблажки. Так, в Айллберге (то есть Городе Лени), представляющем тот же Люберланд под другим названием:

«У наиболее состоятельных лиц есть слуги: один — чтобы осторожно приподнять хозяину веки, когда он просыпается; другой — чтобы обмахивать его веером за столом; третий — чтобы подкладывать ему куски мяса, когда он разевает рот; четвертый — стягивает и распускает ему пояс по мере того как брюхо раздувается и опадает, так что хозяин только ест, переваривает и опорожняется». В описании Марципанового города сталкиваемся с подробностями, поистине отвратительными:

«Лишь у очень немногих жителей любых возрастов сохранились зубы; но все, начиная от восемнадцати лет и до гроба, наследуют зловонное дыхание». «Мир другой и тот же самый» представляет все же сильно написанное и интересное сочинение. Ему принадлежит выдающееся место в чисто английском жанре сатирической утопии. С другой стороны, «Новая Солима» («Новый Иерусалим») Сэмюэля Готта, пожалуй, является самой скучной и отталкивающей утопией, когда-либо написанной, где, однако, басня о Филомеле невольно привлекает внимание. В ней рассказывается о Дворце наслаждений, куда гости приглашены на пир, длящийся вечно. В разгар пира их неожиданно бросают в сточную трубу:

«Там скопились гниющие остатки пиршеств, изверженное переполненными желудками и другие нечистоты, а также скелеты тех, кто обрел свой конец в результате насильственной смерти или болезни, или тех, кто стали жертвами самых жестоких мук голода и холода. Там стоял ужасный шум от лязга цепей и рева диких зверей, набрасывающихся на свою добычу, а у ног открывалась пропасть, огромная и крутая, внизу же была река, широкая и неодолимая, в которую бросались многие из попавших сюда, предпочитавшие утонуть, чем терпеть длительные мучения уготованной им участи и быть растерзанными дикими зверями».

Таким представлял себе рядовой мелкобуржуазный пуританин того времени неизбежный конец земного рая: омерзительный кошмар, невыразимые страдания и гибель. Подобное осуждение с точки зрения морали встречается в сочинениях значительно более поздней эпохи,

¹ См. главу III, раздел 2.

например в «Водяных малютках» Чарльза Кингсли (1863). Он рассказывает о печальной судьбе «дуаэьюлайков», то есть «делайчтохочешьников», жителей страны Всего Готового, расположенной у подножия Беспечных гор:

«Они сидели под даровщинными деревьями, так что даровщина сама падала им в рот, или под лозами и выжимали виноградный сок прямо себе в глотку; а если кругом начинали бегать жареные поросята визжа: «Возьми, съешь меня!», — как было в обычае той страны, то они ждали, пока эти поросята пробегут мимо рта, и тогда они откусывали себе кусок и радовались точно так, как радовались бы устрицы».

Из-за своего пренебрежения к викторианскому трудовому евангелию, они подвергаются разным напастям и катастрофам, приводящим их к гибели.

Сам народ никогда не разделял таких взглядов. Что бы ни говорили те, кто стоял над ними, народ продолжал лелеять мечту о Кокейне. Предание о ней продолжало бытовать в песнях, сказках, играх, лишь изредка просачиваясь в печать, и то лишь в лубочные и дешевые издания, распространявшиеся среди малограмотного населения. Мы уже указывали на часто встречающиеся в народных увеселительных представлениях упоминания о такой стране. В книге о «Песнях бардов реки Тайн», опубликованной в 1849 году, встречается такое возрождение предания о Кокейне. «Песни бардов реки Тайн» содержат поэмы, написанные значительно раньше появления этого сборника, а иногда на темы, имеющие явно традиционный характер. В одной поэме мы находим такой отрывок:

Повидать Робин Гуда зашел я однажды,
Выпил там пару кварт с Джоном Найпсом, брат,
Проповедник Уисли был там, утолял свою жажду,
И, трубку свою куря, похваливал пиво, брат.
На дереве каждом там ляжки бараньи висят.
Джек Найпс рассказал — не соврал он нисколько,
ей-ей! —

А в дождь там с ветвей куски сала летят.
То-то можно пожарь, только рот подставляй скорей!

¹ Я глубоко признателен Джеку Линдсею, обратившему мое внимание на этот факт.

Попал ли Уисли в Кокейн в награду за свои хорошие проповеди или несмотря на то, что он их читал, остается для читателя неясным. В другой поэме из того же сборника говорится:

Когда я спустился вниз и шел при луне,
Где горы сверкают на диво,
Дорога чудная встретилась мне:
Лилось там фонтанами пиво.

Интересно отметить, что в обеих поэмах затронута тема волшебного исцеления. Особенно примечательно, что отрывки из оказания о стране Кокейн встречаются именно в той части народных представлений, которые рассказывают о волшебных исцелениях и о возвращении к жизни умершего героя. Здесь еще раз обнаруживается связь между страной Кокейн, описанной в народных преданиях, и мифологическими счастливыми островами с их фонтанами или родниками вечной юности. Ту же связь можно проследить в одной из чрезвычайно редких современных литературных ссылок на Кокейн. Мы имеем в виду поэму Йитса «Страна Счастливых городов».

На ветвях деревьев цветы и плоды
Красуются круглый год,
А в реках широких вместо воды
Где эль, где портер течет.

Жители развлекаются, сражаясь между собой, но

Сегодня убитые в схватке
Назавтра вновь среди живых,
И как удачно, что люди
Ничего не знают о них.
Случись, бедняки бы узнали,
У них бы не гнулась спина,
Сердца б зазвенели, как кружки,
Осушенные до дна.

Естественно, что Йитс, обычно искавший тематику для своих книг в мифах своей страны, косвенно, через кельтский Земной рай, соприкоснулся с Кокейном. Многочисленные упоминания о Кокейне в современных американских песнях и рассказах подходят к этой теме прямее, исходят непосредственно от трудовых классов, и

¹ Уильям Йитс (род. в 1865 г.) — ирландский поэт. — *Прим. ред.*

вследствие этих двух причин, имеют большее значение для наших целей, чем предыдущий пример. Наиболее полные картины страны Кокейн даны в двух песнях: «Большие Леденцовые горы» и «Рай бедняка». Внешне они сходны между собой, обе содержат большинство обычных характеристик Кокейна: обилие пищи, волшебные реки, вечное лето и наслаждения праздности. Так:

В Леденцовых Больших горах
Полисмены на деревянных ногах,
Из резины у бульдогов зубы,
Кладут яйца в смятку куры .
Сады у фермеров полны плодов,
А сараи набиты сеном...
О, я должен туда дойти,
Где зимой снега не найти.
Туда, где ветры не дуют
И где не льют дожди.

Там

Ручейки из джина и спирта
Журчат себе по скалам...
Жаркое там в озере виски.

И еще:

Нет ни лопат там коротких,
Топоров нет, пил и мотыг.
Я должен быть там, где спят весь день,
И повесили Турка, что выдумал труд,
Там, в Больших Леденцовых горах.

А также:

К раю бедняка мы найдем свой путь,
Там удача во всем будет с нами.
Земляничный пирог
Там, как башня, высок,
Сливки сбитые возят возами.
Будем есть, что захотим!
Там омлет с ветчиной растет
На деревьях над озером с пивом.

¹ В Шларафенланде Брейгеля изображено вареное яйцо в чашке: оно носится повсюду уже облупленным, с торчащей в нем вилкой. Очевидно, что составители этой песни никогда о Брейгеле не слыхали, но устойчивость всех этих мелких деталей служит четким указанием на существование неумирающей традиции устного переказа, о которой мы располагаем лишь случайными и разрозненными свидетельствами.

Тема Кокейна возникает в самых разнообразных местах, принимая всевозможные формы. Например, у негров существует рассказ о Джоне Генри, мифическом герое многих легенд, в которых границы человеческих возможностей чудесным образом раздвинуты. В рассказе повествуется о дереве из меда и дереве из блинов:

«Ну так вот: сидит там Джон Генри и ест себе мед с блинами, а потом встает, чтобы идти, и тут у него отскакивает пуговица от штанов и убивает кролика, спящего на расстоянии больше ста ярдов, по другую сторону дерева. И тут же вскочила жареная свинья с большим мешком печенья на спине, и Джон Генри съел ее.

Вот пошел Джон Генри прямо через лес, чтобы найти, где бы поужинать, так как он здорово проголодался и боялся опоздать к своему ужину. Джон Генри видит под горой озеро и думает, что найдет там воду, так как ему хотелось также и пить после того, как он ел мед, и блины, и жареного поросенка, и печенье, хотя, правда, и не насытился всем этим. Итак, отправляется он попить воды, но оказывается, что озеро это — не что иное, как целое озеро меда, а посредине его нет ничего другого, кроме деревьев, увешанных печеньем».

Наконец, известен рассказ об «Охотничьих путешествиях Джека», представляющий компиляцию, составленную Ричардом Чейзом на основании рассказов, записанных им со слов сказочников в горах Виргинии. В этом рассказе Джек (это не кто иной, как наш старый знакомый из знаменитой сказки «Джек и боб») отправляется на охоту вдоль медовой реки под тенью деревьев с оладьями, а из кустов выбегают поросята с ножами и вилками, воткнутыми в зад, и визжат, требуя, чтобы их съели¹.

В этом случае можно, думается, отчасти проследить, как тема Кокейна пересекла Атлантический океан. А. Л. Ллойд, которому я здесь выражаю благодарность за сообщение американских текстов, высказал предполо-

¹ Мед — это также отзвук средних веков, когда сахара почти не знали и мед очень высоко ценился как единственный доступный сладкий продукт. Возможно, что такие же условия существовали и в отдаленных частях Соединенных Штатов, где пионеры-переселенцы обходились тем, что производили сами, и где ввозной сахар мог считаться роскошью.

жение, что ближайшим предком «Больших Леденцовых гор» является популярная норвежская песня, впервые появившаяся в печати в 1853 году и с тех пор сделавшаяся классической национальной песней всей Норвегии. В ней сказочный Оль Буль приглашает всех и каждого променять свое жалкое существование на свободу в Олеане. Некоторые стихи из этой поэмы могут быть переданы приблизительно следующими словами:

«В Олеане, вот где хотел бы я быть, а не влачить в Норвегии оковы рабства.

В Олеане дадут тебе землю даром, а злаки прямо сами из нее лезут — вот тебе и деньги на веселье!

Зерно само обмолачивается в амбаре, в то время как я валяюсь на своей кровати.

И мюнхенское пиво, самое лучшее, какое можно сварить в Иоттеборге, и ручейки его текут там на радость беднякам.

И румяные жареные поросята мило резвятся вокруг и вежливо спрашивают: не хочет ли кто ветчины?»

Для норвежского крестьянина и рыбака земной рай находился в Америке. Тысячи их эмигрировали туда в течение всего XIX века; попав в Новый Свет, переселенец очень быстро обнаруживал, что эта Утопия существовала только в его воображении. В жизни она оказывалась чем-то, за что надо было драться, или же отдаленной и фантастической, несбыточной страной.

Нас поражает то, что удастся обнаружить одни и те же мысли и желания, выражаемые почти одинаковыми словами, на разных континентах и с промежутком в шесть столетий: в Англии в XIV веке и в Америке в начале XX века, или, точнее, в конце XIX века²; в одной — феодальной, раздробленной и почти целиком аграрной, и

¹ Ллойд высказывает предположение, что Олсена могла подказать Ибсену его Утопию Гентуану в четвертом акте «Пера Гюнта». Пожалуй, встретить Ибсена в стране Кокейн еще более неожиданно, чем Уисли!

² Эти народные произведения с трудом поддаются датировке, как и большинство народных песен и сказок, однако нам кажется, что в агитации популистов против трестов и за дешевый кредит, с особой силой развернувшейся во время выборов 1896 года (когда популисты поддерживали кандидатуру демократа Брайана), сохранилась ссылка на «Рай бедняка».

другой — высокоорганизованной, промышленной стране с прогрессивной техникой и капитализмом, уже достигшим стадии монополистического капитала. Следует сказать, что хотя «граница», в старом смысле слова, уже перестала существовать в Соединенных Штатах в последние десятилетия XIX века, там все еще сохранялись малодоступные области. Это обуславливало наличие массы чернорабочих, кочевавших по стране: они строили железные и шоссейные дороги, шоссе, рыли каналы и возводили ирригационные сооружения. Эта масса рабочих не имела определенного дела, но оказывалась готовой поехать в любую часть Штатов по первому объявлению, лишь бы найти хороший заработок и иметь работу. Битва с природой также не была еще выиграна. При жестокой классовой эксплуатации и суровости примитивных условий жизни того времени народным массам приходилось сопротивляться не только гнету эксплуататоров, но и непрекращающемуся натиску непокоренных сил природы. Таковы, нам кажется, наиболее вероятные причины вторичного появления темы о Кокейне в целом ряде новых ее вариантов.

Но время не стоит на месте и старая тема появляется вновь уже со значительными изменениями. Они обозначились не только в разнице между «Леденцовыми горами» и «Раем бедняка», с одной стороны, и средневековой страной Кокейн — с другой, но и в различиях между первыми двумя песнями. «Большие Леденцовые горы» по духу ближе к своему средневековому прообразу. В них сильнее фантастический элемент, они проникнуты духом пассивности. Несмотря на кажущуюся веселость, эта песнь, в сущности, отражала усталость и циничный скептицизм, порожденные ясным пониманием того, что в современных условиях Кокейн не может быть не чем иным, как сном. «Большие Леденцовые горы» — гимн самой деморализованной части так называемых «бродяг» — рабочих, бродящих по стране в поисках работы. Это утопия упадочническая, какой и должна она быть в наше время там, где отвертываются от классовой борьбы.

В противоположность «Большим Леденцовым горам», проникнутым пассивным и отрицательным настроением, «Рай бедняка» может быть назван произведением позитивным и активным. Это тоже Кокейн, с некоторой долей старых фантастических элементов, но с добавлением к

ним элементов классовой борьбы, хотя и несколько анархического стиля. Так, например, в первой песне читаем:

По Большим Леденцовым горам
Понастроены тюрьмы из жести.
Никто, понятно, долго жить
Не станет в подобном месте!

В «Рае бедняка» иное звучание:

Мы возьмем железный лом
И все тюрьмы отопрем...
Пусть люд бедный выходит на волю.

В «Леденцовых горах» читаем:

Кондуктора дают им по шапке!
А бобби — словно не видят.

Тогда как в «Рае бедняка»:

Мы поедем-ка быстрым поездом
И спать будем в пухляке ночь.
Коль кто спросит билет — есть или нет,
Того схватить и выбросить прочь!

Кроме того, легко увидеть, что в «Рае бедняка» в понятие праздности вкладывается новый и более революционный смысл — тут уже говорится о перевороте в положении классов:

Если б есть захотели,
Нам завтрак в постели
Подаст миллионер пузатый.

Наиболее разителен контраст в заключительных стихах. Вместо довольно развязно жалкого тона в «Леденцовых горах»:

Вас всех встречу я нынче осенью
В Больших Леденцовых горах,

мы в «Рае бедняка» читаем:

В Рае бедняка своими будут дома,
Как рабы мы не станем потеть,
Об этой стране свободных и смелых
Гордо и громко мы станем петь.

Таким образом, идея страны Кокейн, попав к деклассированным элементам в среде бродячих рабочих, утратила присущие ей мотивы классового протеста, тогда как подхваченная людьми, создавшими организацию «Индустриальные рабочие мира» с ее непревзойденной летописью упорной и бесстрашной борьбы, эта идея и лежа-

щие в ее основе неизменные мотивы еще более развиты и обогащены благодаря соприкосновению с современным социализмом.

В самом деле, при всей фантастичности своей формы Кокейн предвосхищает некоторые основополагающие концепции современного социализма. Социализм, если понимать под ним не академическое изготовление схем, должен вырастать непосредственно из желаний и надежд народа. Оттуда он черпает свои жизненные силы, актуальность и уверенность в конечной победе. Бесклассовое общество — это Кокейн, осуществленный при помощи научных знаний. Социализм находится в согласии со «Страной Кокейн» прежде всего в отношении веры в то, что изобилия можно достигнуть, и притом без нескончаемой и мертвящей душу тяжелой работы. Наивная и живописная форма, в какую облеклось в литературе о стране Кокейн это безусловно правильное убеждение, объясняется невозможностью в те времена, когда она появилась, даже частично претворить ее в жизнь из-за низкого уровня техники средневекового производства. Покорение природы только начиналось, и поэтому окончательное торжество человека над ней можно было себе представить лишь как результат волшебства, в символическом плане. В этом смысле «Страна Кокейн» представляет начало диалектического развития концепции Утопии, нашедшей свое кульминационное выражение в самом крупном и самом социалистическом произведении этого типа, а именно в «Вестях ниоткуда» Уильяма Морриса. Эта книга как бы вобрала в себя все богатство и весь опыт философских утопий, появившихся за весь предшествующий период, и заново связывает их с оставленными без внимания, но не умирающими надеждами народных масс. Одна из основных задач данной работы состоит в том, чтобы проследить, как развивался этот первоначальный образ в последующей истории английской утопии.

Мы должны будем коснуться еще одного важного вопроса: нам предстоит выяснить, как мыслились в Кокейне взаимоотношения между человеком и природой. Как мы уже видели, люди в средние века очень ясно отдавали себе отчет в том, что находятся в состоянии борьбы с внешней средой. Они глубоко чувствовали враждебность мира, краткость и превратность человеческой жизни. Человек считал себя чужестранцем, временным гостем, переходящим из мрака в сумерки, чтобы снова

погрузиться во мрак. Ужас перед этими потемками жизни лишь слегка просветляла церковь, обещавшая людям небесную жизнь, но тут же, угрожая адом, делала этот мрак еще более непроницаемым и жутким. В этом источник чувства ограниченности духовных сил человека, нашедшего свое выражение в догмате о первородном грехе. Церковь рассматривала человека и природу как две отдельные и противоположные силы и считала, что долг первого — противостоять как внешнему миру, так и всему мирскому в самом себе. Борьба человека со всем мирским вне и внутри себя была, по мнению церкви, тем единственным средством, которое не давало ему снизойти до положения животного; церковь утверждала, что при той человеческой природе, какой она есть в действительности, самое большее, на что было бы разумно надеяться человеку, — это устоять от падения и спасти свою душу.

Кокейн воплощает отказ от этой пессимистической и реакционной точки зрения. В стране Кокейн счастье и наслаждение изобилием, а также чувство товарищества являются исходным пунктом для установления гармонии между человеком и окружающим его миром для покорения им природы, но покорения возможного лишь потому, что человек является частью природы, а не противостоит ей. В этом отношении Кокейн можно рассматривать как раннего, еще едва заметного предвестника гуманизма — философии буржуазной революции. К гуманизму мы вернемся, когда будем говорить о Море и Бэконе. Но уже сейчас нам надо отметить, что, несмотря на свое узкое и механическое понимание природы прогресса, гуманизм — с его настойчивым утверждением возможности и самого существования прогресса, противопоставленным статической картине мира средневековой философии, с его верой в добродетели и достоинство человека, а не в греховность и беспомощность его — был исторически необходим и весьма ценным направлением общественной мысли. Гуманизм дал возможность верить в то, что человек способен преобразовать мир в соответствии со своими желаниями, тогда как церковь учила его тому, что он в состоянии лишь спасти себя от всего мирского. Без такой веры невозможно само представление об Утопии: в этом причина того, что вполне развитая и сознательная утопическая мысль не могла зародиться среди философов ни в античном мире, ни на заре буржуазной революции.

ГЛАВА II ОСТРОВ СВЯТЫХ

Быстрый разумом сэра Томас Мор путешествовал в области чистых противоречий, так как он видел, что большинство стран испорчено дурными обычаями и что княжества являются не чем иным, как большими царствами пиратов, создавших их путем насилия и убийства и удерживающих под своей властью посредством тайных козней и кровопролития; что в главнейших процветающих королевствах не было равного или справедливого распределения богатства между всеми, но сказывался заговор богатых людей против бедных, богатые незаконно присваивали себе всяческие блага, якобы во имя интересов всего государства; он Мор про себя решил изложить план совершенного государства или управления людьми, который впоследствии и назвал своей «Утопией».

Томас Нэш¹, *Несчастливый Странник*,
1594 год.

1. Мор — гуманист

Два века отделяют «Страну Кокейн» от «Утопии» Томаса Мора, и за этот период произошли большие перемены. В этот период происходил интенсивный процесс расслоения среди крестьян и феодальное натуральное хозяйство средневековья уступало место более современной экономике, основанной на производстве продуктов для сбыта на рынке. Как мы уже отмечали, в XIV веке институт крепостничества подвергся глубоким изменениям, а в XV веке он почти исчез и серв превратился в свободного земледельца. Было бы ошибочно создавать себе какие-либо иллюзии об этой эпохе, но вместе с тем ее не без некоторого основания называли «золотым веком»².

¹ Томас Нэш (1567—1601) — английский журналист, драматург и беллетрист. — *Прим. ред.*

² Речь идет главным образом о XV веке, который в английской буржуазной исторической литературе характеризуется обычно как «счастливый «золотой век». — *Прим. ред.*

Однако в силу самой природы вещей такое положение могло касаться лишь части населения и длиться недолго: если Англия и была когда-либо «старой веселой Англией», то это веселье было кратковременным. Развал средневековой деревенской общины освободил сервов, но вместе с тем нарушил и основу их безопасности: освобождение серва от его прикрепления к земле создавало условия, при которых он мог быть согнан с нее вообще.

Образование свободного крестьянства означает развитие экономики, основанной на простом товарном производстве, а это, в свою очередь, означает появление землевладельца нового типа, сила которого измеряется не количеством слуг, а размерами денежного дохода, получаемого им от своих имений. В Англии этот процесс сказался особенно отчетливо, потому что эта страна была тогда главным производителем шерсти, то есть такого товара, который скорее всякого другого мог быть обращен в деньги. В то же время производство шерсти и вызванное им огораживание общинных земель являлись лишь наиболее ярким проявлением общей тенденции, так что, когда Мор писал:

«Ваши овцы, обычно такие кроткие, довольствующиеся очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города», —

он лишь описывал своеобразным языком этот общий процесс — вытеснение натурального сельского хозяйства сельским хозяйством, основанным на производстве товаров для рынка и развитии чисто денежных отношений между различными классами населения, которые жили доходами от обработки земли.

Этот процесс — вместе с соответственным ростом торгового капитала, торговли и городской промышленности, которая, хотя и сохраняла еще свою ремесленную основу, играла все большую и большую роль на национальном и даже международном рынке, — и привел к появлению нового класса — пролетариата. Мор одним из первых увидел, что этот процесс сопровождался бесчисленными страданиями и неурядицами, разорением крестьян-

ства и увольнением огромного числа слуг и всяких прихлебателей старого дворянства, ставших ненужными вследствие прекращения междоусобных войн разных его слоев за власть и влияние в государственном аппарате, и что в результате всего этого осталось без работы значительно больше людей, чем могла поглотить промышленность. Это было неизбежным следствием того факта, что в Англии капитализм начал развиваться в сельском хозяйстве и торговле и лишь позднее и медленнее в промышленности, долгое время остававшейся на уровне мелкокустарного, распыленного производства. В одном из наиболее известных отрывков своей «Утопии» Мор так описывает страдания нового обездоленного класса:

«Таким образом, с тех пор как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон некоторых арендаторов, лишает их, или опутанных обманом, или подавленных насилием, даже их собственного достоинства или, замучив обидами, вынуждает к продаже его. Во всяком случае, происходит переселение несчастных: мужчин, женщин, мужей, жен, сирот, вдов, родителей с малыми детьми и более многочисленными, чем богатыми, домохозяевами... Они переселяются, повторяю, с привычных и насиженных мест и не знают, куда деться... А когда они в своих странствиях быстро потратят это, то что им остается другое, как не воровать и попадать на виселицу по заслугам или скитаться и нищенствовать?»

Начало XVI века было достаточно мрачным временем. Огораживания, широко распространенные безработица и нищенство, рост цен, далеко опережающий рост заработной платы, жестокие кары законов против эксплуатируемых, постоянные войны между национальными государствами, возникшими из руин феодального общества, и продажность, если не превосходившая прежнюю, то, во всяком случае, пользующаяся более полной безнаказанностью, — все это порождало отчаяние и какое-то общее одичание. Все привычные понятия и знания стали вызывать сомнение. Застывший и замкнутый феодальный мир, в котором лорд господствовал над замком, а римский папа царствовал над вселенской церковью, уходил в прош-

¹ Здесь и дальше «Утопия» Мора цитируется по переводу А.И.Малеина и Ф.А.Петровского: Томас Мор, Утопия, М., изд.2, АН СССР, 1953. — *Прим. ред.*

лое, и казалось, ему не было замены. И все же эти страдания и растерянность, представлявшие вполне реальные ощущения, являлись симптомами роста, а не разложения, хотя, как это часто бывает в бурное переходное время, всем больше бросалось в глаза именно это разложение старого, а не рост нового. Помимо нищеты и наперекор ей, как бы довершая противоречивую картину, росли и новые силы, на арену выходил класс крупного купечества, сильный и уверенный в себе, наносивший на карту мир и тут же его деливший, создавались большие города и новые отрасли промышленности и, для того чтобы создать все это, формировались новые мощные государства, управляемые сильными династиями, вроде Тюдоров. Последние захватили всю власть в стране, разгромив феодальное дворянство и установив абсолютизм. Этот режим, при всем своем деспотическом характере, покоился в какой-то мере на национальной основе, поскольку он защищал порядок, стремился к организации национального, а не местного государства, обеспечивал внутреннюю устойчивость и завоевывал широкий внешний рынок, без которого положение буржуазии не могло укрепиться.

Таков был мир, в котором вырос Томас Мор. Это был мир надежды и отчаяния, конфликтов и контрастов, растущего богатства и увеличивающейся бедности, идеализма и продажности, упадка как местных, так и интернациональных общественных учреждений, уступавших место национальному государству, призванному обеспечить условия для развития буржуазного общества.

Сам Мор принадлежал к тем слоям общества, которые приветствовали новый порядок, к классу богатых лондонских купцов, ставших одной из главных опор монархии Тюдоров, его отец — выдающийся адвокат, впоследствии получил звание судьи и, таким образом, стал одним из высших государственных чиновников, число которых все более и более пополнялось выходцами из рядов крупной буржуазии. Мор воспитывался в доме архиепископа Мортонa, премьер-министра Генриха VII, и сам впоследствии стал адвокатом, правда против своего желания; самого Мора больше привлекала карьера ученого. Еще молодым человеком он был избран депутатом в парламент и в ряде важных случаев защищал интересы жителей Лондона. Это заставило его близко познакомиться с государственными делами, и, наконец,

вопреки своему желанию он был призван на королевскую службу, которая закончилась для него трагически. В 1529 году Мор стал лордом-канцлером и отличился на этом посту. Однако он тяготился им и в 1532 году подал в отставку из-за несогласия с церковной политикой Генриха VIII. Вскоре после своей отставки он был заключен в Тауэр, а в июле 1535 года — обезглавлен по обвинению в государственной измене. Нам еще придется подробно остановиться на некоторых моментах служебной деятельности Мора в связи с изучением его взглядов, изложенных им в своей «Утопии», но предварительно следует сказать несколько слов о его характере и интеллектуальном облике.

Наиболее полный портрет Мора и самые интимные сведения о нем даны Эразмом Роттердамским в его письме к Ульриху фон Гуттену. Эразм пишет, что лицо Мора «...всегда выражает ласковую и дружественную приветливость, нередко сопровождаемую улыбкой; ...он склонен больше к веселости, чем к суровости и важности, хотя и совершенно чужд всякого нелепого шутовства...», рассказывает о простоте его вкусов, способности завязывать дружбу и о привязанности к семье. Такое впечатление Мор производил на всех, кто с ним встречался, и даже теперь, читая его сочинения или отзывы о нем, испытываешь чувство близости к нему, какое редко возникает при знакомстве с историческими деятелями. Мы восхищаемся Мором за его мужество и честность, простоту, сочетавшуюся с большой ученостью и способностями государственного деятеля. Мор, так же как и Свифт, хотя и по разным причинам, принадлежит к той категории лиц, имена которых окружены легендой — о них сохранился ряд анекдотов, может быть и не вполне достоверных, однако ценных потому, что в них отражается очень живо воспринятый облик выдающегося человека. За всем этим в характере Мора угадывается какая-то отрешенность от обыденной жизни и несколько скептическое отношение к ней. Это больше всего проявляется в покровительственном тоне Мора, когда он говорит о женщинах. Следует помнить, что Мора привлекал аскетизм ордена картузианцев. Он мог быть очаровательным собеседником, оди-

¹ Картузианцы (картузаны) — аскетический монашеский орден, основанный в безлюдных горах Шартреза близ Гренобля (Франция). — *Прим. ред.*

наково способным обсуждать философские вопросы или предаться веселой и остроумной болтовне, но он, как нам кажется, никогда не отдавался этому целиком. В этом человеке отразилось типичное для того времени столкновение старого с новым, гуманиста и средневекового аскета. Оно и заставило его писать об орденах женатых и холостых работающих монахов.

«Этих вторых сектантов утопийцы считают более благоразумными, а первых — более чистыми».

Пожалуй, правильнее было бы сказать, что гуманизм представлял сам по себе, особенно в Англии, почву для такого конфликта. Хотя гуманизм и являлся новым учением и верой в новый класс, он, однако, возник на почве догматического и схоластического мышления средних веков и был весь пронизан теми самыми понятиями, против которых сам восставал. Мы встречаем в одно и то же время и даже в одном и том же лице скептическое и языческое мировоззрение эпохи Возрождения и пуританское и догматическое мышление времен Реформации. Так обстояло дело даже в Италии, где гуманизм возник раньше и прочнее всего утвердился. Гуманизм отражает безграничный оптимизм нового класса, перед которым открывается мир. Им отброшен догмат о первородном грехе и вера в то, что Сатана правит миром. Гуманизм проповедует веру в то, что лишь внешние причины препятствуют человеку и миру идти по пути бесконечного совершенствования:

«К этому времени относится возникновение нового склада мышления, которое можно было бы в наиболее обобщенном виде определить как принятие жизни, в противоположность ее отрицанию. Отсюда вытекает появление повышенного интереса к человеку и к его окружению, а это, в свою очередь, ведет к росту интереса к личности, как таковой» (Hulme, *Speculations*, p.25).

Это новое направление общественной мысли явилось результатом не только зарождения нового прогрессивного класса, но и нового понимания истории. До того человек жил под сенью прошлого. От убожества феодализма он отворачивался, оглядывался назад и его влекло к подлинному, а то и вымышленному великолепию античного мира и золотого века. В общем было бы правильно

сказать, что к концу XV века, цивилизация в Европе достигла уровня греко-римского мира, а в некотором отношении даже превзошла его. Следовательно, вместо того, чтобы только оглядываться на прошлое, овеянное большей славой, чем настоящее, люди стали смотреть вперед, ожидая более светлого будущего. Этот рост цивилизации в корне изменил облик человека:

«По мере роста благосостояния и устойчивости цивилизации, различие между естественным и сверхестественным становилось все менее и менее резким. Догматы «искупления» и «первородного греха» могли, как уже указывалось выше, возникнуть из отчаяния, сопровождавшего распад древнего мира, но поскольку мир становился более безопасным и человек делался более земным» (Basile Willey, *The Seventeenth Century: Background*, p.33).

Путь к грядущему счастью лежит через устранение всех искусственных и внешних препятствий, то есть путем применения разума. На практике это означало принятие монархами и государственными людьми взглядов гуманистов. Мор писал:

«Ведь и твой Платон полагает, что государства будут благоденствовать только в том случае, если философы будут царями или цари — философами; но как далеко будет это благоденствие, если философы не соблаговолят даже уделять свои советы царям?» (стр.81).

И, наконец, хотя простому народу не отводилось никакой роли в этом преобразовании мира, гуманизм в своих лучших проявлениях, у таких людей, как Мор, смотрел не только в непосредственное будущее и заботился не только об узкоклассовых интересах буржуазии, но и о счастье человечества в целом.

Следовательно, тут снова возникали внутренние противоречия и новый конфликт. Гуманизм не мог не видеть как растущую нищету масс, так и общественный прогресс; и гуманисты по-разному реагировали на это: одни склонялись к поверхностному гедоническому язычеству¹,

¹ Гедонизм — этическое учение, считающее наслаждение целью и высшим благом жизни, служившее для буржуазии XVII и XVIII веков оружием борьбы с феодализмом и средневековой религиозной аскетической моралью. — *Прим. ред.*

другие — к моральной чистоте и искренности, стремясь к социальным и религиозным преобразованиям. Это последнее течение сильнее всего проявлялось в Англии и Северной Европе, где гуманизм так никогда и не укоренился и оставался, если не считать кучки образованных людей, весьма абстрактным и расплывчатым течением. В конечном счете оно в измененном виде внесло свою лепту в дело революции XVII века. Колет¹, послуживший главным проводником гуманизма в Англии, сам познакомился с ним в Италии, в годы, когда его проявление в форме христианской морали приобрело наибольшую силу, а Савонарола и Пико делла Мирандола² достигли вершины своего влияния.

Гуманисты, освободившись до известной степени от теологических абсолютов схоластического учения, ощущали потребность в новой схеме абсолютных ценностей. Частично они удовлетворяли ее более рационалистическим пониманием христианства и, пожалуй, еще больше трудами Платона и неоплатоников. Греческая философия предстала теперь перед ними обновленной; они знакомились с ней по подлинникам, занявшим место тех несовершенных латинских переложений, какими пользовались в Европе на протяжении всех средних веков. Платон, с его представлениями об идеальной правде, красоте и справедливости, познаваемых путем упражнения разума и к согласию с которыми могли быть, по его мнению, приведены люди и их установления — храмы, государство, города и университеты, — неудержимо привлекал к себе людей, смотревших на историю не как на процесс развития, ведущий к формированию какого-либо нового общества вообще, а как на путь возникновения и развития их собственной общественной формации. Городская жизнь в XV и XVI веках внешне достаточно сильно походила на жизнь греческих полисов, чтобы дать повод для всевозможных сравнений и параллелей. Из них некоторые имели несомненную ценность, тогда как прочие от-

носились, с нашей точки зрения, к области фантазии. «Республику» Платона знали из вторых рук уже в средние века, и она неизбежно служила исходной точкой любых проектов образцового устройства государства.

Такое государство носило определенно статический характер. Платон считал необходимым придумать город-государство, обеспеченное достаточным количеством сельских угодий, с определенным оптимальным числом жителей. Этому полису он давал завершенную и совершенную конституцию, регулирующую взаимоотношения классов, определял род и размеры промышленного производства, тип и пределы образования для различных классов, а также религию, призванную укреплять социальную устойчивость этого города-государства. Краеугольным камнем проекта была справедливость, в сущности, означавшая надлежащее подчинение классов и всеобщее признание присвоенных каждому обязанностей и прав. Платан предполагал, что, если бы удалось создать такое государство, оно могло бы без изменений существовать вечно.

В несколько измененном виде эти предпосылки легли в основу «Утопии» Мора, хотя большинство их не обсуждается в книге. Мор не хотел повторять то, что уже было сказано в «Республике», и логически обосновывать шаг за шагом принципы, на которых могло бы быть создано общее благосостояние. Вместо этого он, принимая их за установленные, рисует в живых образах картину благоустроенного государства, уже созданного и живущего полной жизнью. В результате получилась книга более узкая по своему содержанию, чем «Республика», но значительно превосходящая сочинение Платона в смысле живости и наглядности. Жизнь воображаемого острова описана так полно, что Мору казалось, что им разрешены все сомнения, и он сказал: «Но это в самом деле так, я видел это, и оно в самом деле живет и действует».

В некотором отношении Мор идет значительно дальше Платона. Утопия — уже не город-государство, самодовлеющее и замкнутое в себе, но нация-государство, занимающее территорию, равную примерно Англии, и живущее по сравнению с другими государствами наиболее полной национальной жизнью. Государство Платона было всего лишь небольшой аристократической общиной, живущей за счет труда большого числа рабов и зависи-

¹ Джон Колет (1467—1519) — английский гуманист, друг Томаса Мора. — *Прим. ред.*

² Джироламо Савонарола (1452—1498) — флорентийский религиозный и политический реформатор, пламенный проповедник, пользовавшийся большим влиянием среди народных масс Флоренции.

Джовани Пико делла Мирандола (1463—1494) — итальянский гуманист, философ, последователь Платона. — *Прим. ред.*

мых крестьян; коммунизм был распространен только среди правящего класса. Платон выдвигал коммунизм не потому, что он является единственным средством, обеспечивающим уничтожение классовой эксплуатации, а потому, что считал заботу о мирских благах вредной для нравственности своих «философов-охранителей». Утопия Мора представляла некоторое приближение к бесклассовому обществу и в силу этого была коммунистической. Автор ее верил в то, что:

«Где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или считать удачным то, что все разделено между очень немногими, да и те обеспечены отнюдь недостаточно, остальные же решительно бедствуют».

Мор слишком хорошо знал жизнь, чтобы верить, что всякий класс, как бы ни были хороши его намерения и как бы тщательно он ни был подготовлен, мог бы удерживать в своих руках власть в государстве без угнетения и эксплуатации неимущего большинства. Вопросы о государстве, классах и собственности обсуждаются на всем протяжении его книги и в основном разрешаются в поразительно современном нам духе. Серьезный анализ «Утопии» с социалистических позиций должен быть направлен именно на выяснение отношения Мора к этим вопросам, поскольку именно оно сделало его книгу вехой на пути к научному социализму. «Утопия» — звено между социальными теориями древнего мира и наших дней.

Это отнюдь не означает, конечно, что «Утопия» не есть сочинение своего времени, написанное человеком, очень пристально и вдумчиво приглядывавшимся к окружающим его условиям. Именно вследствие этого внимательного изучения общества своего времени и направления, в котором оно развивалось, Мор и сумел заглянуть так далеко в будущее. Он яснее других отдавал себе отчет в изменениях, происходивших вокруг него, и это позволило ему предвидеть, каким в результате этих изменений сможет стать общество. Он написал «Утопию» в поворотный период своей жизни, в полном расцвете своих сил. В 1515 году Мору было тридцать семь лет. Он был признанным другом величайших ученых своего вре-

мени: Эразма и Колета, Линакра и Гроцина¹. Ему уже пришлось заседать в парламенте, где он отличался своей оппозицией притязаниям короны. Он был выдающимся адвокатом и признанным лидером и рупором лондонских купцов. Несмотря на отказ поступить к королю на службу, Мор был послан во Фландрию Генрихом VIII с важным дипломатическим поручением.

Именно в Антверпене, во время этой дипломатической поездки, Мор начал писать «Утопию», и этот город послужил местом, где разворачивается действие в его книге. Там, по словам Мора, находился дом Петра Эгидия, где он встретился с Рафаилом Гитлодеем, только что возвратившимся из путешествия с Америго Веспуччи, во время которого тот отделился от своих спутников и провел пять лет в Утопии. Гитлодей описан с живостью, напоминающей описания Свифта и Дефо, и его рассказ Мору и Эгидию, занявший послеобеденное время и вечер этого дня, составляет содержание книги. В письме, напечатанном в конце книги, Эгидий выражает свое восхищение

«поразительной и верной памятью Мора, который мог восстановить слово в слово столько вещей, лишь однажды им слышанных».

Память ему изменила только один раз — в вопросе местоположения острова,

«потому что, когда Рафаил говорил об этом, один из слуг господина Мора подошел к нему и сказал что-то на ухо. В то время, как я внимательно прислушивался, один из присутствующих вместе со мной, простудившийся, как я полагаю, во время поездки на корабле, очень громко закашлялся, и я не мог расслышать несколько слов».

Так случилось, что великая тайна была утрачена, и с тех пор «мы имели лишь очень неопределенные сведения» о Гитлодее.

Описание путешествия Веспуччи², в котором предполагается участие Гитлодея, было напечатано в 1507 году,

¹ Томас Линакр (ок. 1460—1524) — английский гуманист и медик.

Уильям Гроцин (ок. 1446—1519) — профессор греческого языка в Оксфорде. — *Прим. ред.*

² Америго Веспуччи (1451—1512) — итальянский мореплаватель, один из первых исследователей Америки. Сборник его «Писем о Новом Свете» (1507) был вскоре переведен и издан в ряде европейских стран. — *Прим. ред.*

и Мор, конечно, был хорошо знаком с этим сочинением. В нем рассказывалось о встреченных путешественниками индейских племенах, живших простой жизнью доклассового общества. Х. В. Доннер, цитируя Веспуччи, пишет по этому поводу в своем «Введении в Утопию» следующее:

«Они презирают золото, драгоценности и жемчуг, больше всего они ценят птичьи перья ярких цветов. Эти люди, — говорит он, — не продают, не покупают и не занимаются меной, но довольствуются тем, чем наделяет их щедрая природа. Они полностью свободны, у них нет ни короля, ни господина. Они не соблюдают законов. Живут они вместе, человек до шестисот в одном помещении».

В 1511 году появилось сочинение Петра Мученика «О Новом Свете», в котором давалось еще более идеализированное описание туземных племен Вест-Индии. Повидимому, эти сведения частично послужили материалом для «Утопии», что признал и сам Мор, сделав путешественника Гитлодея рассказчиком. Эта картина первобытной чистоты нравов в истолковании гуманистов, веривших в классический «золотой век» и возможность подкрепления все еще не забытых коммунистических идей средневековья, сыграла важную роль в разработке Томасом Мором своей концепции справедливого устройства общества, обращенной одновременно в прошлое и будущее.

Вторая книга «Утопии», с подробным описанием страны, была написана в Антверпене осенью 1515 года. Первая книга, содержащая рассуждение о свойствах королей и социальных условиях Англии того времени, была написана позднее, уже весной следующего, 1516 года. Обе книги были напечатаны на латинском языке в Лувене примерно в конце того же года, и за период с этого времени до 1519 года «Утопия» была переиздана в ряде европейских городов. Интересно отметить, что, несмотря на большой успех и популярность «Утопии», она ни разу не издавалась в Англии при жизни Томаса Мора, а в переводе на английский язык впервые вышла в Англии лишь в 1551 году в издании Робинсона. Я привожу выдержки по пересмотренному изданию Робинсона 1556 года, несколько модернизовав правописание. С тех пор вышло много новых и в

известном отношении более точных переводов «Утопии», однако робинсоновский обладает своеобразной теплотой и изящностью стиля, приближающими его к подлиннику; потому-то книга Мора и вошла в английскую литературу именно в этом переводе.

Может показаться странным, что книге, написанной таким видным человеком и оказавшей такое широкое и непосредственное влияние, пришлось так долго ждать издания в собственной стране и перевода на родной язык. Есть несколько причин этого. После казни Мора о нем было запрещено вспоминать до самой смерти Генриха VIII. Тюдоры строго контролировали печать, и нужно было обладать необычайным мужеством, чтобы выпустить книгу человека, казненного по обвинению в государственной измене. С другой стороны, и сам Мор вряд ли был заинтересован в том, чтобы эта книга появилась на английском языке еще при его жизни. Он принадлежал к тому международному содружеству ученых, для которых латынь была обычным и привычным средством общения. Мору было довольно того, что его друзья в разных странах могли читать его труд, поскольку, как мы увидим ниже, он не был революционером в том смысле, что не стремился указать народу на его нужды и не ставил себе целью поднять среди эксплуатируемых масс какое бы то ни было движение. Но наиболее важная причина заключалась в том, что «Утопия» являлась чересчур злободневной книгой, и издание ее на английском языке было небезопасно. Дело заключалось не только в том, что она проповедовала коммунизм, — на это еще можно было бы смотреть, как на курьезные домыслы философа платоновской школы, — но «Утопия» содержала как открытую, так и завуалированную суровую критику существовавшего правительства Англии. Как выразился Эразм:

«Утопию» издал он с намерением показать, по каким причинам приходят в упадок государства, но главным образом он имел в виду Британию, которую глубоко изучил и знал» (из письма Ульриху фон Гуттену от 23 июля 1519 года).

Благоразумнее было не переводить такую книгу с языка ученых и предоставить ей быть незаметно напечатанной в Лувене или Париже.

2. Мор — коммунист

У читателя, познакомившегося с книгой Мора, остается сомнение в том, что в виде Утопии в этой книге изображена Англия, в которой не «меряют все на деньги», и что в «Утопии» наряду с критикой продажности и могущества богачей дана столь же уничтожающая критика злоупотреблений королевской власти. У утопийцев были, конечно, князья и магистрат, наделенные на срок полномочий всей полнотой власти в пределах конституции. Но это были выборные автократы, их власть исходила от народа. Злоупотребление властью могло всегда привести к их смене. Практически же главное назначение властей состояло в наблюдении за экономической жизнью страны и ее организацией:

«Главное и почти исключительное занятие си-фогрантов состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи, и не утомлялся, подобно скоту».

Все жители Утопии были обязаны работать (за исключением небольшого числа ученых, освобожденных от работы для того, чтобы они совершенствовались в науках), но зато и всем было предоставлено право пользоваться плодами этого общественного труда:

«Посредине каждого квартала имеется рынок со всякими предметами. Туда в определенные дома свозятся предметы производства каждого семейства, и отдельные виды их распределяются в розницу по складам. В них каждый отец семейства просит то, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка?»

Коммунизм утопийцев, основанный на изобилии и безопасности, далеко превосходит вульгарную уравниловку мелкобуржуазных социалистов, которые не видят,

что уравнение может заключаться только в уничтожении классов. Утопия приближается к концепции высшей стадии коммунистического общества, где, как писал Маркс в своей «Критике Готской программы»:

«...когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям, каждому по потребностям!»

Мор понимал то, что позднее понял и Моррис, но что до сих пор еще никак не могут постичь многие социалисты, а именно, что этот принцип — вовсе не беспочвенная фантазия, а единственная практическая основа для построения бесклассового общества. Разум привел ученого гуманиста к тем же выводам, какие уже бессознательно сделали до него люди, создавшие представление о стране Кокейн.

В некотором отношении и им и Мору было легче прийти к такой концепции, чем тем, кому пришлось жить в условиях развитого капиталистического общества. Англия в XVI веке, несмотря на развитие товарного производства, еще сохраняла многие черты примитивного аграрного коллективизма, прикрытые феодализмом. Хотя отдельная семья уже владела индивидуальным участком, но он наравне с участками других членов городской общины входил в общее поле. Вспахивались эти участки сразу все вместе в определенное время года, и эти совместные коллективные работы требовали широкого сотрудничества семей. Даже во времена Мора, когда пропасть между городом и деревней все расширялась, самые большие города еще владели коммунальными полями, и когда Мор писал об утопийцах:

«Когда настанет день уборки урожая, то филархи земледельцев сообщают городским властям, какое количество граждан надо им прислать; так как эта толпа работников является во-время, к самому сроку, то они почти в один ясный день справляются со всей уборкой», —

он изображал картину, очевидно, не слишком отличную от той, какую мог видеть в Англии того времени. Иными словами, коммунизм Мора является не только умозри-

тельным представлением того, что могло бы быть в будущем. В значительно большей степени он представляет собой развитие и преобразование того, что уже существует, создание таким путем условий для нового общества, отличного от существующего, но связанного с ним и образующегося из него.

Самым трудным вопросом, был вопрос о средствах осуществления такого преобразования, и именно здесь Мор, как и большинство других утопистов, оказался беспомощнее всего. Конечно, у него не было, да и не могло быть представления о том длительном, болезненном и еще далеко не завершенном процессе, в результате которого капитализм должен был породить свою полную противоположность — коммунизм. Этим объясняется тень меланхолии в картине Утопии, приводящая к такому заключению:

«Я охотно признаю, что в утопийской республике имеется очень много такого, чего я более желаю в наших государствах, нежели ожидаю».

Наименее привлекательной чертой описания утопийской жизни является отсутствие веры в способность простого народа быть самостоятельным в своей повседневной деятельности. Даже в общественных столовых старых рассказывают вперемежку с молодыми, чтобы «удержать младших от непристойной резкости в словах или движениях». Там не будет, читаем мы, «никакого случая для разврата, ни одного притона, ни одного противозаконного сборища; но присутствие на глазах у всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе, или в благопристойном отдыхе». Никому из граждан не разрешается ездить по стране, тем более путешествовать за границей без специального пропуска от властей. Правда, Мор оговаривается, что его выдают без затруднений, все же никто не выходит один, но всегда вперед посылается отряд. И хотя законы немногочисленны, а наказания, по понятиям того времени, гуманные, мы все же видим, что, несмотря на упразднение частной собственности и классов, в Утопии все еще так много преступников, которых там обращали в рабов, что их вполне достаточно для того, чтобы обеспечить общество необходимым ему количеством рабов. Таким образом человеческая природа изменилась гораздо меньше, чем окружающие условия. Ясно, что эта сторона «Утопии»

отражает неверие Мора в простой народ. Оно вытекает не только из общественного положения самого Мора и всех остальных гуманистов, но и из соотношения классовых сил в ту эпоху.

Мор был выходцем из высшей прослойки лондонского купечества, то есть класса, больше других страдавшего от гражданских беспорядков. Именно в те годы купечество начинало оправляться от разорения, вызванного продолжительной гражданской войной. Еще не было забыто восстание Кэда, отношение высших классов к которому оставлено нам в описании Шекспира. Помнили и о более недавних возмущениях. Мор, представитель лондонского Сити, в значительной мере разделял эти взгляды, хотя искренне сочувствовал страданиям народа. Мы читаем у Каутского:

«В практическом смысле Мор был представителем их интересов, хотя придерживался более передовых теоретических взглядов. Капитал неизменно призывал «порядок» и лишь от случая к случаю — «свободу». Порядок составлял его жизненно неотъемлемый элемент. Мор, ставший в глазах лондонской средней буржуазии «большим человеком», питал определенную неприязнь к любым независимым проявлениям воли народа. Его лозунгом было «все для народа, но ничего, что бы народ сделал сам».

Мор не был человеком, способным возглавить революцию, даже если бы она была возможной. Он впоследствии будет с отвращением следить за крестьянской войной в Германии, считая ее естественным следствием заблуждений Лютера, призывавшего массы самостоятельно разрешать вопросы, которые их касались, но были недоступны их пониманию.

Следует также иметь в виду, что во времена Мора обездоленные массы были очень не похожи на пролетариат в современном понимании этого слова. Существовали ограбленные крестьяне, выгнанные из дома слуги или, в лучшем случае, ремесленники, эксплуатируемые бога-

¹ Восстание Джека Кэда происходило в юго-восточной Англии в 1450 году. Основной силой восстания были народные массы, городские ремесленники, купцы, сельские джентри и йомены. Главной причиной его были злоупотребления правящей клики вельмож и тяжелое бремя налогов. — *Прим. ред.*

тыми купцами, то есть тем классом, к которому принадлежал сам Мор.

Во всяком случае, это были одиночки, правда лишены привычных занятий и поставленные вне своих социальных группировок, но еще не объединившиеся под воздействием механизированной крупной промышленности. Такой класс способен на отдельные вспышки, опасные в меру его отчаяния и страданий, но не может явиться основой для нового социального строя. Однако, чтобы вывести Утопию из области чистого вымысла, необходимо было выдумать для нее такую основу. Эти поиски и дают нам в руки ключ для понимания не только Утопии, но и деятельности Мора во всей ее совокупности. Однако предварительно нам следует остановиться на роли государства в XVI веке.

Современное государство является одним из последствий появления капитализма. Такие объединения, как средневековая деревня и даже городок, выросший вокруг замка или монастыря, не могут удовлетворить товарное производство. Лишь государство способно обеспечить национальную основу для производства и распределения и достаточную безопасность для международной торговли. Оно в состоянии организовать надежную полицию, улучшить средства сообщения, издать однородные законы, объединить обычаи и ввести единую систему мер и весов. Для всего этого необходимо сильное централизованное государство, могущее обуздать дворянство. В условиях, существовавших на протяжении всех средних веков, король был не более, чем самым сильным землевладельцем; с изменением этих условий он становится центральной фигурой государственного аппарата. Это одна сторона дела; необходимо также учесть и другое: то, что буржуазия XVI века все еще находилась в переходном состоянии и недостаточно окрепла, чтобы править самостоятельно; однако она была готова поддержать любое правительство, способное обеспечить ей условия для дальнейшего ее роста. Все это вместе взятое и обусловило ту форму, в которую вылилась монархия Тюдоровов.

Однако государство Тюдоровов имело двоякую природу. Оно было прогрессивным, поскольку являлось выражением готовности общества освободиться от феодальной раздробленности. Государственная власть водворяла в стране порядок и боролась с анархией, стремясь к со-

циальной устойчивости. Это заставляло буржуазию, а следовательно, Мора и других гуманистов приветствовать рост государства и поддерживать его. С другой стороны, государство было откровенно грабительским и угнетательским, а правители — людьми явно развращенными и эгоистическими. Поэтому Мор и подобные ему люди, заботившиеся о социальной справедливости, были вынуждены находиться постоянно в оппозиции как к государству, так и к правительству. В этом кроются причины глубокого душевного разлада Мора, нашедшего свое выражение в первой книге «Утопии» и отразившегося на всей его жизни. Чтобы добиться прогресса, гуманисты надеялись лишь на одно средство: привлечь на свою сторону монархов. Они мечтали внушить им свои взгляды и руководить их политикой, но можно ли было на это рассчитывать, зная нрав тогдашних королей? «От монарха, как из вечного источника, изливается на народ поток всего, что является добром и злом». Однако и помимо монарха нельзя было ничего сделать: не означало ли это в конечном счете, что выхода не было? Именно в таком плане и разворачивается дискуссия между Мором и Гитлодеем.

Мне кажется, что Каутский не совсем понял ее смысл.

«При оценке книги, — писал он, — нас не должен вводить в заблуждение возданный в ней королям почет, как при суждении о материалистах XVIII века нельзя принимать во внимание их кивки в сторону христианства... Мор предоставил Гитлодею быть своим знаменосцем, а себе отвел роль критика собственных идей... Весь отрывок представляет жгучую сатиру на монархию того времени. Тут политический символ веры и его оправдание в том, что он чуждался королевского двора».

Каутский, следовательно, не находит объяснения поступлению Мора в более поздние годы на королевскую службу и не знает, как защитить его от обвинения в непоследовательности. Я полагаю, что правильнее видеть в этом диалоге, помимо явной и беспощадной критики правительства, отражение споров Мора с самим собой. Если критика Гитлодея звучит убедительно, то не менее вески и ответы Мора:

«Если ты по своему искреннему убеждению не в силах излечить прочно вошедшие в житейский обиход пороки, то из-за этого не следует покидать государственных дел, как нельзя оставлять корабля в бурю, раз ты не можешь удержать ветров... тебе же надо стремиться окольным путем к тому, чтобы по мере сил все выполнить удачно, а то, чего ты не можешь повернуть на хорошее, сделать, по крайней мере, возможно менее плохим».

Такой довод предполагает лишь один выход. Нельзя, по мнению Мора, оставаться простым зрителем, одиноким и бездейственным. Возможность достичь чего-либо с помощью королевской власти была невелика, но никакой другой возможности не было. Поэтому Мор, терзаемый сомнениями и сожalenиями, все же вступил на это поприще. В речи, произнесенной им при вступлении в должность лорда-канцлера, он сказал:

«Я принимаю этот высокий пост, отдавая себе ясный отчет в сопряженных с ним опасностях и тревогах и отсутствии подлинного почета. Чем выше положение, тем глубже падение, как доказывает это пример моего предшественника Уолси ».

Дурные предчувствия Мора сбылись весьма точно. Генрих не нуждался в слуге, желавшем облегчить участь народа или переделать общество, согласно велениям философии. Он хотел воспользоваться репутацией святости Мора, его славой ученого и большим влиянием в Сити, чтобы прикрыть этим свои эгоистические цели. В течение почти трех лет Мор пытался привести к согласию свою совесть с политикой, но в 1532 году был вынужден подать в отставку, не одобряя развода короля, а также его политики в церковных вопросах. Мор оказался не у дел, он сделался опасным; его широко известная честность была постоянным укором всем замыслам короля. Было необходимо переманить его на свою сторону или вынудить к молчанию. Первое оказалось невозможным. Тогда Мора заключили в Тауэр и в 1535 году обезглавили по явно несостоятельному обвинению в измене. Он оказался

¹ Томас Уолси — кардинал и канцлер при Генрихе VIII (1515—1529), в последние годы впал в немилость у короля, против него было выдвинуто обвинение в государственной измене, однако Уолси умер до суда. — *Прим. ред.*

первым и последним философом, попытавшимся принять непосредственное участие в управлении Англией .

И все же трагедия Мора вызывает сочувствие, так как он предпринял эту попытку, не обольщаясь надеждами и отдавая себе полный отчет в истинном положении вещей. Мор прекрасно знал, какие силы участвуют в управлении страной и какова их мощь. Это ясно видно из знаменитого абзаца из «Утопии» по вопросу о государстве. Нас поражает, насколько содержащиеся в нем мысли согласуются со взглядами, высказанными спустя столетия Марксом, Энгельсом и Лениным, и, с другой стороны, насколько они отличаются от высказываний либеральных и социально-демократических политических теоретиков всякого рода от тех времен до наших дней. Мор писал:

«Далее, из поденной платы бедняков богачи ежедневно урывают кое-что не только личными обманами, но также и на основании государственных законов. Таким образом, если раньше представлялось несправедливым оплачивать черной неблагодарностью за усердную службу на пользу общества, то они извратили это так, что сделали справедливостью путем обнародования особых законов.

При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляют не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают всякие способы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удерживать без страха потери то, что стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы откупить себе за возможно дешевую плату работу и труд всех бедняков и эксплуатировать их, как вычуженный скот. Раз богачи постановили от имени государства, значит также от имени бедных, соблюдать эти ухищрения, они становятся уже законами».

Отрывок из книги Т. Нэша, служащий эпиграфом этой главы, показывает, что уже пои Море или немного позднее это место рассматривалось как одно из центральных

¹ За исключением Бэкона и, возможно, Артура Бальфура!

в «Утопии». Значение Нэша, одного из самых проникательных журналистов своего времени, заключалось в том, что он, хотя и не имел своих собственных глубоких и оригинальных идей, поразительно улавливал все веяния своего времени, распространенные в интеллигентных кругах общества.

Эта концепция государства в одном отношении существенно отличается от взглядов современного научного социализма по данному вопросу. Она неисторична, так как не оставляет места для роста и развития. Следовательно, создание образцового государства могло быть лишь случайностью или чем-то вроде чуда, делом рук монарха,

изображаемого как нечто стоящее вне влияния классовых сил, обычно господствующих над государством. У острова Утопии почти нет истории, но и то, что мы знаем о его происхождении, лишь подтверждает сказанное: остров был завоеван великим королем Утопом и от него получил свое имя:

«Этот же Утоп довел грубый и дикий народ до такой степени культуры и образованности, что теперь он почти превосходит в этом отношении прочих смертных».

Утопия *не могла не быть* чудом. Мор видел, в чем заключается зло и состоят нужды, но требовались бы сверхчеловеческие свойства, чтобы в те времена видеть тот исторический процесс, который привел бы к осуществлению социализма.

Можно сделать еще один вывод из теории государства Мора. Англия была, как мы уже видели, страной растущего богатства и растущей бедности. Мор был одним из первых, кто увидел связь между этими двумя явлениями и понял, что богатые умножают свои богатства благодаря тому, что находят новые и более эффективные методы обворовывания бедных. Поэтому мы находим в его книге то, что Моррис назвал

«атмосферой аскетизма, имеющей странный привкус сплавленных вместе цензора Катона и средневекового монаха».

Каутский также говорит о простоте и скромности быта утопийцев, как о черте, противоречащей современному социализму. Мор действительно подчеркивает эту умеренность. Утопийцы отвергли всякую роскошь и украшения. Их дома, хотя построены из прочных материалов

И тщательно распланированы, просты и не украшены; одежда не окрашивается и кроится на один лад для всех; пища обильна и, несомненно, более питательна, чем рацион англичан того времени, ко простая и без излишеств. Драгоценности служат игрушками для детей утопийцев, в назидание богатым цепи для рабов и «очные горшки сделаны из золота»¹.

Эта умеренность в быту обуславливается несколькими причинами. До известной степени это надо отнести за счет унаследованного гуманистами от классицизма. Они, как впоследствии теоретики французской революции, любили настойчиво подчеркивать в качестве примера, достойного подражания, суровую простоту республиканских героев древнего Рима. Но что касается Мора, то он говорит об этой умеренности по другим причинам, более личного характера и более важным. Одна из них заключалась в уже упомянутом сочетании богатства с бедностью. Мор был возмущен роскошью правящего класса своего времени, так как видел в этой роскоши следствие окружающей бедности. Так что если предстояло изгнать бедность из Утопии, породившая ее роскошь также подлежала изгнанию. Третья причина имела более положительный характер.

Утопийцы не были людьми, отравляющими другим радость, принципиальными противниками удовольствий и развлечений.

«Они весьма склонялись к такому мнению: не запрещен никакой род удовольствий, от которого не проистекает вреда».

Приглядываясь к безысходной работе, ставшей уделом народа, призванного обеспечить роскошь богачей, Мор заключил, что в Утопии важнее всего устроить так, чтобы у всех оставалось много свободного времени для того, чтобы человеческие способности могли проявиться полностью, чтобы утопийцы могли стать людьми в полном смысле слова, а не изнуренными трудом поденщиками.

«Власти отнюдь не хотят принуждать граждан к излишним трудам. Учреждение этой повинности имеет прежде всего только ту цель, чтобы обеспечить, насколько это возможно с точки зрения обществен-

¹ Ленин также говорил об аналогичном наглядно назидательном употреблении золота (см. В. И. Ленин, Соч., т.33, стр.89).

ных нужд, всем гражданам наибольшее количество времени после телесного рабства для духовной свободы и образования. В этом, по их мнению, заключается счастье жизни».

Перед любым социалистическим обществом в тот или иной момент его развития может встать вопрос: что нужнее — больше свободного времени или больше продукции? В современном мире, с его огромными и все растущими возможностями науки и техники, обеспечивающими бурный рост продукции без сокращения времени досуга, этот вопрос не возникнет, пожалуй, еще долгое время даже после того, как продуктов будет производиться столько, что окажутся удовлетворенными все разумные потребности и желания людей. В самом деле, вполне вероятно, что этот вопрос вообще никогда не возникнет, что при

социализме нам действительно можно будет получать и есть торт, не ограничивая для этого свое время досуга. Но для Мора, жившего в мире ремесленного производства, он вставал во всей своей сложности, и он разрешал его, настаивая на том, чтобы его утопийцы не работали больше шести часов в сутки. Он примерами доказывал, что этого вполне достаточно для обеспечения не только всего необходимого, но и удобств и удовольствий, необходимых для надлежащего использования часов досуга.

Так как у людей было много свободного времени, образование в Утопии приобретало огромное значение, оно не представляло тайны, ставшей достоянием небольшой группы начитанных людей, как это было в современной Мору Англии, или чего-то скупо отпускаемого детям, тщательно взвешенными дозами в течение определенного числа лет с тем, чтобы о нем вскоре забыли, потому что тогда это образование не имело вовсе или имело очень мало связи с жизнью, как это, впрочем, происходит и в наше время. Образование у Мора представлено в виде непрекращающейся попытки постичь мир. В ней участвует весь народ. Если и выделялись люди, специально посвятившие себя наукам, то они не составляли замкнутой касты, отгораживавшей от народа, но были передовым отрядом, вождями движения, к которому мог примкнуть любой и каждый. Ученость ценилась и уважалась не как нечто самодовлеющее или признак особой социальной принадлежности, но как средство для полного развития человеческих способностей.

Остававшиеся от обучения часы досуга утопийцы посвящали общественным развлечениям вроде бесед, музыки или игр. Мор упоминает о двух играх, похожих на шахматы. Всякий спорт, сопряженный с жестокостью (охота), был запрещен. Ничего не сказано о физических упражнениях, вероятно потому, что они тогда были лишь средством развлечения для правящих классов; помимо этого, процент населения, занятого на работах сидячего и стесняющего движения характера, которому хотелось бы для отдыха размяться, был еще очень невелик в то время. В общем жизнь в Утопии текла размеренно, без каких-либо чрезвычайных событий, невозмутимо; это была страна почти без истории, с постоянным по численности населением, с постоянной конституцией и экономикой, не изменившимися со времени короля Утопа Доброго. У нас нет оснований сомневаться в том, что утопийцы были так же чрезвычайно счастливы, как и сам Мор, когда он находился дома, в кругу семьи и друзей, когда его не тревожили неразрешимые проблемы социальной справедливости. Такой образ жизни представлялся Мору желательным и мог дать, как ему казалось, таких людей, как он.

Кроме того, в утопийском обществе, как мы уже видели, отсутствовала эксплуатация, то есть оно было бесклассовым. Следует сказать несколько слов о том, что может показаться тут противоречием. Во-первых, существовали власти разных рангов, вплоть до князя. Однако они отнюдь не составляли класса или касты. Должностных лиц выбирали из среды наиболее способных философов, а те, в свою очередь, избирались народом за свои таланты. Они не пользовались привилегиями, и их часто переизбирали. Воспитание, образование и возможности их детей были такими же, как и детей всех остальных граждан. Не было ни одной наследственной должности.

На другом конце общественной лестницы находились рабы. Они существовали в Утопии по двум причинам. Во-первых, Мор разрешает таким путем проблему преступности. В его время предание смерти было самым обычным видом наказания за большинство нарушений закона. Ежегодно вешали многие сотни людей за мелкие провинности. Самые незначительные проступки карались телесным наказанием, клеймением и выставлением у позорного столба. Мор сознавал бесчеловечность подобных кар и считал, что они способствуют лишь распро-

странению преступности, которая возникала прежде всего из-за существовавших условий жизни. Он не верил во врожденную испорченность преступников. Не совсем логически Мор заключал, что преступность будет существовать и в Утопии, и предлагал рецепт от этого зла. Он считал нужным использовать преступников на всех неприятных и унижительных работах, которые его свободные граждане выполняли бы неохотно (их свобода включала право выбора занятий) или же которые он сам считал нежелательным им поручать из-за сопряженной с ними опасности морального развращения. Эта система обращения в рабство, при всей своей неуместности в бесклассовом обществе, представлялась все же более гуманной и практической, чем те меры, которые применялись в Англии в XVI веке по отношению к преступникам.

Во-вторых, эта система рабства положительно разрешала всегда возникающую перед социалистами проблему того, на ком в социалистическом обществе будет лежать выполнение неприятных обязанностей. Теперь эта задача утратила свою остроту: развитие техники все сокращает количество таких работ. Но перед писателями-утопистами она вставала во весь рост, и они разрешали ее по-разному. И Мору надо было найти решение в условиях социалистического общества на базе ремесленного производства. Он сделал это, сократив потребности, путем изгнания роскоши и установлением института рабства. Следует, однако, отметить, что рабы Мора не образуют отдельного класса, во всяком случае, это не более, чем каторжники в современном обществе. Люди обращались в рабство отчасти в наказание, но более с целью перевоспитания. В ряде случаев в рабство обращали на срок, и никогда судьба раба не касалась членов его семьи, и они продолжали пользоваться всеми правами гражданства.

Другой проблемой того же порядка являются отношения между городом и деревней. В средние века деревня господствовала, а города за несколькими исключениями представляли разросшиеся деревни. Развитие капитализма создавало все увеличивающуюся пропасть между ни-

мм: город становился средоточием независимой жизни, со своей особой городской культурой; деревня превращалась все более в его данника, и деревенских тружеников все больше и больше тяготило то, что Маркс довольно резко называл «идиотизмом деревенской жизни». Город и новый класс капиталистов отождествлялись с тем, что мыслилось как прогресс, деревня отождествлялась с застоем. Трудно сказать, кто больше потерял в результате этого отделения: город или деревня; и одной из целей социализма должно быть восстановление единства между ними, устройство совместной общественной жизни на более высоком уровне. Собственное решение Мора вытекало из современного ему уровня развития техники и транспорта, обуславливавшего более грубый и изолированный образ жизни в деревнях, чем в городах.

В Утопии сельское хозяйство велось большими семьями, и все граждане были обязаны провести не меньше двух лет в деревне, так как у каждого города были свои сельскохозяйственные угодья: они обрабатывались горожанами и служили для них продовольственной базой. При таком устройстве все получали необходимые общие знания по агрономии, а в нужных случаях было всегда возможно мобилизовать достаточное количество рабочей силы. Это делалось,

«чтобы никому не приходилось против воли слишком много лет подряд вести суровую жизнь, однако многие, имеющие природную склонность к деревенской жизни, спрашивают себе большее число лет».

Таким путем снабжение утопийцев было обеспечено без того, чтобы лишать их культурной жизни, подобающей, по мнению Мора, человеку; и горожане тоже не отвыкали от более сурового и примитивного образа жизни деревни.

Необходимо рассмотреть еще одну деталь в схеме Мора, тем более, что она вызвала споры и ошибочное истолкование. Речь идет о религии утопийцев и их веротерпимости. В отличие от Англии и всех других стран, известных Мору, в Утопии допускалось исповедание нескольких религий. Все они исповедовали единобожие и были настолько сходны между собой и лишены духа нетерпимости, что имели общую обрядность, приемлемую

¹ Возможно, что он умышленно разрешал себе эту непоследовательность, чтобы иметь возможность проповедовать свои взгляды на надлежащие способы борьбы с преступностью.

для всех сектантов. Священники утопийцев отличаются особым благочестием «и потому их очень немного».

Гитлодей предпринял обращение утопийцев в христианство, с которым их прежние верования имели большие расхождения. Особенностью утопийцев было, однако, полное признание принципа веротерпимости, так как король Утоп «прежде всего узаконил, что каждому позволяется принадлежать к той религии, какая ему нравится». Допускались даже атеисты, хотя им запрещалось публично проповедовать свои взгляды и их нельзя было избирать на административные должности.

В этом, несомненно, отражен взгляд самого Мора на желательное положение вещей. Но очень часто указывалось на то, что, сделавшись канцлером, Мор не только осуждал лютеран, но и подвергал их преследованию, что представляло явный отход от проповедуемых им в «Утопии» принципов. Протестанты обвиняли Мора в том, что он согрешил против Света (Истины). Мне кажется, что такое мнение ошибочно. Оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере Мор действительно преследовал лютеран (в чем еще позволительно усомниться), следует признать, что это суждение о Море основано на неправильном понимании того, что им в действительности сказано в его «Утопии». Его позиция совершенно ясна. Сославшись на закон Утопа, приведенный мной выше, Мор говорит, что каждый имел право убеждать другого в своей вере, если это делалось мирно, и «ему надо воздерживаться от неприличных и бунтарских слов», и «всякий дерзкий спорщик по этому вопросу наказывается изгнанием или рабством».

Таков был и принцип поведения самого Мора. Мы уже видели, что он не верил в народные движения или насильственное ниспровержение существующего строя и опасался этого. По его мнению, лютеранство, с его обращением к массам и явно ответственное за восстание крестьян в Германии, было именно народным движением. Мор поддерживал дружественные отношения с отдельными лютеранами, но не мог не бороться с движением в целом, поскольку оно, в его представлении, несло с собой хаос и разрушение. Я не хочу входить здесь в оценку справедливости его позиции, мне лишь хочется доказать, что она была логически обоснованной и последовательной, обусловленной теми ограничениями, ко-

торые накладывал «а него тот класс, к которому он принадлежал, и тот век, в котором он жил. Полностью избежать этих ограничений не может ни один человек, какими бы талантами он ни был наделен.

В конечном счете в Море примечательны вовсе не эти ограничения, а пределы, до которых он сумел их раздвинуть, не тот факт, что его терпимость имела границы, а что принцип терпимости был им выдвинут так решительно. Нас поражают в Море не отдельные реакционные черты его Утопии, а ее экономика, построенная на широких коммунистических началах, не его боязнь перед народной активностью, а его понимание причин нищеты и искреннее желание ее устранить. И если, как я постарался это показать, его жизнь и сочинения составляют одно логическое и связанное целое, то именно в «Утопии» проявились яснее всего эти основные черты. Здесь мысль наиболее ясно выражена, сильнее всего проявилось чувство и именно в этом сочинении социализм, освобожденный от практических трудностей, осаждавших государственного деятеля, получил свое наиболее полное выражение. Непреходящее значение Мора заключается именно в его роли пионера социализма, а не святого или философа.

«Утопия» Мора — одновременно и вежа и связующее звено. Это один из тех капитальных трудов, строго и научно продуманных, в котором даны картина и схема бесклассового общества. Но одновременно «Утопия» — звено между аристократическим коммунизмом Платона и инстинктивным, примитивным коммунизмом средневековья, с одной стороны, и научным коммунизмом XIX и XX веков — с другой.

Современный коммунизм составили две основные, влившиеся в него струи, и Мор со своими наследниками социалистами-утопистами составляет одну из них. Но уже во времена Мора существовал другой коммунизм — коммунизм Мюнцера и крестьянских революционеров. Этот последний также развивался по определенному руслу: через левеллеров, левое крыло Французской революции, луддитов и чартистов он подошел к нашему времени, готовый занять свое место в общей структуре марксизма. Мор не мог понимать этого крестьянского социализма, а то, что он в нем разглядел, было ему ненавистно и страшило его. Все это совершенно естественно, поскольку

синтез философского и народного социализма не мог произойти прежде, чем образуется революционный класс — пролетариат, воспринявший эту теорию. Достаточно того, что Мор был Мором, и нет надобности сожалеть о том, что он не был Марксом.

Из этого следует, что «Утопия» не могла быть понятой ранее, чем в наше время. Вплоть до рождения научного социализма «Утопия» оставалась мечтой, красивой фантазией. Читатели восхищались государством, где царили мир и справедливость, но должны были с сожалением заключить вместе с Мором, что о таком государстве можно только мечтать, не надеясь на его превращение в реальность. Ныне, когда возможность создать такое государство находится в наших руках, стало очевидно, насколько точно, в пределах обусловленных ограниченностью ремесленной техники своего времени. Мор предвосхитил основные черты бесклассового общества. Уместно поэтому привести в заключение слова о нем первого выдающегося английского марксиста — Уильяма Морриса, являющегося одновременно автором единственной книги типа «Утопии», достойной встать рядом с сочинением Мора.

«Мы, социалисты, не можем забыть, что эти качества и выдающееся мастерство соединились, чтобы ясно выразить стремление к обществу с равными для всех условиями; общества, в котором каждый отдельный человек едва сможет представить себе существование вне государства, часть которого он составляет. В этом сущность его Мора книги, точно так же, как и той борьбы, в которую мы вовлечены. Хотя несомненно, что именно давление обстоятельств его времени сделали Мора тем, кем он стал, но очевидно и то, что это давление заставило его дать нам не видение торжества новорожденного капиталистического общества, то есть тех элементов, которые окружили новую науку и новую свободу мысли его эпохи, а картину (именно его, а не нашу) подлинного Нового Рождения, ожидаемого многими людьми, но на наступление которого только теперь стало возможно надеяться, хотя и после бесконечной цепи событий, заставляющих думать в то время, как они происходили, что ими будет совсем стерта та картина, которую оставил нам он».

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

Айртон: Цель моего выступления состоит в том, чтобы привлечь внимание к собственности. Я надеюсь, мы пришли сюда не для того чтобы оспаривать друг у друга честь победы, но пусть каждый из нас решит про себя, что он не пойдет по пути изъятия всей собственности, ибо в этом заключается основа конституции королевства, и, если вы отнимете ее, вы тем самым отнимете все...

Рейнборо: Сэр, мне ясно, что невозможно добиться свободы без изъятия всей собственности. И если это следует изложить в виде закона — а вы говорите как раз об этом, — это должно быть сделано именно так. Но я желал бы узнать, за что сражались солдаты все это время? Неужели они сражались за то, чтобы закабалить самих себя, чтобы дать власть богачам?

Прения в Генеральном совете армии.

Патни, 29 октября 1648 года.

1. Новая Атлантида

В XVII веке в Англии появилось особенно много утопических теорий. Никогда прежде эти теории не были более дерзновенными и практичными, ограниченными и сухими. В эпоху революции утопия глубже всего проникает в область политики и повседневные дела правительства. От этого она выигрывает и теряет одновременно. Мора, как мы видели, занимали вопросы соотношения бедности и богатства, уничтожения классов и в конечном счете вопросы человеческого счастья и социальной справедливости. Типичные писатели-утописты XVII века за-

¹ Орывок взят из протоколов так называемой конференции в Патни, происходившей в конце октября — начале ноября 1647 года. Спор шел между представителями двух партий английской революции XVII века: индипендентов и левеллеров. — *Прим. ред.*

нимаются главным образом вопросами политики в узком смысле, выработкой образцовой конституции и ее рабочего аппарата, вопросами состава и характера правительств и совершенствованием парламентского представительства. Говоря коротко, их интересуют не столько вопросы справедливости, сколько вопросы власти.

В результате происходит коренное изменение характера и стиля. Мы больше не встретим что-либо напоминающее широту взглядов Мора, его скорбь и гнев, его сомнения и тот горький юмор, с которым они выражены. Отныне все сухо, уточненно и походит на юридические акты. Налицо холодная, ясная и твердая уверенность в том, что там, в Макарии или Океании, светит единственно праведный свет, что достаточно лишь принять изложенную в них практическую программу, чтобы довести революцию до полного совершенства. Эта вера была в значительной мере оправдана, поскольку проблема, мучившая и сбивавшая с толку Мора, была разрешена, буржуазия достигла власти и располагала средствами, чтобы осуществлять свои желания. Поэтому, как мы попытаемся показать в этой главе, между утопическими сочинениями и активной разработкой конституции установилась в течение всего республиканского периода тесная связь.

Перемена климата в Утопии как нельзя больше отвечала изменению политического климата в Англии. Выше мы уже отметили кое-какие зачатки развития капитализма; рост и упадок классов; перемещение ценностей и особенностей отношений между буржуазией и династией Тюдоров. Абсолютизм Тюдоров обеспечивал новым имущим классам необходимую защиту и достаточно продолжительную передышку, чтобы они могли укрепиться. Предоставленные возможности были использованы полностью, пока к концу столетия не отпала нужда в покровительстве и сам покровитель не сделался бременем. В союзе с королевской властью буржуазия разорила крестьянство, унизила церковь, разгромила Испанию, пересекла океаны и вступила на новые континенты. Став отныне впервые в истории независимой силой, буржуазия пошла на штурм монархии, низложила и обезглавила короля и учредила республику. Утопия на короткое время перестала быть сказкой. Тысячи людей поверили в то, что она уже где-то близко, что до нее уже рукой подать. Новый

класс, смелый и предприимчивый, еще не видел пределов своей власти, если даже они где-либо существовали.

Наступлению бодрого утра революции предшествовал период довольно мрачных сумерек: целое поколение было свидетелем того, как разрывался союз между буржуазией и короной, когда напряженность событий породила одичание, усталость и разочарование. То был период шекспировских трагедий, век, когда сумасбродство Тамбурлена уступило место нелепым психологическим ужасам Уэбстера¹. К этому периоду принадлежит и «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона. В истории английской утопии она является звеном, связывающим Мора с гасателями-утопистами революционного периода.

Как и Мор, Бэкон принадлежал к семье, отличившейся на королевской службе. Он получил адвокатское образование, но хотя он был юристом по профессии, в его душе жило неугасимое пристрастие к философии. Впоследствии Бэкон становится лордом-канцлером Англии, но на вершине своей карьеры попадает в немилость и вынужден покинуть свой пост. Тут параллель кончается, так как во всем остальном трудно представить себе двух людей, более различных, чем они, по своему характеру и интересам. Вряд ли можно назвать другого крупного английского писателя, чья личность была бы менее привлекательна, чем личность Бэкона. Все изысканные апологии его почитателей, равно как и вся мощь и все величие его прозы лишь увеличивают нашу неприязнь к личности самого писателя. Никогда еще столь тонкий и блестящий интеллект не служил целям более мелким и пошлым. Ни чувство гордости или благодарности, ни верность дружбе не могли помешать его неудержимому стремлению к богатству и власти. Жадность, прикрытая застенчивостью, и чрезмерная склонность его ко всему показному служат как бы постоянным отрицанием принципов суровой бескорыстности, провозглашенных им в своем философском кредо.

¹ Тамбурлен (искаженное от Тамерлан) — герой трагедии выдающегося английского драматурга-гуманиста Кристофера Марло (1564—1593) «Тамерлан Великий». — *Прим. ред.*

² Джон Уэбстер (ок. 1580 — ок. 1625) — английский драматург, автор пессимистических трагедий «Белый дьявол или Виттория Корамбона», «Трагедия герцогини Мальфи» и др. — *Прим. ред.*

Однако это далеко не вся правда о Бэконе; было бы, я полагаю, совершенно ошибочным думать, что его философия не была искренней и глубоко прочувствованной. Возможно даже, что именно чрезмерная утонченность интеллекта Бэкона побуждала его к самообману, но гораздо справедливее считать, что в его характере отразилось главное внутреннее противоречие гуманизма, легшее в основу буржуазной революции. Гуманизм боролся не только за избавление человечества от суеверий и невежества, но и за освобождение капиталистического производства от стеснительных пут феодальной экономики: буржуазная революция ставила себе конечной целью благополучие человечества в целом, но одновременно хотела обеспечить новому эксплуататорскому классу возможность грабить и обогащаться; вот почему в этой резолюции переплелись нераздельно низость и благородство, жестокое угнетение и великодушие. Погоня за правдой и погоня за наживой нередко отождествлялись, и каковы бы ни были ошибки Бэкона, нельзя не признать, что в своих поисках правды он всегда был страстно и неизменно искренен.

Правда для Бэкона заключалась во власти, но не в политической власти самой по себе, поскольку он был верным слугой короля, вполне довольным существующим строем, но во власти над природой, приобретенной путем постижения ее законов. В этом суть всего его творчества, и не в последнюю очередь — «Новой Атлантиды». В этом произведении под видом описания утопического государства, в сущности, излагается программа государственного колледжа экспериментальных наук.

«Новая Атлантида» написана Бэконом в старости, когда ему было за шестьдесят лет, когда он был в отставке и уже разорился, но все еще надеялся — хотя для этого не было никаких оснований, — что будет снова призван к власти. «Новая Атлантида» всего лишь отрывок, фрагмент начатой и отложенной рукописи, никогда не печатавшейся при жизни Бэкона.

Предпринимая этот труд, Бэкон надеялся, что Яков I одобрит его предложения и субсидирует их; незаконченность работы служит доказательством полного крушения его надежд. С их утратой он перестал интересоваться своей работой, так как весь смысл ее заключался для не-

го в возможности практического осуществления его предложений.

В отличие от Мора Бэкон не интересовался вопросами социальной справедливости. Он также был гуманистом, но к началу XVII века в гуманизме уже не было прежнего жара: разница между «Утопией» и «Новой Атлантидой» заключалась не столько в их содержании, сколько в целях, в сдвиге общего плана интересов и в снижении температуры. Ранние гуманисты верили в разум и в возможность достижения счастья посредством беспрепятственного приложения разума. Бэкон и его современники хотя и не отрицали могущества разума, постепенно переместили центр тяжести вопроса от разума к опыту. Бэкон писал:

«Наш метод заключается в том, чтобы, живя в мире вещей, сохранять трезвость... установить раз навсегда истинный и законный союз между опытом и разумом».

И еще:

«Что касается духовных способностей и рассудка человека, то если они направлены на материальный мир, то есть созерцают создания божьи, то они действуют в соответствии с этим материалом и им ограничены; если же вся их деятельность направлена на самое себя, подобно тому, как паук тклет свою паутину, тогда эта деятельность бесконечна, в результате чего действительно получается паутина учености, поразительная по тонкости как пряжи, так и ткани, но совершенно беспредметная и бесполезная».

Бэкон жил в начале первого периода материализма, когда существовала твердая вера в то, что вся вселенная — от солнечной системы до сознания человека — представляет огромную и сложную машину, которой можно управлять, если обладать достаточным пониманием законов механики. Бэкон считал своим долгом использовать свой авторитет и несравненное владение языком, чтобы побудить своих современников вырвать у природы ее тайны. Как сказал Бэзил Уилли в своей превосходной книге «Фон событий XVII века»:

«Роль Бэкона была в том, чтобы со свойственной ему утонченной высокопарностью указать путь, по которому должна была продвигаться Наука. Он

делал это тогда, когда такие люди, как Галилей, Гарви или Гильберт, деятельность которых его сравнительно мало интересовала, завершали великие открытия, руководствуясь его принципами. Великая заслуга Бэкона перед наукой заключалась в том, что он дал ей несравненную рекламу».

Поэтому вполне естественно, что наши сведения об общественном, экономическом и политическом устройстве Бензалема, утопического острова «Новой Атлантиды», отрывочны. Бэкон говорит о нем вскользь, поскольку вымысел нужен ему лишь как занимательная канва для его брошюры. И все же нельзя не поражаться огромному отклонению от взглядов, высказанных в «Утопии».

Совершенно очевидно, что Бэкон был знаком с книгой Мора; поэтому вполне вероятно, что те места «Новой Атлантиды», в которых обнаруживаются расхождения с «Утопией», являются критикой положений Мора. Бензалем — монархия ортодоксального типа, с раз навсегда установленной конституцией, дарованной королем-основателем Саломоной. Там есть классы и частная собственность, о чем мы можем заключить из отрывка, где сказано, что в определенные торжественные дни:

«Если дела какой-нибудь семьи пришли в упадок или она оказывается в бедственном положении, дается распоряжение об оказании ей помощи и выдаются надлежащие средства к жизни».

Иными словами, если в Бензалеме и обнаруживается забота о нуждах бедных, то она носит характер милостыни, а не права, и необходимость в такой благотворительности признается возникающей в силу естественного хода вещей. В соответствии с этим проведены отчетливые социальные различия, неравенство между гражданами узаконено. Должностным лицам и выдающимся гражданам присвоены великолепные одежды и пышное представительство; они располагают обширным штатом личной прислуги¹. В Бензалеме семьи строго патриар-

хального уклада, причем главы их и все старики вообще пользуются большой властью. Тут нет и следа коммунизма, окрасившего отношение Мора к семейной жизни.

Случайных путешественников, вроде рассказчика этой истории, жители Бензалема приветствуют и встречают гостеприимно, но сношения с другими странами вообще не поощряются, потому что король Саломона,

«воскресив в своей памяти счастливое и процветающее состояние, в котором была в те времена его страна, подумал, что хотя и существуют тысячи путей, как изменить его к худшему, но вряд ли найдется один, чтобы его улучшить; подумав, кроме того, что ничего больше нельзя прибавить к его благодородию и героическим намерениям, кроме разве как сделать вечным (насколько может достичь человеческое предвидение) то, что было им в свое время столь счастливо установлено, потому... он и предписал те запреты и ограничения, которые у нас имеются в отношении допуска иностранцев».

Но, как и подобает народу, посвятившему себя поискам знаний, одновременно делается все возможное, чтобы разузнать про то, что знают в других странах, и ввести это у себя. Для этой цели во все цивилизованные страны посылались через определенные промежутки времени секретные миссии, обязанные доставлять сведения обо всем виденном.

Тому же Саломоне приписывалось учреждение «коллегии Соломона», члены которой были предметом почти что поклонения бензалемитов. Тут обнаруживается истинная цель Бэкона: вся Новая Атлантида, как и Бензалем, существуют только для этой коллегии. Бэкон больше всего расходится с Мором во взглядах на воспитание. Как мы уже видели, для Мора воспитание было делом общественным и коллективным, имевшим целью умножить счастье всего народа и обогатить его интеллект. Для Бэкона это было занятием коллегии специалистов, самым щедрым образом награждаемых государством и работающих в совершенной изоляции от масс. (Так, например, говорится, что один из старцев из «коллегии Соломона» совершил впервые за двенадцать лет путешествие в столицу.) Целью учения было не счастье, а власть.

¹ Уильям Гарви (1578—1657) — выдающийся английский врач-физиолог.

Уильям Гильберт (1540—1603) — известный английский физик. — *Прим. ред.*

² Вспоминается отзыв Обри о самом Бэконе: «Ни один из его слуг не смел появиться перед ним без испанских кожаных сапог, так как его возмущал запах воловьей кожи».

«Целью нашей деятельности является познание причин и сокрытых движений вещей и расширение пределов власти человека, чтобы все стало возможным».

В этой безграничности веры в человеческие возможности есть нечто от святой простоты, представляющей самую привлекательную черту в Бэконе и делающей его подлинным представителем своего времени, но эта же наивность ограничивает его цели количественными и эмпирическими категориями. В Бэконе слабо проявляется желание перейти от каталогизации к синтезу; он был поразительным обобщителем, питавшим глубокое недоверие к обобщениям.

Вследствие этого и методы «коллегии Соломона» были чисто экспериментальными; каталогизации опытов Бэкон посвящает десять самых интересных страниц «Новой Атлантиды». В них он описывает множество разнообразных металлургических, биологических, астрономических и химических див, а также рассказывает о практическом применении науки для изготовления новых веществ и изделий в медицине и даже в технике:

«Мы также имитируем полет птиц, потому что у нас существует до некоторой степени летание по воздуху; у нас есть корабли и лодки для погружения под воду... У нас есть любопытные часы и другие подобные машины с возвратным движением, а также вечные двигатели. Мы также имитируем движения живых существ посредством создания моделей людей, зверей, птиц, рыб и змей».

Бэкон надеялся, что ему удастся заинтересовать в своем проекте короля Якова, который гордился своей добродетелью и любил, когда его называли Соломоном своего века. Основание такого научного колледжа, мечтал Бэкон, возвратит его к общественной деятельности и вернет ему королевскую милость. Однако ему пришлось разочароваться в этом, ибо науки как таковые мало интересовали Якова I, а политическая борьба поглощала королевские доходы¹. Лишь в 1645 году, в правление Долгого парламента, проект Бэкона получил скромное прак-

тическое воплощение в виде философского колледжа. Его основатели — Сэмюэль Гартлиб, автор утопического очерка «Макария», и чешский ученый Комениус — признавали, что их начинание было вдохновлено «Новой Атлантидой». Уже позже, в 1662 году, когда философский колледж преобразовался в Королевское общество, Спрат, Бойль, Гленвилль и другие заявляли, что они только выполняют бэконовский проект «коллегии Соломона». И даже спустя много лет Бэкон все еще оказывал огромное влияние на работу французских энциклопедистов. Дидро, излагая свою программу, сказал:

«Если мы смогли достичь этого, то нашему успеху мы обязаны главным образом канцлеру Бэкону, который набросал план всеобщего словаря наук и искусств в те времена, когда, в сущности, ни тех, ни других еще не было. В те времена, когда еще было невозможно написать историю того, что было известно, этот необычайный гений написал историю того, что еще предстояло изучить».

Поэтому «Новая Атлантида» принадлежит истории науки столько же, сколько и истории Утопии или политики. Тем не менее развитие науки и промышленной техники составляло существенную часть успехов буржуазии, и забота Бэкона о прикладной науке, как форме *власти*, роднит его, как я уже сказал, с теми писателями-утопистами эпохи Республики, чьи произведения носили глубоко политический характер и о которых будет идти речь в следующем разделе.

2. Реальное и идеальное государство

Революция в Англии изобилует героическими подвигами; она также изобилует героическими иллюзиями. В этом проявляется черта, присущая всем буржуазным революциям, поскольку то, что они сулят, очень далеко от того, к чему они приводят, и подлинное их значение часто ускользает даже от тех, кто наиболее активно в них участвует. Они обещают свободу для всех, и по большей части эти обещания даются искренне, но свобода, которую они несут с собой, чаще всего является свободой

¹ Рассказывают, что когда появились книга «Novum Organum» Яков сказал про нее, что она, «как и божий мир, — превосходит всякое понимание».

¹ Ян Амос Коменский (1592—1670)—знаменитый чешский ученый и просветитель, гуманист и демократ, основатель новой педагогики. — *Прим. ред.*

для какого-нибудь одного класса, которую последний использует для достижения своих целей, тогда как для масс, чьей поддержкой этот класс заручился и чьи надежды он возбудил, достигнутые преимущества часто сомнительны, затрагивают их лишь косвенно и уж всегда сильно расходятся с тем, что ожидалось. В Англии XVII века и во Франции XVIII века безграничные надежды на всемирное братство и изобилие были жестоко разбиты. Поражение и последовавшее за ним широко распространившееся разочарование непривилегированных слоев населения привело к частичной реставрации старого режима, к компромиссу между различными группами эксплуататорских классов, компромиссу, который оставил нерешенными многие вопросы, но в то же время оставил свободным и путь для дальнейшего продвижения.

Те религиозные формы, в которые вылилась революция в Англии, позволили мечтам народных масс принять самые фантастические очертания. В течение всего этого периода имеют хождение самые сумасбродные теории; могущество человека и божье могущество идут рядом и по временам становятся почти равнозначными. Повсеместно людям казалось, что они делают божье дело, а бог делает их дело. Упразднение королевской власти было не только политической переменой, но исполнением завета святых и знамением приближения «золотого века» на земле, когда Христос должен будет явиться к людям, чтобы укрепить печатью дела своего народа. На некоторое время люди Пятого царства сделались могущественной политической силой и царство божье на земле казалось практически осуществимым.

Уже в 1641 году во время созыва Долгого парламента такие представления были широко распространены, Хансерд Ноллис писал в том году:

«И это та работа, какую надо выполнить. И как только она будет выполнена, Антихрист будет побежден, Вавилон разрушен и придет Иисус Христос царствовать во славе; и тогда возгласится аллилуйя,

¹ Люди Пятого царства — религиозная секта в Англии времен Республики, утверждавшая, что Пятое царство, во время которого Христос будет править на земле тысячу лет, наступит в ближайшее время и что она должна силой помочь его установлению. — *Прим. ред.*

ибо воцарился Господь Бог Вседержитель ... В этом забота дня, чтобы возглашать падение Вавилона, чтобы он падал глубже и глубже; и в том забота дня, чтобы не давать Богу отдыха, пока Он не воздвигнет Иерусалим, как хвалу всего мира... Бог избрал простой народ и толпу, чтобы провозгласить, что воцарился Господь Бог Вседержитель. Как и во время первого сошествия, Христос возвестил Евангелие бедным — не многим благородным, не многим богатым, но бедным, — так и при реформации религии, после того как начали обличать Антихриста, именно простой народ первым пришел заботиться о Христе»².

Этого тысячелетия ждали не только бедные безымянные и невежественные фанатики. Их надежды разделяли многие самые культурные люди того времени. В том же году Мильтон заявлял о своей вере в то, что английский народ будет

«самым трезвым, разумным и христианским народом современности, когда ты, вечный и близко ожидаемый Владыка, раздвинешь тучи, чтобы судить разные королевства мира, и станешь оделять почестями и наградами религиозные и справедливые государства и положишь конец всем земным тираниям, провозгласив свою всемирную и кроткую монархию на земле и небесах».

Мы почти вправе сказать, что Эдем в «Потерянном рае» был мильтоновской Утопией, Утопией, содержащей

¹ Апокалипсис, XIV, 6.

² Интересно проследить, как во многих религиях Иерусалим и Вавилон постепенно превращаются из символов религиозного порядка в политические и общественные. Роберт Бэртон («Анатомия меланхолии», 1621, часть III, раздел I) приводит слова Августина: «Два города представляют две любви; это Иерусалим и Вавилон, — один любовь к Богу, другой — земную; мы все — граждане этих двух городов, и, взглядевшись в самих себя, мы можем скоро определить, кто из которого».

В армейском псалме периода гражданской войны имеются следующие строки:

Бог теперь нам воздал честь,
И святых нисходит сонм.
Мечь остр, проворны стрелы,
Чтоб разрушить Вавилон.

Блейк значительно углубляет этот процесс, о чем см. ниже, стр.153—154.

многие из традиционных черт земного рая, описанного в главе I, рая, который он в пору первых восторгов революции надеялся увидеть осуществленным на земле. Позднее, когда во времена Республики надежды стали вянуть, а Реставрация их потом окончательно сокрушила, Мильтон перенес свой Эдем в отдаленное прошлое и в далекое будущее. Но именно в силу того, что «он был настоящим поэтом и, сам того не зная, сторонником Дьявола», он в течение некоторого периода надеялся, что сможет действительно вкусить от запретного плода и уподобиться богам, постигшим добро и зло. Для Мильтона трагедия грехопадения заключалась вовсе не в осуждении человека, пожелавшего познать добро и зло, но в том, что обещания змия были лживыми (как и обещания буржуазной революции) и что те знания и власть, какие они могли дать, оказались в этом случае недостаточными для человека. Рай, потерянный Мильтоном, в то время был первым предвестником революции.

Если Мильтона можно поставить во главе религиозных утопистов в английской революции, то утопичность его произведений была настолько скрыта, что он, должно быть, сам не вполне отдавал себе отчет в том, что им создана именно Утопия. Существуют другие религиозные Утопии того времени, но все более условного характера и значительно уступающие по своим достоинствам Утопии Мильтона. Одна из них, уже упоминавшаяся нами выше «Новая Солима», принадлежит Сэмюэлю Готту. Она была написана на латинском языке в 1648 году и переиздана в 1649 году.

Эта книга не привлекла к себе особенного внимания и впоследствии была забыта, пока ее в 1902 году не обнаружил и не перевел Уолтер Бегли, приписавший ее Мильтону по той простой причине, что, как он полагал, никто иной, кроме Мильтона, не мог создать «столь возвышенное» произведение. В действительности же, как я уже сказал, эта книга отличается почти невообразимой серостью и бездарностью. Она построена по обычной скалочной схеме. Новую Солиму открывают и посещают два

молодых человека из Кембриджа — Евгений и Политан. Им оказывают традиционное гостеприимство и охотно сообщают все интересующие их сведения. Все без исключения жители Новой Солимы воплощают все самые худшие из тех черт пуритан, какими их наделяли самые ярые их противники, отличаются ограниченностью своего кругозора и истерической набожностью, самовлюбленностью и нетерпимостью. Значительная часть книги посвящена описанию постановки учебного дела; в ней нет ни гуманистической широты Мора, ни бэконовского страстного стремления к науке. Книга затрагивает, по словам издателя,

«Господствующую любовную страсть, рассмотренную с точки зрения философской, платонической и реалистической... Книга также говорит много о религии, обращении, спасении, сотворении и конце мира, богоотцовстве, братстве людей, подавании, владении собой, ангелах и грехопадении человека, а также об извечном жребии человека».

Вряд ли можно ожидать, чтобы после всего перечисленного у Сэмюэля Готта осталось что сказать об экономической и политической организации жителей Новой Солимы; и действительно, эти вопросы почти совершенно обойдены в книге. Мы вправе заключить, что там имеются классы и частная собственность, богатство уживается с бедностью, подобно тому, как это было и во вполне реальных странах того времени.

Однако «Новая Солима» отнюдь не является пределом измышлений писателя-пуританина, давшего полную волю своему воображению. За примером недалеко ходить: сошлемся хотя бы на Джона Сэдлера. Его «Ольбия — недавно открытый Новый остров» — была напечатана в 1660 году и никогда впоследствии, насколько я мог установить, не переиздавалась. Титульный лист обещает описание «религии и религиозных обрядов; законов, обычаев и правил; нравов и языка». Книга начинается с того, как попавший в шторм корабль, на борту которого находится паломник, отклоняется от своего курса. В дальнейшем корабль терпит крушение у скалистого островка. Паломника спасает отшельник. Едва поблагодарив его, паломник начинает жаловаться на то, что он «ничтожнейший предмет гнева Создателя». Затем сле-

¹ Можно возразить, что, наоборот, Кокейн содержит в себе многие черты библейского Эдема. Важно, однако, то обстоятельство, что и Эдем и Кокейн оба содержат ряд традиционных черт, присущих мифологиям в разных частях света. И объяснения требует вовсе не то, что эти мифы распространены вообще, но то, что они никогда не утрачивают своей популярности в сознании народа.

дует 380 страниц утешений и поучений отшельника. Значительная часть его речей посвящена изложению числового мистического учения. Следующий отрывок дает довольно точное представление о его характере:

«И они лежали мертвые (как мы видели раньше) в течение трех дней с половиной, или 84 часа: которые кончаются в часу 324-м; утрення жертва — на 14-й день; чья вечерняя Минха начинается в часу 333-м; что прибавленное к 1332 (два остальных Меды, или дважды 666) составляет число, смежное с 1666; вечер накануне праздника Кушей, когда скиния Господня будет с человеком, если мы правильно сделали вычисление. Что можно еще лучше проверить по нашим таблицам и знакам, если так угодно Богу».

Книга обрывается, оставшись, очевидно, незаконченной, но удалось ли когда-нибудь Сэдлеру завершить свой труд и описать законы, обычаи и правление ольбия — сказать трудно. Можно предположить, хотя это и маловероятно, что такой утопический шедевр еще лежит где-либо в старинной библиотеке или шкафу, в ожидании своего исследователя. Надо думать, что в 1660 году политическая атмосфера была неблагоприятна для печатания каких-либо рассуждений о наступлении тысячелетнего царства Христова. Эта любопытная книга вызывает подлинный интерес потому, что она является образчиком тех диких нелепостей, до которых додумывались к концу периода Республики, и того, как их пытались уложить в рамки утопии. Печать упадка на всех этих произведениях в точности соответствует политическому разложению и банкротству политических партий и движений левого лагеря в последние годы Республики.

Помимо божественной власти, проявлявшейся через людей, существовала и человеческая власть, непосредственно влиявшая на события, поэтому было бы большой ошибкой как принимать всех деятелей английской революции за религиозных фанатиков, так и недооценивать роль религиозного фанатизма в тот период. Помимо «людей Пятого царства» и энтузиастов наступления тысячелетнего царства Христова были и трезвые политические теоретики мирского направления, такие люди, как Уолвин, Петти, Айртон, Вэн, а среди писателей-утопистов — Сэмюэль Гартлиб и Джеймс Гаррингтон. Содержа-

ние их утопий — «Макарии» и «Океании» — совершенно конкретное и носит сугубо политический характер. Эти утописты прекрасно отражают некоторые основные тенденции эпохи.

В этих двух утопиях элемент вымысла сведен к го-лой схеме. Если Мор и в значительно меньшей степени Бэкон интересовались не только формальной структурой своих образцовых государств, но и уровнем жизни их жителей, то для Гартлиба и Гаррингтона сказочная форма послужила лишь удобным предлогом для изложения своих образцовых конституций. В этих Утопиях нет народа, а есть только установления. «Макария» и «Океания» относятся к промежуточному типу между «Утопией» и такими попытками разработать конституцию, как «Народное соглашение». Как и последнее, «Макария» и «Океания» разработаны своими авторами до степени практических схем, пригодных для немедленного применения в Англии. Это отсутствие элемента вымысла, вероятно, является главной причиной того, что эти утопии теперь так основательно забыты: поскольку условия, на которые они откликались, исчезли, постольку и они утратили всякий аромат и цвет.

Следует считать вполне закономерным, что в периоды нарастания революции, когда называют большие перемены, характер утопии должен быть более практическим, сказочный элемент должен занимать в них меньше места, чем во времена, когда авторы-утописты мало надеялись на возможность их осуществления. Английская революция, как и другие буржуазные революции, вызвала обильный поток проектов конституций, причем некоторые из них были применены на практике. Причина такой тщательной разработки конституционных схем во время буржуазной революции, характерной и для Америки и для Франции, заключается в их двойственном и двусмысленном характере. Буржуазная революция всегда представляет собой результат действия комбинации классовых сил. Буржуазия втягивает в борьбу под стягом освобождения от привилегий значительную часть неимущих классов. В результате, как только пройдет первая стадия, начинается борьба между теми, кто хочет ограничить революцию уничтожением феодальных привилегий и королевского абсолютизма, и теми, кто стремится ее продолжать, чтобы уничтожить или ограничить власть имущих, без чего не-

достижима та демократия, во имя которой борются массы.

Отсюда возникает стремление подвести итоги и закрепить достигнутое в писаной и неотменяемой конституции. Ее обычно вырабатывают имущие люди, видящие в ней оплот против дальнейшего демократического наступления, хотя в некоторых случаях, как в упомянутом «Народном соглашении», инициатива принадлежит левому крылу, неуверенному в прочности своих успехов и стремящемуся хоть таким путем закрепить их и оградить от посягательств. Однако, как правило, именно правые партии и партии центра стремятся установить незыблемый и абсолютный закон, не допускающий никаких дальнейших изменений, кем бы они не предлагались. Таким образом, на практике достигалось, например в Англии, временное равновесие, пока не устанавливался порядок, отвечающий подлинному соотношению классовых сил.

Ключевым вопросом был вопрос о собственности. Буржуазия боролась за установление абсолютного права частной собственности против посягательств королевской власти и менее ясно выраженных, но зато более ограничивающих концепций феодализма; поэтому в первый период революции стремление буржуазии к абсолютному праву владеть и пользоваться своей собственностью имело объективно прогрессивный характер. На второй стадии, когда низшие слои средних классов оказывали давление, требуя более широкой демократии и завершения революции, право собственности становилось стеной, за которой прятались богатые, чтобы противостоять требованиям левеллеров. В прениях в Патни, отрывок из которых послужил и эпиграфом к этой главе, Айртон, наиболее дальновидный теоретик лагеря собственников, говорил следующее:

«Возражение выдвигается не против того, чтобы сделать представителей более одинаковыми, а против того, чтобы в это правительство, в котором у всех его членов равные интересы, вводились люди, не имеющие собственности в нашем королевстве... Могут оказаться избранными такие люди, или, по крайней мере, в большинстве своем такие люди, которые не имеют ни местных, ни постоянных интересов. Почему бы таким людям вообще не голосовать против всякой собственности?»

Рейнборо возразил на этот довод, прямо ссылаясь на права человека:

«Я очень хорошо помню, что джентльмен, сидящий под окном, сказал, что если так сделать, то не будет никакого права собственности, потому что пять шестых нации — бедный народ, который теперь исключен, тогда пришел бы сюда. Один же из сидящих по другую сторону сказал, что если поступить иначе, то будут избраны только богатые люди. Тогда, добавлю я, одна шестая часть населения сделает остальные пять шестых дровоколами и водоносами, и, таким образом, большая часть нации будет порабощена».

То же самое выразил Сексби:

«Нас много тысяч солдат, которые жертвовали своей жизнью; наши права собственности в королевстве очень невелики, если говорить о нашем имуществе, однако у нас было право в силу рождения. Но теперь оказывается, что если у человека нет в королевстве определенного состояния, то у него нет и прав в этом королевстве. Я поражен тем, насколько нас обманули».

Эта внутренняя борьба повела к перерождению Республики и сделала возможной реставрацию. Стремясь устранить эти конфликты и дать Республике прочную и постоянную основу, Гаррингтон и написал свою «Океанию». Именно эти горячие споры и страсть и составляли тот фон, на котором возникла эта бесстрастная книга. Прежде чем на ней остановиться, мы скажем несколько слов о «Макарии», написанной несколько раньше и имеющей меньшее значение.

«Описание славного королевства Макарии» было издано в Лондоне в 1641 году, когда Долгий парламент уже заседал и уже одержал свои первые крупные победы. Оно было посвящено парламенту:

«Поскольку я убежден, что это почтенное собрание успеет заложить краеугольный камень всемирного счастья еще до первого перерыва в заседаниях, я дерзаю внести свою скромную лепту в это сокровище; я выступаю не в качестве советни-

¹ «Макария» означает «блаженная». Мор писал, что эта страна находится недалеко от его Утопии.

ка или указчика этого почтенного собрания, но изложил свои представления в виде сказки, почитая это наиболее изящным способом выражения; образцами мне послужили сэр Томас Мор и сэр Фрэнсис Бэкон, некогда лорд-канцлер Англии».

«Макария» составлена в виде диалога между ученым монахом и путешественником. Последний начинает так:

«В королевстве, именуемом Макарией, король и управители живут в большом почете и богатстве, а народ живет в большом довольстве, изобилии, мире и счастье».

Ученый: Это кажется мне невозможным...

«Макария», как и подобает Утопии на заре буржуазной революции, организована скорее на принципах государственного капитализма, чем коммунистических. «Всякая торговля, могущая обогатить, королевство, допускается законом», но она находится целиком под контролем Великого совета, которому подчинены советы по делам животноводства, рыбной ловли, сухопутной и морской торговли и новых плантаций. Последний совет с помощью государства организует эмиграцию населения.

Совершенно новым моментом в утопической литературе являются методы, при помощи которых установления «Макарии» предполагается ввести в Англии. Впервые мыслится это не как результат решения доброго короля, а как результат убеждения народа в преимуществе такого изменения. Чтобы добиться этого, ученый монах обещает в своей проповеди:

«Сделать для всех очевидным, что те, кто против этого почтенного плана, во-первых, враги Бога и добродетели; во-вторых, они враги государства; в-третьих, враги сами себе и своему потомству».

Путешественник: Почему бы всем жителям Англии не согласиться сделать свою страну подобной Макарии?

Ученый: Одни дураки и безумцы будут против этого».

Так вступила Утопия во вторую стадию своего существования — в период веры в убеждение и просвещенное понимание собственных интересов. Однако до времени, когда будет ясно понята истинная природа классовой власти, еще очень далеко.

«Макария» принадлежит к первому этапу революции, периоду неограниченной веры и надежды. «Океания», изданная лишь в 1656 году, хотя значительная часть ее была написана много раньше, относится к годам завершения революции, полным сомнений и разочарований. Позади уже ряд опытов применения разных конституционных проектов, и все они провалились. Гаррингтон полагал, что знает причину неудач, и надеялся, хотя, надо полагать, и не очень сильно, что если примут его план, еще можно будет спасти Республику.

Гаррингтон представляет очень характерную фигуру, хотя и стоит особняком. Он родился в 1611 году в семье крупного землевладельца. Еще в юности Гаррингтон выказал большую склонность к политическим проблемам, но вместо того, чтобы принять участие в борьбе того времени, он отправился путешествовать за границу, где изучал установления иноземных государств, главным образом в могущественных аристократическо-купеческих республиках — Голландии и Венеции. В эпоху, когда наиболее радикальные практические политики не смели мечтать о большем, чем об установлении контроля парламента над властью короля, Гаррингтон в результате серьезного изучения греческой и римской истории сделался убежденным республиканцем. Несмотря на свой последовательный, академический республиканизм, Гаррингтон был лично очень привязан к Карлу I, и, когда король был уже в руках восставшей армии, он сделался его камергером. Этот пост требовал человека, пользующегося доверием обеих партий. Джон Обри, близкий друг Гаррингтона, писал:

«Король Карл любил его общество, однако он не выносил никаких разговоров о Республике».

Гаррингтон не принимал лично участия в гражданской войне и глубоко сожалел о казни короля. Однако, когда была установлена республика, он, в силу своих убеждений, сделался ее сторонником и свою «Океанию» посвятил Кромвелю.

Несмотря на это, получение разрешения на ее опубликование было сопряжено с некоторыми трудностями. По замыслу Гаррингтона, Оlfеус Мегалатор, в лице которого выведен в «Океании» Кромвель, достигнув высшей власти, отрекается от нее, чтобы учредить свободную республику. Вследствие этого цензор задержал на

некоторое время книгу, и Толанд, издавший труды Гаррингтона, предпослав им краткую биографию, приводит характерное высказывание Кромвеля:

«Этому джентльмену хотелось отвратить его от власти, однако тот не захотел бы расстаться с тем, что добыл мечом, за чечевичную похлебку: со свойственным ему лицемерием он заявил, что одобряет единоличное правление не больше, чем каждый из них, и что он был вынужден взять на себя пост верховного констебля, чтобы обеспечить мир между отдельными партиями в государстве, поскольку он видел, что предоставленные себе, они никогда не придут к соглашению о какой-нибудь определенной форме правления».

У нас нет основания считать, что Кромвель в данном случае лицемерил. Он полностью отдавал себе отчет в слабости Республики, может быть, и не понимая ее причин, и в последние годы жизни писал и говорил, как человек, утративший надежды.

И в самом деле, классовые противоречия, заложенные в самом основании Республики, были настолько глубоки, что никакая конституция, как бы хитроумно она ни была придумана, не могла бы предотвратить ее падения. Но как бы ни было, план Гаррингтона покоился на признании великой правды, и четкое провозглашение ее дает ему право на видное место в развитии концепции исторического материализма. Он считал, что характер общества будет зависеть от распределения собственности между составляющими его классами. Под собственностью Гаррингтон подразумевал земельную собственность, так как в XVII веке земля в Англии все еще являлась важнейшим видом собственности, но он готов был допустить, что в некоторых государствах, например в Голландии и Венеции, где положение было иным, его обобщение могло бы иметь более широкий смысл. Он формулирует это следующим афоризмом:

«Природа государства зависит от характера распределения владения землей или характера распределения собственности на землю. Если, — продолжает он, — один человек является владельцем территории или его власть над ней больше, чем власть народа... то такое государство — абсолютная монархия.

Если немногие избранные, или дворянство и духовенство, являются единственными, или в большей мере, чем народ, хозяевами земли, то государство — смешанная монархия, как Испания, Польша или с некоторых пор Океания [Англия].

Если весь народ является хозяином земли или земля так распределена между людьми, что ни один человек и ни одна группа людей, немногих избранных или аристократии, не являются в большей мере, чем народ, хозяевами земли, то государство (если нет вмешательства силы) является Республикой».

Поэтому основным законом Океании являлся аграрный закон о разделе земли. Конечно, наделалось ею не все население, поскольку Гаррингтон не верил в полную демократию, но большое количество людей. Земля распределялась согласно статуту, по которому никто не имел права владеть участком земли, стоящим более 2 тысяч фунтов стерлингов. Гаррингтон полагал, что при таком положении число землевладельцев никогда не сократится более чем до 5 тысяч и даже будет значительно превышать его, поскольку было маловероятным, чтобы все владели наивысшей нормой земли. Чтобы еще больше раздробить имения, он предложил упразднить право первородства и поделить их поровну между сыновьями владельцев. Такой аграрный закон создал бы прочную базу для Республики в той же мере, как консолидация реформации в Англии предопределялась количеством людей, заинтересованных в закреплении за собой земель, отобранных у церкви. В связи с этим уместно упомянуть о том, какую прочную базу создала себе впоследствии французская революция благодаря широкому распределению земли среди крестьян. Политическая власть в Океании не была целиком в руках землевладельцев, но распределялась так, что им обеспечивалось решающее влияние. В конечном счете весь план сводился к тому, чтобы сделать Англию страной мелких помещиков и крепких фригольдеров.

Обеспечив разделом земли основы республики в Океании, Мегалатор мог приступить к осуществлению других предложений Гаррингтона в области реформы механизма управления государством. Он ввел тайное голосование при выборах в парламент и в самом парламенте сделал выборы многостепенными; одна треть членов парламента

и всех других выборных учреждений ежегодно сменялась и, таким образом, весь состав их обновлялся каждые три года; он учредил двухпалатный парламент — члены верхней палаты, меньшей по составу, обладали более высоким имущественным цензом, они имели право прений, но не голосовали, тогда как нижняя палата, наоборот, голосовала, но была лишена права прений. Повидимому, Гаррингтон представлял себе деятельность нижней палаты как проведение своего рода не прямых референдумов.

Ни одно из этих предложений не было совершенно новым. Метод Гаррингтона был скорее историческим, чем эмпирическим, поскольку он вводил установления, существовавшие ранее в античном мире и особенно в Венеции, которой он всегда восхищался. Новым было лишь их сочетание и предложение применить к управлению большим национальным государством, тогда как раньше ограничивались городами или замкнутыми корпорациями.

Гаррингтон хотел ввести демократию, не знающую злоупотреблений и бюрократии, но также ограждаемую от «безответственных поступков» простого народа, в который он, как и большинство дворянских политических мыслителей, верил мало.

Республика отнюдь не искоренила злоупотреблений. Уинстенли в красочном отрывке из своего «Закона свободы в виде программы» отмечал, что:

«Стоячая вода портится... Некоторые чиновники Республики, засидевшись на своем месте, так поросли мхом из-за недостатка в движении, что едва соглашались разговаривать со старыми знакомыми»¹.

Чтобы этого избежать, Гаррингтон предлагал увеличить как можно больше число людей, фактически участвующих в управлении государством. Путем многоэтапного голосования, имущественного ценза и двухпа-

латной системы он надеялся избежать «эксцессов» демократии.

Значительное место в «Океании» занимают речи в сенате и различные подробные проекты, не представляющие теперь большого интереса. Некоторые из них носят фантастический характер, как, например, явно несерьезное предложение населить Панопею (Ирландию) евреями, для которых она должна была сделаться новой родиной. Другие, наоборот, имели вполне практический смысл, как, например, организация Народной армии. Лишь немногие утопии привлекли к себе столько непосредственного внимания, как «Океания». Вокруг нее возникла огромная памфлетная литература, выступавшая за и против, а в последние годы Республики образовалась целая партия, члены которой вербовались главным образом среди сторонников светского крыла республиканцев. Из последователей Гаррингтона и его ближайших соратников можно назвать Генри Невиля, Генри Мартена, Олджернона Сиднея и Джона Уайлдмэна, прежнего лидера левеллеров. В парламенте, собравшемся в январе 1659 года, было не меньше десяти-двенадцати членов, открытых сторонников Гаррингтона, не упускавших случая выдвинуть свои конституционные предложения.

В том же году Гаррингтон основал «Рота-клуб», вероятно первое в Англии собрание для политических прений. «Рота-клуб» был учрежден в строгом соответствии с принципами Океании. Этот клуб представлял удобную трибуну для совершенно свободных выступлений, и многие наиболее видные люди того времени принимали участие в его заседаниях в качестве членов или посетителей.

После Реставрации «Рота-клуб», как и другие формы республиканской деятельности, был запрещен, и Гаррингтон, Уайлдмэн и другие были заключены в тюрьму. Впоследствии Гаррингтона выпустили, но здоровье его оказалось подорванным суровыми условиями заключения и, как рассказывает Толанд, слишком большими дозами гвайяковой смолы, предписанной ему для лечения цынгги. В последние годы жизни им овладело своего рода помешательство.

¹ Недолговечный «Рота-клуб» был основан Гаррингтоном с целью содействовать осуществлению своих планов постоянного постоянного (путем ротации) изменения состава исполнительных и законодательных государственных органов. — *Прим. ред.*

¹ Мы цитируем по книге Смита «Гаррингтон и его Океания». Смит указывает на то, что Гаррингтон был знаком с произведением и деятельностью Уинстенли и диггеров, которые также произвели перераспределение земли в соответствии с необходимостью установления подлинной Республики. Диггеры, бывшие в основном пролетариями, предложили гораздо более радикальный и коммунистический раздел, чем Гаррингтон. «Закон свободы» Уинстенли, хотя и представляет пропагандистское произведение и не имеет формы сказки, мог бы все же быть причислен к утопиям XVII века.

«Его глубоко тревожило навязчивое представление, что его испарина обращается в мух и иногда в пчел».

Но за исключением этого он был в полном уме и жил спокойно в деревне до своей смерти, последовавшей в 1677 году.

После Реставрации политическое влияние «Океании» в Англии пришло к концу, но в американской и французской революциях, когда внимание вновь было устремлено на выработку конституций, оно стало опять проявляться. В числе других восторженных поклонников произведения Гаррингтона в Америке были Джон Адамс и Джеймс Отис, и конституция штата Массачусетс воплотила в себе столько его идей, что было официально выдвинуто предложение переименовать штат, назвав его Океанией. Влияние гаррингтоновских идей прослеживается в первых конституциях Каролины, Пенсильвании и Нью-Джерси, и горячая пропаганда Адамса в пользу введения двух палат в конгрессе Соединенных Штатов представляет их отражение.

Во Франции аббат Сийес включил в выработанную им конституцию, принятую в 1800 году, некоторые из наиболее важных предложений Гаррингтона, в частности разделение законодательной власти между двумя палатами, из которых одна вырабатывает предложения, а другая принимает решения. План не оправдал ожиданий, так как вторая палата превратилась в формальную инстанцию, лишь ратифицировавшую решения, принятые в другом месте, а также и потому, что, как, всегда, логика развития буржуазной революции таила в себе слишком много силы, чтобы ее могли сдержать конституционные преграды, как бы тщательно они ни были продуманы. Но тот факт, что к гаррингтоновской Утопии обращались наиболее проницательные политические теоретики американской и французской революций, свидетельствует о ее тесной связи с актуальными проблемами революционного периода.

3. Утопия и реакция

Можно было бы ожидать, что в период Реставрации в области утопической литературы наступит совершенное затишье: то, что такое предположение не оправдывается,

служит веским доказательством популярности и значительной притягательной силы произведений такого рода. Утопии Реставрации невысокого качества, и ценность внесенного ими в утопическую концепцию невелика. Однако эти утопии представляют значительный интерес из-за той точности, с которой они отражают изменения образа правления и новую политическую атмосферу. В этом смысле очень показательны, что две из четырех книг, рассматриваемых нами здесь, являются продолжением незаконченной «Новой Атлантиды» Бэкона, поскольку из всех главных утопий — это наименее радикальная и наименее политически прогрессивная.

Первое из этих предложений: «Новая Атлантида, начатая лордом Веруламом, виконтом Сент-Олбенс и продолженная эсквайром Р. Х., в которой излагается программа монархического правления» — было напечатано в Лондоне в сентябре 1660 года, в период первой вспышки роялистских восторгов. Посвящение к этой книге, помимо воли автора, звучит иронически:

«Священной особе моего монарха Карла II. Если в последующем изображении характера могущественного и наделенного всевозможными совершенствами монарха царственные добродетели Вашего Величества не воспроизведены полностью (так как я предчувствую, что портрет может показаться нарисованным со слишком резкими тенями), я буду смиренно просить Вашего милостивого прощения, так как это лишь первый набросок той превосходной красоты, которую рука более вдумчивого человека могла бы изобразить более яркими красками».

Как и Карлу II, королю Саломоне нравилось считать себя отцом своего народа, и он привык называть подданных своими детьми. Мы тут же узнаем, что

«Его стыдливость была необычайной, и его никогда не видели беседующим с женщиной, за исключением своей царственной супруги и кое-кого из своих ближайших родственников».

Он также прославился своей воздержанностью: обычным его напитком была подсахаренная вода. Однако он любил скачки, причем в Бензалеме они проводились без жокеев!

Немало незначительных подробностей заимствовано у Мора, но все прогрессивные стороны моровской утопии отсутствуют. Повествование разворачивается в форме диалога между вымышленным рассказчиком и Алькалдорем, членом магистрата Бензалема. Автор, повидимому, не понимает истинной природы реставрации, но наивно полагает, что в Англии просто-напросто восстановился порядок, существовавший до революции. На вопрос, как можно управлять Бензалемом без парламента, Алькалдор отвечает:

«Население Бензалема принимает за истину, не нуждающуюся в доказательстве, что их Саломона не может и не захочет их обидеть, так как его подданные — члены того же тела, головой которого является он сам».

И прибавляет, что сомневается, чтобы в Англии парламент мог еще долго просуществовать, во всяком случае, сохраняя такую же власть как в настоящее время. Далее он излагает теоретическую основу конституции:

«Мы считаем монархию наиболее близкой к совершенству, иначе говоря, к Богу, Мудрому Управителю вселенной, а потому и лучшей формой правления».

Преуспеяние дворянства зависит от воли монарха, народ же лоялен, добродетелен и миролюбив.

Как приличествует монархии, правление и вся общественная структура Новой Атлантиды носят сугубо патриархальный характер, и множество черт в них обращено назад, к средневековью. У каждого человека должно быть занятие, которое ему не разрешается менять. Члены магистрата имеют право контролировать производство и качество товаров, им поручено хранение общественных амбаров и огораживание общинных земель и пустырей. Помещики обязаны сдавать свои земли в долгосрочную аренду за определенную умеренную плату. Однако в этой утопии отражено и развитие науки и техник» в XVII веке, которое сказывается в том, что арендаторов обязывают засеивать половину своих пастбищ люцерной или другими фуражными травами, входившими тогда в моду в Англии, и применять разнообразные удобрения. И все же в целом эта утопия представляет простодушную попытку повернуть вспять не только к дореволюцион-

онному периоду, но и вычеркнуть многие экономические и социальные изменения, приведшие к революции.

Вторым продолжением «Новой Атлантиды» была работа Джозефа Гленвиля — писателя и общественного деятеля более значительного, чем анонимный автор, скрывшийся под буквами Р. Х. Гленвиль был тесно связан с кембриджскими платониками, последними эпигонами гуманизма эпохи Возрождения в Англии. Кембриджские платоники — Генри Мор, Кэдуорс, Джон Смит и другие — представляли школу с совершенно определенным направлением, пытавшуюся опровергнуть как материалистов-механистов, так и фанатиков пуританских сект доказательством разумности религии и преимущественно религии англиканской церкви. В этом смысле они достигли значительного успеха, поскольку в их век хотя и придавали разуму все больше и больше значения, но все еще стремились примирить его с религиозным откровением. Гленвиль сам был священником англиканской церкви и членом Королевского общества¹. В свое время он был обвинен в атеизме за свою раннюю книгу «Тщета догматов», а впоследствии за книгу «Торжествующее саддукейство», в которой пытался доказать реальность существования колдовской силы; на него стали смотреть, как на легковверного фанатика. Но ни одно из этих обвинений не было справедливым, ибо на самом деле он лишь пытался связать экспериментальный материализм Бэкона с рационалистическим мистицизмом кембриджских платоников.

В своем продолжении «Новой Атлантиды» он говорит о Бензалеме, охваченном огнем революции, хотя она описывается исключительно в плане теологической борьбы. Автор рассматривает революцию как конфликт между здоровым разумом и иррациональным фанатизмом. После того как «бензалемиты» низложили и умиротворили своего «благочестивого князя», освободился путь для всевозможных крайностей и безумств. Атакситы, то есть партия пуритан,

«провозгласили свой класс единственным святым и избранным Богом народом; они поносили разум как плотское проявление, доказывали его неспо-

¹ Одно из старейших научных учреждений Англии, фактически выполняет роль Академии наук. Основано в 1662 году. — *Прим. ред.*

способность познать истину и видели в нем врага всего относящегося к Духу... Все они говорили о своем необычайном общении с Богом, о своем особом опыте, о просветлениях и откровениях; и соответственно вели себя: очень уверенные в своей непогрешимости, они относились непочтительно к Богу и с презрением к тем, кто не принадлежал к тому же фанатическому образу мыслей».

Гленвиль противопоставляет им соперничающую школу, созданную по образцу кембриджских платоников; он возвращает религии разум, умеренность, простоту и достоинство, короче говоря, создает возрожденную англиканскую церковь.

«Они говорили атакситам, что если те и толкуют много о своей близости к Христу, о своем слиянии с Христом, о вселении в них Христа и о воплощении их интересов во Христе, и хотя многие глупые люди верят, что в звуке этих слов есть нечто от божественной тайны и поразительной духовности, то, говоря серьезно, они атакситы либо вовсе не понимают, что говорят, и под этим ничего не подразумевают, либо подлинный смысл их туманных слов заключался в вере в учение Христа, послушании его заветам и надежде на его обещания; вещи понятные и простые».

В результате этих разъяснений партия атакситов была посрамлена и низвергнута. Бензалем возвратился к разумной религии и монархическому правлению. В сущности, интересы Гленвиля были далеки от политики, но, насколько я мог установить, его Утопия — первая по времени, в которой описывается подлинная революционная борьба. Революция принесла с собой понимание того, что общество непрерывно развивается и изменяется благодаря сознательной деятельности человека. Несмотря на весьма умеренный интерес Гленвиля к политике, его Утопия представляет важный вклад в историю английской утопии. Следует добавить, что его работа была напечатана в 1676 году незаконченной. Это только часть гораздо более обширной книги, составлявшей продолжение «Новой Атлантиды». Известно, что такая рукопись существовала, но теперь она потеряна.

Третью утопию английской реставрации не следовало

бы, пожалуй, упоминать в этой книге, поскольку она, очевидно, написана французским писателем Дэни Вэрасс д'Аллэ. Но она была впервые напечатана на английском языке в Лондоне (1675—1679), за два года до того, как появилось французское издание. Английский вариант приписан вымышленному лицу — капитану Сайдену. Эта утопия иллюстрирует категории понятий, уже отмеченных нами в двух рассмотренных продолжениях «Новой Атлантиды». Она рисует также другие интересные черты того времени в Англии и Франции.

В этой утопии замечается такое же охлаждение к политике, как и в предыдущей; вместо нее проступает живое любопытство к обычаям и деятельности одного чужеземного народа, почти антропологический интерес к ним, который объясняется, очевидно, влиянием исследований самых отдаленных уголков земли и их открытий для сношений и торговли с европейцами.

«История Севаритов, или Северамбе» рассказывает, как после потопа земной рай был перенесен в область на юго-востоке от мыса Доброй Надежды и заселен человекоподобными существами, представлявшими собой новые создания. В ней много общего с земным раем Кокейн, описанным в первой главе. Так, там царит неограниченное изобилие и совершенно нет бедности. С другой стороны, Северамбе, будучи Утопией XVII века, имеет общество, устроенное на основании разума и естественного закона, и совершенно неизбежно управляется наследственным, деспотическим и полубожественным королем. В этом отношении в устройстве Северамбе, как и других Утопий того времени, имеется большое сходство с государством, описанным Гоббсом в его «Левиафане», хотя трудно сказать, было ли это вызвано непосредственным влиянием, или явилось общим следствием влияния абсолютизма, существовавшего во Франции, и борьбы Карла II за его восстановление в Англии.

Автор, повидимому, не слишком интересовался политическими вопросами: он всего лишь отдал необходимую дань времени — польстил господствующему ортодоксальному направлению. Покончив с этим, он с большими подробностями и подлинным воодушевлением обсуждает сложившиеся отношения между лагами и всевозможные другие обычаи в Северамбе, а также встречающиеся

дива. Он рассказывает, например, об особом виде временной женитьбы для путешественников:

«Так как многие из нас вынуждены иногда путешествовать, оставляя жен дома, то у нас во всех городах имеются женщины-рабыни, предназначенные для путешественников, так что мы не только даем каждому из них мясо, напитки и кров, но и женщину, с которой он мог бы спать так же открыто и законно, как если бы это была его жена».

В этом, конечно, проявляется отражение каких-то восточных обычаев гостеприимства, сведения о которых стали распространяться в Европе.

Вопросам преступности также уделено некоторое внимание. Северамбинцы, кажется, склонны причислять законников к преступникам. В этом отчасти сказывается обычное враждебное отношение простого народа к законам, но весь отрывок в целом заставляет предполагать, что адвокаты играли значительную роль в Англии во время гражданской войны.

«По обе стороны были кельи, или маленькие камеры, адвокатов. В них заключено какое-то число людей, которых не допускают свободно сновать по городу из боязни, как бы они ни заразили остальных граждан своими праздными мыслями и своим причудливым хитроумием. Все они, за исключением судей, содержатся точно так же, как в бедламах сумасшедший дом заперты в Европе все наши плохие люди и обманщики, или как дикие звери в своих клетках. Такими мерами оберегают спокойствие в городе».

Несмотря на значение, придаваемое разуму в Северамбе, в этой Утопии совершенно не видно бэконовского энтузиазма по отношению к наукам. Науки заменены огромным количеством разнообразных магических талисманов, производящих чудеса, особенно в отношении искажения вида животных; эти чудеса, как сообщает автор, приходились особенно по душе населению Утопии.

Поразительная политическая наивность и культурная ограниченность ее автора представляют самое интересное в этой утопии, так как они Показывают, насколько

господствовавшая политическая атмосфера влияла даже на то, что являлось всего лишь простой сказкой.

Эта книга, если рассматривать ее как сказку, тесно связана с типом утопических романов, получивших широкое распространение в следующем столетии. Она является предшественницей книг Руссо в отношении прославления природной простоты и «Дополнения к путешествию Бугенвилля» Дидро во Франции, а в Англии — работ таких разных и вместе с тем связанных между собой писателей, как Свифт, Дефо, Берингтон и Палток.

Подобная же наивность характеризует еще одну сказку, заслуживающую упоминания хотя бы из-за имени своего автора, а также потому, что она поразительно предвосхитила Робинзона Крузо. Это книга — «Остров Пайна», написанная в 1678 году Генри Невилем, остряком, республиканцем и ближайшим единомышленником Гаррингтона. Невиллю приписывается значительное участие в «Океании», хотя эта напыщенная и скучная книга очень мало походит на его собственное произведение. Герой книги Невилля — Джордж Пайн, — так же как и Робинзон, был выброшен на остров. Этот остров

«большой, отдаленный и недосыгаемый взору людей всякой другой страны, был совершенно необитаемым, и на нем не было никакого опасного зверя, который мог бы нам повредить. Более того, страна была весьма приятной, всегда покрыта зеленью и полна вкусных фруктов и всяких птиц, там всегда тепло, никогда не холоднее, чем у нас в Англии в сентябре; так что этот край, если бы он использовал блага культуры, которыми искусный народ мог бы его наделить, сделался бы раем».

В этом раю Пайну, как и Крузо, посчастливилось после кораблекрушения сохранить все запасы. Но уже в отличие от Крузо он оказался в обществе четырех женщин, спасшихся с ним вместе. Пайн так умело воспользовался и тем и другим, что жил со всеми возможными удобствами, счастливо и процветал. К 80 годам Пайн, прожив на острове 59 лет, насчитывал потомство в 1789 человек. В этой маленькой Утопии более всего поражает именно мирской и аморальный характер ее. Вместе с Гаррингтоном и Мартеном Невиль был выда-

ющимся представителем рационалистического течения в английской революции. В парламенте 1659 года, где он был лидером группы Гаррингтона, делались попытки лишить его депутатского звания на основании приписанного ему атеизма. На острове Пайн и его спутницы живут согласно своим природным склонностям, ничуть не заботясь о предписаниях морали или внешних ограничениях. Как видно, все заинтересованные лица оказываются удовлетворенными результатами такого поведения. В этом — признание торжества природных человеческих добрых чувств, там, где они проявляются свободно. Если обстановка здесь предвосхищает остров Дефо, то по духу книга более всего напоминает произведения Дидро и французских просветителей.

ГЛАВА IV

СМЯТЕННЫЙ РАЗУМ

Республика завяла; как Роландов рог,
Ее литавров гром священный смолк...
И тихо стало: и родился мистер Лонг.

Честертон.

1. Конец Кокейна

Победа солдат Черчилля при Седжмуре была одновременно победой над последними защитникам» Кокейна — Утопии всех веселых ребят, защитниками гордого и независимого человека, не угнетающего и не угнетенного, невообразимо удовлетворяющего свою жажду и голод. Именно в таких представлениях заключалась в основном мечта левеллеров, и в них, думаю, мне, был их главный источник силы. С одной стороны, левеллеры были людьми передовыми, рационалистами и по своей культуре стояли выше обычного уровня того времени. Но с другой — они принадлежали средним векам; их традиции и идеалы отвечали глубоко заложенным желаниям и несбывающимся надеждам народа. Их сила заключалась в синтезе прошлого с будущим, их слабость и неизбежность поражения — в несовершенстве их программы и в расхождении, существовавшем между ними и объективной действительностью исторического развития. Оно было шире и глубже, чем Буссекский Рейн у Седжмура, где была разбита армия Акийшаута.

Но если крестьянская армия и крестьянская Утопия и были разбиты, то решающая победа осталась все же не за феодально-католической контрреволюцией. Тут

¹ Здесь в 1685 году королевскими войсками Якова I, возглавлявшимися генералом Джоном Черчиллем, была разбита повстанческая армия Монмаута, основную часть которой составляли крестьянские массы, городские ремесленники и рабочие. — *Прим. ред.*

дело шло не только о еще одном из длинного ряда крестьянских восстаний, подавленных силами феодализма, — дело шло об окончательном поражении плебейских элементов буржуазной революции, а вслед за ним отпала и необходимость для крупной буржуазии идти на компромисс с этими остатками феодального общества. Черчилль мог, конечно, отправиться в Седжмур верным солдатом Якова Стюарта. Но, уже возвращаясь домой, он начал подумывать о том, что Вильгельм Нассауский¹, пожалуй, дороже заплатил бы за его службу. Подлинными победителями в Седжмуре были виги, те самые люди, которые три года спустя организуют так называемую «славную» революцию 1688 года.

События 1688 года, если их и нельзя назвать революцией в полном смысле слова, все же закрепили победу буржуазии, одержанную за сорок лет до того. Этот период был заполнен достижениями, далеко превосходящими те, в которых нуждалась или которых добивалась буржуазия, — достижениями, чередовавшимися с частными и временными успехами реакции. Теперь был достигнут компромисс, в основном отвечавший объективной расстановке классовых сил, и для победителей пришло время пожать плоды своей победы. Так, 1688 год привел к власти крупных купцов и финансистов, находившихся в союзе с дворянами-вигами, превратившимися в капиталистов-землевладельцев. Эта неодолимо мощная коалиция сил сделала политику достоянием лишь замкнутой касты и создала аппарат, необходимый для быстрого накопления капитала. Последнее привело к аграрной и промышленной революциям последней половины XVIII века.

Великая эпоха революции XVII века была периодом огромного подъема и безграничных надежд, дерзновенных мечтаний и столкновения идей. Теперь всему этому пришел конец: героизм, самопожертвование, бескорыстие — все настолько вышло из моды, что сами слова эти приобрели оттенок чего-то неуместного. Отныне каждая вещь и каждый человек имели определенную цену и честь сделалась таким же товаром, как и всякий другой. Вместо Лода мы обретаем Сашеверелла, Кромвеля сменяет Уолпол, и в XVIII веке больше всех походил

на Лилберна лишь Джон Уилкс «И тихо стало: и родился мистер Лонг...» Люди думали, что войны не принесли никаких изменений, но это было далеко не так; в действительности были достигнуты условия, при которых торговля и промышленность могли быстро расширяться. Учреждением Английского банка и национального долга было положено начало «современной» финансовой системе, а длинный ряд колониальных войн позволил английскому капитализму утвердить свое право эксплуатировать новые обширные территории. В XVIII веке буржуазия, возникшая из недр феодального общества в качестве антагонистической силы, боролась за политическую власть и добила ее, тем самым превратившись в современный класс капиталистов. Разрывая последние узы, связывавшие ее со старыми феодальными порядками, она упрочила свое положение и свой специфический способ производства, сделав их составной частью признанного порядка вещей.

Первым пророком этого нового класса был молодой человек, который сражался при Седжмуре на стороне побежденных, а через три года уже был на стороне победителей — вместе с Вильгельмом Оранским. Даниэль Дефо в своем памфлете «Призыв к чести и справедливости» (1715) с поразительной точностью определил точку зрения нового порядка и свою собственную:

«Я впервые в своей жизни приступил к ознакомлению с общественными делами, и вплоть до нынешнего дня всегда был искренним сторонником конституции моей страны, ревнителем свободы и интересов протестантства, но в то же время — постоянным последователем умеренных принципов, энергичным противником крайних мер *всех* партий.

¹ Уильям Лод (1573—1645) — архиепископ Кентерберийский, ярый поборник абсолютизма.

Уильям Сашеверелл (1638—1691) — английский политический деятель; принимал активное участие в разработке Билля о правах.

Роберт Уолпол (1676—1745) — английский государственный деятель, виг, премьер-министр в 1715—1717 и в 1721—1742 гг.

Джон Лилберн (ок. 1614—1657) — руководитель и идеолог мелкобуржуазного движения левеллеров во время английской революции.

Джон Уилкс (1727—1797) — английский политический реформатор, выразитель интересов лондонского купечества и мелкой буржуазии. — *Прим. ред.*

¹ Он же Вильгельм Оранский, ставший в 1688 году королем Англии после низложения Якова II Стюарта. — *Прим. ред.*

Я никогда не менял своих убеждений, своих принципов, своей партии; и пусть говорят что угодно о моем якобы переходе на другую сторону, я настаиваю на том, что ни разу не уклонялся от принципов революции, ни от доктрины свободы и собственности, на которой они зиждятся».

Для Дефо, как и для Черчилля, «свобода и собственность», или, вернее «свобода для собственности», стала к тому времени отождествляться уже с Оранской династией и протестантским порядком наследования, и, в сущности, при сложившихся после 1685 года обстоятельствах иной альтернативы не было. Что касается Черчилля, которому переменить вассальную зависимость было не труднее, чем прочим членам его семьи, то ему все было нипочем. Ну а как для Дефо, которому выпала честь сражаться в последней битве за английскую свободу? Неужели он никогда не почувствовал, что его новые принципы — измена делу, за которое боролись и умирали его друзья под голубовато-зеленым знаменем Монмауга, унаследованным им от левеллеров?

Если он это и понимал, то никогда не сказал об этом открыто, разве только намекнул. Когда Робинзон Крузо убежал из Салеха, он захватил с собой негритянского мальчика-раба Ксури и обещал сделать его «большим человеком». Впоследствии он очень к нему привязался. Когда их в конце путешествия подобрало португальское судно, капитан его, как рассказывает Крузо:

«предложил мне шестьдесят золотых за Ксури. Мне очень не хотелось брать эти деньги, и не потому, чтобы я боялся отдать мальчика капитану, а потому, что мне было жалко продавать свободу бедняги, который так преданно помогал мне самому добыть ее. Я изложил капитану все эти соображения, и он признал их справедливость, но советовал не отказываться от Сделки, говоря, что он выдаст мальчику обязательство отпустить его на волю через десять лет, если тот примет христианство. Это меняло дело. А так как к тому же сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то я и уступил его».

Крузо лишь однажды пожалел об этой сделке, а именно когда обнаружил, что мог бы с выгодой для себя использовать труд Ксури. Уж так ли нереально видеть в негритянском мальчике-рабе прежних товари-

щей Дефо по левому лагерю, а в капитане — Вильгельма Оранского? Возможно, что это и так, хотя сам Дефо предлагает нам следующим образом истолковать его «Робинзона Крузо»:

«Приключения Робинзона Крузо представляют полную картину подлинной истории жизни в течение двадцати восьми лет, жизни, проведенной в скитаниях, при самых отчаянных и горестных обстоятельствах, с какими когда-либо приходилось встречаться человеку, в постоянных бурях... в рабстве более страшном, чем турецкое, избежать которого удалось средствами столь же изумительными, как и в истории с Ксури и с баркасом из Салеха, терпевшим бедствие и подобранном в открытом море... словом, нет ни одного обстоятельства этой вымышленной истории, которое бы не намекало на подлинные события».

Хотел ли этого Дефо, или нет, но эта параллель перед нами, и весь эпизод как нельзя больше идет в ногу со своим временем. Именно поэтому Дефо является характерным писателем, а его «Робинзон Крузо» — характерной Утопией начала XVIII века в такой же мере, как Черчилль — типичным политическим деятелем того времени. Именно отвратительное сочетание объективно прогрессивного с морально затхлым в революции 1688 года и сбило с толку столько лучших людей той эпохи; именно поэтому неподкупный Фергюсон присоединился к якобитам; именно это столкнуло с неразрешимым и роковым вопросом тех, кто имел более старомодные понятия о лояльности, чем Черчилль, или обладал более тонким умом, чем Дефо.

В числе первых был ирландский солдат, может быть столь же великий, как и Черчилль, хотя и менее удачливый, чем он, который также был с победившей армией в Седжмуре. Среди последних находился молодой человек, в 1685 году плохой студент самого плохого, по его словам, университета — колледжа св. Троицы в Дублине. Если Черчилль и Дефо являются типичными фигурами одного лагеря, то Сарсфилда и Свифта можно причислить к лучшим представителям другого, причем весьма знаменательно, что этих обоих мы находим в Ирландии. В Англии «революция», как бы ни была снижена ее ценность, отстаивала все же «старое правое дело»; в

Ирландии такого «старого правого дела» не могло быть, поскольку ирландский народ знал, что, кто бы ни победил, он останется поработленным и разоренным. Сарсфилд не был политиком — это был простой и честный солдат. Он пошел путем, казавшимся ему при данных обстоятельствах единственным, и после своей знаменитой обороны в Лимерике эмигрировал в Европу с большой группой своих солдат и в 1693 году был убит в Ландене. Судьба Свифта гораздо сложнее, и мы остановимся на ней подробнее, поскольку им была написана вторая и самая значительная утопия века — «Путешествия Гулливера».

Свифт происходил из семьи со старыми монархическими традициями; его дед разорился, помогая Карлу I в гражданской войне. Его отец и дяди переселились в Ирландию, надеясь там восстановить благосостояние семьи. Таким образом, уже в рождении Свифта таилось противоречие: он не был вполне англичанином, не был и вполне ирландцем, и временами как будто равно ненавидел страну, где родился, и ту, что стала его второй родиной. Он часто подчеркивал, что является английским джентльменом, которому довелось родиться в Ирландии, но именно в этой стране он сделался национальным героем, любимым и уважаемым так, как мало кого читли и ценили до и после него.

И все же его патриотическую деятельность в Ирландии нельзя считать чисто случайной. Оставив университет, он поехал пробивать себе дорогу именно в Англию, надеясь приобрести известность в политике и литературе. Состоя личным секретарем Уильяма Темпда, этого восхитительного «пустого места», он издал свои две первые блестящие сатиры: «История одной лохани» и «Битва книг». Затем Свифт довольно неохотно принял сан священника и стал делить свое время между ирландским приходом Ларакор и изысканными литературными кругами Лондона. В этот период он сделался присяжным памфлетистом тори. Его беспощадное остроумие, блестящий полемический дар, дерзость и покоряющее обаяние сделали его в течение нескольких лет выдающейся фигурой в политической жизни Англии.

Нам могут сказать, что он был не кем иным, как торийским литературным поденщиком. Я полагаю, что

Уильям Темпл (1628—1699) — английский государственный деятель и писатель. — *Прим. ред.*

торийские взгляды Свифта нуждаются в кратком пояснении. Свифт признал, хотя и со вздохом сожаления, «революцию» 1688 года. Однако он не мог не видеть, что она укрепила новый вид угнетения и новую породу эксплуататоров.

«С этими мерами, — писал он, — согласились все те группы людей, которые мы называем дежнежным народом: те, кто приобрел большие капиталы, торгуя товарами и фондами, и ссужают их под высокий процент или за определенную мзду; те, кто постоянно собирают урожай от войны и чья выгодная торговля терпит ущерб, когда восстанавливается мир».

Свифт, как мы увидим ниже, глубоко ненавидел войну, колониальный гнет, ростовщиков и маклеров, разоряющих сельское хозяйство. Он видел (справедливо) в виггах партию, стоявшую за все это; он видел (ошибочно) в тори противостоящую им партию и отстаивавшую то, что ему представлялось более старым и более здоровым образом жизни.

В известном смысле ненависть Свифта к новым силам была реакционной, но она не была ни бесчестной, ни внушающей отвращение. Форма, в которой она проявилась, была, как ему казалось, единственно доступной для него формой проявления. Одним или двумя поколениями раньше он мог бы сделаться левеллером. Двойственность мировоззрения левеллеров, основанного на смутной враждебности как к феодальной, так и к буржуазной эксплуатации, была сродни двойственности его собственного мировоззрения. В одном из писем Свифта встречается его очень любопытный отзыв о Стефане Колледже — «протестантском столяре» и об одном мученике левого направления, как о «благородном человеке». Столетие спустя Уильям Годвин, оракул английских якобинцев, заявил, что Свифт «показал более глубокое проникновение в истинные принципы политической справедливости, чем любой из современных или предшествовавших авторов». Свифт родился в неудачное время, когда не было ни левеллеров, ни якобинцев и когда практически каждый не хотевший быть виггом мог стать только тори.

Свифта можно признать первым в курьезном списке тех тори-радикалов, в более или менее искаженной

форме олицетворявших оппозицию тем сторонам капиталистического развития, которые более всего усиливали угнетение масс. Его прямым преемником, самым выдающимся и, пожалуй, последним был Коббет. Но в XIX веке прерванная преемственность возобновляется и радикализм смыкается с чартизмом в лице Остлера, Дж. Стефенса и Чарльза Кингсли. Наконец, торийский радикализм через Раскина влияет на Уильяма Морриса и современное рабочее движение в Британии.

Жизнь и творчество Свифта показывают, насколько он был далек от присущей тори варе в божественное право и непротивление. Едва ли найдется у него произведение, где бы монарх не был посмешищем и достойным презрения, и его талант проявляется с наибольшим блеском именно тогда, когда он издевался над министрами, управлявшими от имени короля. Нам не следует забывать и о том, как Гулливер, посетив остров Глаббодриб, где жители могли вызывать мертвых, воспользовался этим свойством.

«Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он, между прочим, сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон младший, сэр Томас Мор и он всегда находятся вместе: секстумвират, к которому вся история человечества не может прибавить седьмого члена...

Больше всего я наслаждался лицемерием людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восставлявших свободу и поправленные права угнетенных народов. Но я неспособен передать волновавшие меня чувства в такой форме, чтобы заинтересовать читателя».

Таким образом, если, как это будет показано ниже, Бробдинггес Свифта и представляет торийскую утопию, то торизм его не тот, какой сделал бы его в наши дни членом «Карлтон-клуба», а при жизни мог дать ему епископскую кафедру, на которую ему давали право его таланты и оказанные им услуги. Мы уже рассказали о том, как он напал на вигов, усматривая в них партию войны. К теме войны Свифт неоднократно возвращается в «Путешествиях Гулливера». Гулливер предлагает открыть королю Бробдингнега секрет пороха, а когда

тот с ужасом отвергает его предложение, иронически замечает:

«Странное действие узких принципов и ограниченного кругозора. Этот монарх, обладающий всеми качествами, обеспечивающими любовь, почтение и уважение, — одаренный большими способностями, проницательным умом, глубокой ученостью и удивительными талантами, — почти обожаемый подданными, — вследствие чрезмерной ненужной шепетильности, совершенно непонятной нам, европейцам, упустил из рук средство, которое сделало бы его властелином жизни, свободы и имущества своего народа».

И вправду, мало какого тори тревожили подобные упрямства совести. Точно так же их не могло бы смутить то, о чем Гулливер рассуждает в конце своих путешествий, а именно, следует ли ему передавать свои владения английской короне:

«Правду говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях. Например, буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении; наконец юнга открывает с верхушки мачты землю; пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбоем; они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием; дают стране новое название; именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в качестве образца; возвращаются на родину и получают прощение. Так возникает новая колония, приобретенная по *божественному праву*. При первой возможности туда посылают корабли; туземцы либо изгоняются, либо истребляются, вожди их подвергаются пыткам, чтобы принудить их выдать свое золото; открыта полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, для любого распутства, земля обгащается кровью своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует *современную колонию*, основанную для обращения в христианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников».

¹ Известный консервативный клуб в Лондоне. — *Прим. ред.*

у Свифта были все возможности хорошо знать то, о чем он говорил, прежде чем написать этот отрывок, так как в результате неожиданной политической перемены в 1714 году ему пришлось поселиться в Ирландии, самой старой и наиболее эксплуатируемой колонии Англии. Новая обстановка ошеломила Свифта, и «английская» сторона его натуры заставила некоторое время держаться в стороне. Но Свифт со своей страстной ненавистью к угнетению и одинаково страстным стремлением господствовать над окружающими не мог долго молчать. Шаг за шагом он был вовлечен в борьбу, в которой все было против него, борьбу, обреченную в известном отношении на неудачу, поскольку в битве за будущее он использовал оружие прошлого. В личном плане борьба кончилась для Свифта безумием и отчаянием, но все же ему удалось разжечь едва тлевшие угли ирландского национального движения. Нам от этой борьбы остались среди прочего такие шедевры, как «Письмо обойщика», «Скромное предложение» и «Путешествия Гулливера».

«Путешествия Гулливера» — не только лучшее произведение Свифта, это сердце и душа всего его творчества, и работа над этой книгой проходит красной нитью через самые плодотворные годы его жизни. Он начал ее в 1714 году и закончил лишь незадолго до издания книги в 1726 году. Это убедительно говорит о том, что она точно отражает его взгляды этого периода. Он постоянно переделывал книгу, дополнял ее, и поэтому она отражает рост и развитие его идей, его первоначальные, дальнейшие и окончательные воззрения на человека и общество.

Таким образом, «Приключения Робинзона Крузо» и «Путешествия Гулливера» являются утопиями двух величайших писателей последней фазы английской революции, дополняющими друг друга, утопиями-близнецами, чьи авторы, как и их герои, являются дополняющими один другого представителями-близнецами своего века. Их черты сходства и различия одинаково значительны, и в следующем разделе этой главы мы должны рассмотреть и те и другие.

2. Буржуазный герой обретает Утопию

Сначала бросается в глаза сходство. Как «Путешествия Гулливера», так и «Робинзон Крузо» принадлежат новому миру, в корне отличающемуся от того, который

отразился во всех предшествовавших утопиях. Прежде всего значительно расширена доля чисто сказочного элемента. Для Мора, Бэкона и Гаррингтона сказка служила, хоть и в разной степени, только формой, удобным средством, чтобы подать утопию, и никогда не претендовала быть принятой за правду. Если мы на минуту представим себе их утопии лишенными этого сказочного элемента, то и оставшееся в них могло бы существовать самостоятельно. Но «Путешествия Гулливера» и «Приключения Робинзона Крузо» никак нельзя вообразить себе под таким углом зрения. Свифт и еще в большей степени Дефо пишут романы о «вполне зримых, вымышленных садах, с подлинными гадинами в них». Есть коренное различие в трактовке темы, в характере и стиле. Возможно, что именно в стиле обнаруживается оно больше всего.

Впервые мы встречаем стиль вполне буржуазный, характеризующийся отсутствием ненужных для основной темы отклонений, и это одинаково справедливо как для разорившегося аристократа Свифта, так и для оптимистически настроенного буржуа Дефо. Даже Мор, наиболее живой и человечный из ранних утопистов, лишь снижается от общего к частностям, и то только в особых случаях и как бы извиняясь при этом за то, что допустил такую вольность, как, например, в эпизоде с кашлем, из-за которого было навсегда утрачено точное местоположение Утопии. Но для Свифта и Дефо общее состоит из множества мелких подробностей, и эти частности становятся нормой. Нагромождая правдоподобные подробности, Дефо убеждает нас в том, что вероятное произошло в действительности, а Свифт заставляет нас забыть о своем неверии в невозможное. В их вымышленных садах не только подлинные гадины, в них находятся и настоящие люди, вокруг которых сосредоточено все действие. Герой-одиночка, полноценный буржуа, изменивший лик Англии, наконец достиг берегов Утопии. Разница видна уже в самом названии книг: вместо «Утопии» и «Океании» нам предлагают «Удивительные и странные приключения Робинзона Крузо, матроса из Йорка» и «Путешествия в несколько удаленных стран мира Сэмюэля Гулливера, старшего лекаря, а впоследствии капитана нескольких кораблей». Имеет значение главным образом не то, что Крузо и Гулливер наблюда-

ют, а то, что они делают, и их Утопии описываются не с абстрактной точки зрения, а глазами самих посетителей. Путешественники не простые наблюдатели, но и действующие лица, и их поступки изменяют и переделывают описываемые ими Утопии. Очень важно подчеркнуть, что эта сторона у Дефо развита гораздо больше, чем у Свифта.

В изложении твердо очерчена общественная среда каждого из них. Оба они занимают «среднее положение в жизни», которое, как убедился отец Крузо «на многолетнем опыте, является для нас лучшим в мире, наиболее подходящим для человеческого счастья, избавленным как от нужды и лишений, физического труда и страданий, выпадающих на долю низших классов, так и от роскоши, честолюбия, чванства и зависти высших классов». И Крузо и Гулливер были младшими сыновьями в семье. Тут перед нами классический буржуазный герой, с тех пор уже не сходивший со страниц романов: молодой и способный человек из почтенной семьи, получивший хорошую (иные могут ее найти плохой) подготовку для начала карьеры, которому предстоит пробить себе дорогу в жизни. Его приключения — повторение того, что приходилось испытывать бродячим рыцарям средневековых романов, с той существенной разницей, что этих приключений ищут не ради их самих, а ради сугубо материальной выгоды. Вместо того чтобы странствовать по заколдованным лесам в поисках источника на краю света, буржуазный герой, ориентируясь по компасу и звездам, прозаически плавает в море, уже нанесенном на географическую карту. Как бы фантастически ни обернулись в дальнейшем приключения Гулливера, он самым деловым образом выходит в плавание из Лондонской гавани и его самые необузданные фантазии легко укладываются в сетку координат. «Путешествия Гулливера» — первая утопия, снабженная картой, и если в «Робинзоне Крузо» ее нет, то это происходит лишь оттого, что и без нее места его странствований были хорошо известны.

К 1700 году весь мир был нанесен на карту с достаточной полнотой, и из мира чудес превратился в мир, в котором способным и самостоятельным молодым людям, занимающим среднее положение в жизни, «можно было заработать много денег». Англия и Голландия, страны, где буржуазия одержала свои первые победы, возгла-

вили свору тех, кто устремился на ограбление мира. Было поэтому совершенно естественно, что рассказы о путешествиях были в большой моде в этих двух странах, но это были совсем не те рассказы, что во времена Хэкдута¹. Тогда на первом месте в таких книгах фигурировало соперничество с Испанией, мерещились разграбление богатых городов и фантастическая добыча в виде галеонов², груженных золотой и серебряной посудой. Собственно говоря, только одно поколение отделяло эти книги от старых романов героического жанра. Но и этот период бурных мечтаний миновал вместе с другими порывами буржуазии в «стадии странствующего рыцаря»: заботы о торговле и торговых возможностях, прежде лежавшие под спудом, теперь стали играть главенствующую роль. Мир, если не считать нескольких далеких уголков, казался достаточно изученным, и цель Крузо заключалась в том, чтобы извлечь из этого выгоду.

Тут мы сталкиваемся с первым и, вероятно самым существенным расхождением между Лефо и Свифтом. Оба взяли себе в «герои» нового буржуа, ищущего барьер в дальних странах мира. Но там, где Дефо полностью отождествляет себя с Крузо, у Свифта Гулливер служит маской, скрываясь за которой, он может критиковать доходчивее и убедительнее. К такому же приему Свифт прибегал и ранее, рисуя образ дублинского обойщика. За всеми чертами сходства Лефо и Свифта кроется глубокое различие. Свифт и Дефо глядят на один и тот же мир, причем каждый по-своему видит его с поразительной ясностью, но они смотрят на него по-разному и выводы делают разные. Дефо принимал свой век, каким он был, радовался его достижениям и порядкам. Свифт отбрасывал их с горечью, презрением и ужасом. Поэтому «Робинзон Крузо» является книгой прямодушной до наивности, тогда как в «Путешествиях Гулливера» нас поражает огромное противоречие между формой и содержанием, противоречие, без которого эта книга никогда не могла бы сделаться классической книгой для детей. Профессор Дэвис сказал:

¹ Ричард Хэкдут (1552—1616) — английский историк и географ. — *Прим. ред.*

² Галеон — испанское парусное судно XVI века. — *Прим. ред.*

«По своей форме и плану «Путешествия Гулливера» — произведение, целиком принадлежащее XVIII веку. Это было одновременно острой сатирой на все надежды и мечты века и отвергало многое из того, что считалось наиболее ценным».

Если Крузо, как и Дефо, — человек своего века, представитель всепобеждающей буржуазии, то Гулливер — человек растерянный и разбитый. Ирония его судьбы лишь подчеркивается той обычной для того времени одеждой, в которую Свифту вздумалось его облечь. Крузо путешествует, так как ему недостаточно уже завоеванных стран. Гулливер ищет замену для утраченного (и, конечно, в значительной мере вымышленного) мира, разрушенного буржуазной революцией. Крузо находит то, что искал, потому что ему нужен всего лишь слепок с того мира, из которого он приплыл. Гулливер же никогда не может найти исчезнувший мир, потому что обречен повсюду влечь за собой сущность реального мира, ибо он сам является его невольным представителем.

Только благодаря талантности автора «Приключений Робинзона Крузо» читатель понимает, что содержание этой книги гораздо глубже, чем может показаться при поверхностном знакомстве с этим на первый взгляд приключенческим романом. Но даже самый ограниченный читатель (я не могу поверить в существование не названного ирландского епископа, который, по уверению Свифта, заявил, что «эта книга полна невероятной лжи и что касается него, то он не склонен верить ни одному слову в ней») не сделает такой ошибки относительно «Путешествия Гулливера». Тогда как обе книги заимствуют свою форму рассказов о путешествиях у рыцарских романов, у «Путешествий Гулливера» есть и второй предок — народная сказка, хотя в книге Свифта сатира и реализм, ужасы, остроумие и фантастика сочетаются совершенно по-новому. Этот элемент вымысла у Свифта, как и у многих, но не у всех его предшественников, служит дополнительным свидетельством глубокого понимания своего социального поражения и ухода от действительности мира, в котором пришлось пережить это поражение.

Здесь нужно, однако, провести разграничение, поскольку были времена, когда фантастика носила совершенно иной характер. Фантазия Рабле и Сирано де-Бер-

жерака, чьи произведения, содержащие элементы утопии, несомненно, были хорошо известны Свифту, так как он развил кое-какие заимствованные отсюда мысли (академии Лагадо из «Двора Королевы прихоти», значение роста и фантазия про логику наизнанку из «Путешествия на Луну» Бержерака), — это фантазия восходящего класса, полного сил и сознания своего растущего могущества и пользующегося ею как оружием для осмеяния фальши и нелепостей разлагающегося общества. Новый гуманизм вооружается ею против теории и практики средневековья. Но феодальный строй, и разрушаясь, сохранял свое политическое могущество, и суровая цензура вынуждала его критиков прибегать к эзоповскому языку, без которого их мысли никогда не стали бы известны свету. По той же причине во Франции в XVIII веке, в период созревания буржуазной революции, утопические произведения плодились во множестве, а в Англии того времени литература данного жанра почти совершенно исчезла. Буржуазная революция здесь уже завершилась, а вопрос о ее преемнике еще не возник. Во Франции Фуани и Дидро, Мабли, Морелли и даже Вольтер нашли утопию очень удобной формой для нападок на существующие установления, религиозные верования и даже общественные обычаи и отношения полов. Под ее покровом они могли высказаться так, чтобы быть всеми понятыми, не подвергаясь вместе с тем преследованиям власти. То же относится и к Свифту, который никогда бы не мог отважиться открыто сказать о многих вещах, о которых он упоминает в иносказательной форме, не опасаясь при этом за собственную свободу и целостность ушей своего издателя.

Сервантес также использовал вымысел для осмеяния старых порядков, но его положение было совершенно иным. В начале XVII века Испания была страной, где буржуазия не сумела сделать первые необходимые шаги для завоевания власти и в которой начинался длинный период упадка, продолжающегося и в наши дни. Испания стала, центром религиозной и политической реакции в Европе. Взаимоотношения между новым порядком и старым в этой стране были такого рода, что и тот и другой

¹ Савиньен Сирано де-Бержерак (1619—1655) — французский драматург и поэт. — *Прим. ред.*

деградировали и чахли. Сервантес, критикуя в «Дон-Кихоте» старый порядок, сам не стоит на твердой почве. Он критикует их не с точки зрения растущего, прогрессивного класса, а с позиций субъективного идеализма, который так поразительно сродни идеализму Свифта. Но не только прошедшее заслуживает критики в его глазах: он находит настоящее и будущее одинаково отвратительными. Это приветит его в отчаяние, и он ищет убежища в иллюзии, волшебстве и фантастике. Дон Кихот — герой, но герой поверженный, величайший трагизм поражения которого заключается в нелепости последнего. Мне кажется, что как в величии Сервантеса и Свифта, Дон-Кихота и Гулливера, так и в трагедии их крушения больше общего, чем принято обыкновенно думать.

Вернуться от Сервантеса и Рабле к непосредственным английским предшественникам «Путешествий Гулливера» — значит от великого перейти к пошлому. Все же некоторые из них заслуживают упоминания, так как могут помочь уяснить тот фон, на котором возникло творение Свифта. Вероятно, наиболее наивным из всех предшественников Гулливера является «Описание Нового Света, называемого Сияющим миром» Маргариты Кэвендиш, герцогини Ньюкаслской и жены генерала-роялиста, разбитого под Марстон-Муром. Эта книга, напечатанная в 1668 году, вероятно, была написана несколько раньше, в то время, когда ее автор со своим мужем разделяли судьбу изгнанного Карла II. Это целиком реакционная утопия, монархическая и антинаучная, притом написанная по-детски беспомощно и обнаруживающая, как и ее автор, кое-где чисто детскую проницательность, не заслуживает даже строгого осуждения.

Предполагается, что этот «Сияющий мир» сообщается с нашим через северный полюс. «Сияющий мир» посещает герцогиня, что дает этой книге безусловное право претендовать на честь быть первой утопией, которая написана женщиной и героиня которой является ее центральной фигурой. По причинам, остающимся до конца туманными, герцогиня быстро становится императрицей. Вступив в управление, она спрашивает жителей,

«почему у них так мало законов, на что они отвечают, что много законов порождает много расхождений во мнениях, а это обычно приводит к росту числа партий, и в конце концов к открытым

войнам. Потом она спросила, почему они предпочитают монархическую форму правления любой другой. Они ответили, что как естественно телу иметь одну голову, так естественно и политическому телу быть возглавляемым одним правителем, и что государство, имеющее много правителей, подобно многоголовому чудовищу. Кроме того, сказали они, монархия представляет собой божественную форму правления и потому лучше всего отвечает нашей религии».

Утопия населена людьми, существующими преимущественно в виде разных животных. Они распределены по разным ремеслам и профессиям соответственно своей природе. Императрица, как чувствуется, не без ехидства, разбивает их на группы:

«Люди-медведи должны были стать ее экспериментальными философами, люди-птицы — ее астрономами, люди-мухи, люди-черви и люди-рыбы — ее натурфилософами, люди-обезьяны — химиками, сатиры — ее врачами, люди-лягушки — политиками, люди-пауки и люди-вши — ее математиками, люди-попугаи, люди-сороки и люди-галки — ее ораторами и логиками, великаны — ее архитекторами и т. д.»

Благодаря непревзойденной бесхитростности этой утопии очень скоро становится ясно, что вся фантазия здесь всего-навсего компенсация за поражение. В изгнании Маргарита Кэвендиш мучительно переживала унижение ее знатного рода, лишение богатства и ощущала ненависть к победоносной Республике. Эта эксцентричная, старомодная женщина — «синий чулок» — служила мишенью насмешек распутных царедворцев, окружавших Карла II за границей. И вот в отместку она произвела себя в императрицы несуществующей страны, осыпала себя в мечтах бриллиантами, позволяя себе высмеивать или изгонять тех, кого она ненавидела или была неспособна понять. По этому пути пошел и Джонатан Свифт — всю разницу создает лишь обаяние его гения!

Две другие утопии заслуживают лишь самого краткого упоминания. Об одной из них — «Истории севаритов» — мы уже говорили в предыдущей главе. Остается добавить, что здесь легко прослеживается, как реальное

сливается с вымыслом, рассказ о путешествии — с волшебной сказкой, что так ярко проявилось в «Путешествии Гулливера».

То же можно сказать и о более ранней книге «Человек на Луне, или рассуждение о путешествии туда Доминго Гонсалеса», написанной епископом Фрэнсисом Годвином и впервые напечатанной в 1638 году¹. Эта книга была переиздана во времена Свифта. В слегка измененном виде она легла в основу памфлета «Описание Святой Елены», опубликованного в *Harleian Miscellany*, где ее теперь легче всего найти. В этой книге не только отражено упомянутое выше смешение разных элементов, но встречается ряд мест, тождественных с произведениями Свифта. Это позволяет предположить, что Свифту была хорошо знакома книга Годвина. Здесь также подчеркивается различие по росту человекоподобных существ: так, Гонсалес — карлик, а большинство обитателей луны — великаны, презирающие низкорослое меньшинство, наделенное короткой жизнью:

«Они великаны их почитают за низкие, недостойные существа, лишь незначительно отличающиеся от скотов, и используют для самых презренных и унижительных услуг, называя их ублюдками, притворщиками или оборотнями».

Вообще здесь налицо большое сходство с классически-героическими взглядами Свифта. Нет законов, нет воровства, так как отсутствует бедность, мало болезней, нет страха смерти. Мы скоро увидим, насколько такая атмосфера похожа на атмосферу в среде гуинггмов. Одна деталь в этой книге — остроумное приспособление, посредством которого Гонсалеса уносят на луну дикие гуси, словно превосхищает значительно более позднюю утопию Палтока — «Питер Уилкинс».

¹ Антони Вуд пишет: «Эта книга... была осуждена как столь же праздная, как и взгляды Коперника или странные рассуждения об антиподах, когда впервые о них услышали. Однако в дальнейшем, при более упорных попытках разобраться во всех этих хитросплетениях, люди более трезвого ума нашли дорогу, по которой следовало идти, чтобы увеличить объем знаний для пользы потомства. Среди них доктор Уилкинс, бывший некоторое время епископом Честерским, составил по разным отрывочным данным того времени (как предполагают) научный труд, названный «Открытие нового мира на луне» (*Athenae Oxonienses*, 1691).

3. История Гулливера

Если у «Путешествий Гулливера» длинная и запутанная родословная, то у «Робинзона Крузо», рассматриваемого как утопия, дело обстоит много проще¹. Ранние утопии воспроизводили в том или ином виде картины общин; нечто от социального единства и устойчивости, унаследованных феодальным обществом от родового строя, считалось чем-то неотъемлемым, и отдельная личность, как бы чутко ни отнеслись к ее нуждам, была всего лишь частью более крупного целого. Но Робинзон уже чисто буржуазная личность, он совершенно одинок, и его Утопия — это колония из одного лица. Тут человек обязан всем исключительно своим собственным усилиям, и никто ему не помогает и не мешает ни в чем. Для буржуа весьма типично представлять свое богатство как вознаграждение за собственный труд, при этом он с видом простака не замечает того, чего не хочет видеть — рабочего класса, за счет эксплуатации которого он нажил свое состояние. Иллюзия независимости всегда была его излюбленной иллюзией. В обществе, где конкуренция является основным законом, независимость, доведенная до логической бессмыслицы совершенного одиночества, не могла не казаться теоретически привлекательной, поскольку одиночество означает прежде всего свободу от конкурентов и лишь на втором плане — отсутствие помощников. Таковы корни широко распространенной мечты о необитаемом острове, где герой или предоставлен сам себе, или делается королем.

Правда, Крузо жалуется на отсутствие общества на своем острове, но в действительности он вполне смирился со своим жребием и быстро находит себе достаточное вознаграждение. Когда появляются другие жители, Крузо заботится о том, чтобы они стали его слугами или вассалами. После того как ему удалось скопить достаточно средств, он считает цель достигнутой. Теперь собственник Крузо обрел то счастливое состояние, когда он может поручить кому-то управление своим имением и сам удалиться от дел, иными словами, перестать заниматься производительным трудом и получать барыши и ренту издалека. Короче говоря, сутью буржуазной утопии является основание колонии свободным буржуа.

¹ См. «Остров Пайна» Невилля, стр.84.

Нельзя отнять у Крузо множества превосходных черт. С точки зрения мерок XVIII века Крузо, как и сам Дефо, — человек гуманный и даже щедрый. Нас поражает отсутствие у Робинзона узких расовых или религиозных предрассудков. Все свои поступки Крузо неизменно согласовывает с самыми строгими моральными принципами. Так, он долго размышляет над тем, имеет ли он право истребить людоедов, и не делает этого, прежде чем ему удастся обеспечить себя солидными моральными оправданиями. Когда в «Продолжении приключений» спутники Крузо разрушают туземную деревню на Мадагаскаре, его отчаяние совершенно искреннее. Но даже в этом случае он убеждает себя в том, что существует оправдание для этого поступка. Достаточно взять поведение Крузо в целом, чтобы убедиться, что именно в вопросах морали он целиком проникнут буржуазной идеологией, согласно которой всегда хорошо то, что выгодно. Сам Дефо также всегда был убежден в том, что, как бы сомнительны ни могли показаться некоторые его поступки, их всегда можно примирить с «истинными принципами революции».

Мне кажется, что именно цельность и простота «Робинзона Крузо», цельность и простота жизни, какой она представлялась классу, которому будущее, казалось, сулило вечный успех и для которого небесные врата представлялись едва ли более удаленными, чем сказочный Катэй, именно они и обуславливают разительность контраста этого произведения с «Путешествиями Гулливера». Отсюда легко понять, почему «Робинзон Крузо» был написан за один присест, почти как взгляд, брошенный назад, на жизнь, наполненную разнообразной деятельностью, тогда как «Путешествия Гулливера» — о чем я уже упоминал выше — представляют результат двенадцатилетнего крайне напряженного творческого труда Свифта, непрерывную работу над пересмотром и расширением книги, отразившей развитие и эволюцию взглядов автора за этот период. Теперь нам нужно восстановить хронологию этой работы и проследить за теми изменениями, через которые прошла книга.

В первом варианте она не была ни единым произведением, ни единой утопией. Это была серия коротких рассказов, нанизанных на судьбу одного общего центрального персонажа, и такая же серия утопий — как положительных, так и отрицательных. Иными словами, соци-

альная критика чередовалась с описанием государств, чьи достоинства Свифт приводит в пример своим согражданам, в других же пороки и безумства представлены с целью сатирического обличения установлений своей страны. Кроме того, есть места, где оба элемента сливаются, и в этом отношении, как, впрочем, и в других, Свифт мог послужить образцом для Сэмюэля Батлера, когда тот стал писать свой «Эреуон».

В начале 1714 года Свифт вместе со своими друзьями Арбуснотом, Попом, Гэем и Парнеллом стал писать сатиру «Мемуары Мартина-писакки (Скриблеруса)». Участие Свифта выразилось, как предполагают, в описании путешествия в страну пигмеев, позднее вошедшем в книгу первую «Путешествий Гулливера», и в сатире на прожектеров, позднее расширенной и составившей значительную часть книги третьей. Смерть королевы Анны вынудила Свифта удалиться в Дублин. Эта смерть была ударом, который настолько ошеломил его, что он замолчал на несколько лет, и за этот период его гений созрел и многое в нем изменилось. Его ненависть к несправедливости и угнетению еще более усилилась под влиянием их обнаженного проявления в Ирландии.

В 1719 году Дефо стяжал себе всенародный успех своим «Робинзоном Крузо». Свифт был невысокого мнения о нем. Дефо был для него вигом, бесчестным торговцем и невежественным пошляком, чьи писания недостойны внимания утонченных умов из литературных кофеен. Дефо мог бы прекрасно ответить теми словами, которые Свифт написал про себя:

Стихов и прозы его нimalo
Судью быть мне не пристало.
И критиков о них неведомы мне мнения,
Что раскупили их, то знаю без сомнения.

Нам нет надобности входить в подробности вражды, по всей вероятности, неизбежной между этими двумя великими людьми. Однако нам кажется, что успех книги Дефо о вымышленном путешествии заставил Свифта вспомнить о давно заброшенной рукописи, в которой он когда-то пробовал использовать этот литературный жанр со столь отличной целью. Как бы то ни было, около 1720 года он снова начал работать над тем, что сделалось потом «Приключениями Гулливера в стране лилипутов».

Но хотя написанные ранее главы представляли веселую сатиру на незначительность людей и тщету их обольщения своим величием, отныне в них стала сквозить нотка горечи. Сам Гулливер, который в начале книги говорит за Свифта, делается в дальнейшем Болингброком, и его опала и изгнание представляют в зашифрованном виде рассказ о падении Болингброка. Значительно позднее Свифт сделал новые добавления: под видом Флимнапа представлен Уолпол, и в повествовании появляются намеки на такие поздние события, как восстановление ордена Бани (1725) и пожалование Уолполу ордена Подвязки (май, 1726). Вообще ясно, что вплоть до момента опубликования рукописи в 1726 году Свифт постоянно возвращался к ней, внося возникавшие в его памяти свежие эпизоды.

Этим объясняются всяческие противоречия и несообразности, имеющиеся в книге. Одна из них встречается в главе VI книги о лилипутах. Общий характер книги ясен: это отрицательная утопия, иронический комментарий Свифта к незначительности человека, нелепости политических притязаний, ленов и почестей. Свифт стоит как бы *над* Англией и видит в ней лилипутов. Но в главе VI, очевидно, написанной значительно позднее, чем вся остальная книга, он перестает смотреть глазами великана и вписывает несколько страниц в духе утопических писаний, приближающихся к классической манере Мора.

В этой главе Свифт описывает некоторые законы и обычаи, «о которых, если бы они ни были прямо противоположны существующим в моей собственной любезной стране, мне бы хотелось кое-что сказать в их защиту». В Лилипутии доноски не поощряются, мошенничество преследуется строже, чем кража, и добродетель вознаграждается, между тем как антиобщественное поведение карается. Никто не считает руководство общественными делами тайной, и поэтому у лилипутов любой честный человек средних способностей рассматривается как наиболее подходящий для того, чтобы поручить ему эти дела. Все это очень близко к специфическому свифтовскому виду торизма, а его описание воспитания в Лилипутии еще более характерно в этом отношении.

«Воспитание детей, — говорят лилипуты, — менее всего может быть вверено их родителям», и дети с самого раннего возраста поручаются государству. Характер воспитания определяется не проявляемыми детьми способностями, а исключительно общественным положением родителей. Существует одна система для детей знатных людей, другая — для сельского дворянства и т. д.

«Причем дети, предназначенные быть ремесленниками, с одиннадцати лет обучаются мастерству, между тем как дети дворян и купцов продолжают общее образование до пятнадцати лет, что соответствует нашему двадцати одному году... Крестьяне и рабочие держат своих детей дома; так как они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особенного значения для общества».

Здесь полностью проявляется реакционная сторона философии Свифта. Он соглашается с феодальной концепцией общественных ступеней и делает их основой своей статической Утопии, в которой «золотой век» может воцариться навеки, если сохранять строгое подразделение общества на классы, похожие на касты, имеющие каждый свои права, обязанности и границы, которые невозможно переступить. Такая окостеневшая структура общества свойственна всем ранним Утопиям, чьи авторы рассматривали ее как законченное произведение искусства, завершенное, совершенное и неизменное. Человеческое общество, как и вселенная, было чьим-то преднамеренным творением, а не чем-то таким, что диалектически эволюционировало благодаря развитию внутренних противоречий, и потому Свифт, как и Мор, искал всего лишь идеальный образец. Именно контраст между этим идеальным совершенством и явно несовершенным миром и невозможность найти средство, чтобы перекинуть мост через пропасть между ними и заставляла их отчаиваться в человечестве.

В этой ранней стадии своей работы Свифт интересуется вопросом размера человеческого тела и возвращается к нему во второй книге, написанной, повидимому, вскоре после возобновления работы над «Путешествиями Гулливера», и, если судить по первому впечатлению, почти за один присест. В этой книге Гулливер посещает Бробдинггег, где жители были выше его ростом настоль-

¹ Болингброк, Генри (1678—1751) — английский государственный деятель и писатель-публицист, крайний тори. — *Прим. ред.*

ко, насколько он превышал лилипутов. Бробдинггег представляет собой обыкновенную Утопию изобилия, а не идеальное государство; об этом свидетельствует (хотя и не без непристойностей и недостатков) шокирующий отчет нищих, однако эта Утопия все же обладает теми достоинствами, какие более всего были по душе Свифту. Градация общества соблюдена: перед нами страна простых, процветающих, усердно работающих йоменов со здоровыми кулаками, чьи потребности в полной мере удовлетворены туземными торговцами и ремесленниками. Народ вооружен, и поэтому нет надобности в постоянной армии или особой государственной машине управления, органы управления сведены к минимуму. Ни один закон не может по количеству слов в нем превышать число оукв в алфавите страны. Нравилось Свифту и то, что в ней совершенно не было морских портов, а следовательно, отсутствовала внешняя торговля.

Размерам тела бробдинггегов подстать их героические душевные качества, так что когда их король высказывает свое суждение о Европе, полностью совпадающее с мнением Свифта, в основе его лежат именно размеры людей:

«Я не могу рассматривать ядро вашего народа иначе, как наиболее зловредную породу той отвратительной мелкой вши, которой природа разрешила ползать по поверхности земли».

Выраженная в этих двух книгах философия Свифта заключается в том, что человек мог бы выдержать испытания судьбы, если бы он был более развит физически, умственно и нравственно, и что возврат к жизни скромных желаний и простой добродетели мог бы обеспечить достаточное счастье.

Однако со временем во взглядах автора произошла значительная перемена. Книга первая была почти целиком написана в Англии и потому дает картину английской политики. К 1720 году Свифт уже шесть лет живет в Ирландии, и поэтому последующие части «Путешествий Гулливера» написаны на ирландском фоне, то есть в условиях страны, разоренной двумя столетиями войн и плохого управления. Народ Ирландии резко подразделялся на две группы: англо-ирландские высшие и средние слои общества, к которым принадлежал сам Свифт, и «староирландское» крестьянское сословие, униженное

непереносимыми страданиями почти до потери человеческого облика. Именно в то время Ирландия была больше, чем когда-либо раньше или позже, завоеванной провинцией, стоявшей на грани полной утраты своего национального самосознания. Когда Свифт описывал процветающее сельское хозяйство в Бробдинггеге, перед глазами у него было умирающее от голода крестьянство Ирландии.

Именно в 1720 году Свифт опубликовал первую из своих серий ирландских памфлетов, побуждающих народ развивать ресурсы своей родины, так же как сделали бробдинггегии, ничего не ввозившие из других стран, особенно из Англии. За этой серией последовали в 1724 году его наиболее знаменитые «Письма обойщика», сделавшие Свифта человеком, известным всей стране. Они привели к провалу законопроекта Вуда о полупенсовом налоге. Но и победа не смогла облегчить все растущее отчаяние Свифта. Пусть он и добился частичного успеха, это не разрешало проблемы в целом, проблемы разорения Ирландии и нищеты крестьянских масс. Так, в 1729 году Свифт писал в своем «Скромном предложении»:

«Поэтому пусть никто не толкует мне о других мерах: о налоге на наших абсентеистов в пять шиллингов на фунт, об отказе от покупки всякой одежды или предметов домашнего обихода, кроме тех, которые производят или выделяют в стране... о том, чтобы научиться любить свою страну, в чем мы отличаемся даже от лапландцев и жителей Топинамбука... о том, чтобы быть хоть чуть осмрительными и не продавать за гроши свою страну и совесть; о том, чтобы внушить помещикам хоть крупицу жалости к своим арендаторам. Наконец, о том, чтобы привить дух честности, предприимчивости и расторопности нашим торговцам...

Что же касается меня самого, я выбился из сил, обсуждая в течение многих лет пустые, праздные и нелепые бредни, и в конце концов, вовсе отчаявшись в успехе, к счастью, набрел «а это предложение чтобы детей бедных откармливали и продавали для стола богатых», которое, будучи совершенно новым, заключает в себе нечто дельное и реальное, не требует расходов и значительных хлопот,

находится всецело в нашей власти, так что, приняв его, мы не рискуем навлечь на себя *недовольство Англии*».

Предлагаемые меры были пустыми, праздными и нелепыми, потому что в Ирландии в то время не было класса, обладавшего желанием активно действовать и нужной силой для этого. Свифт также становился стар и все больше страдал от старческой слабости. И он смотрел вокруг себя с отчаянием, граничившим с безумием, и именно в этом настроении им были написаны последние части «Путешествий Гулливера».

Книга третья — самая противоречивая и сумбурная. Между отдельными ее элементами больше всего глубоких противоречий. Тут собраны некоторые как самые ранние, так и самые поздние фрагменты. Отрывок о научных прожектерах был написан около 1714 года, хотя письмо от Арбуснота показывает, что еще в 1725 году Свифт над ним работал. Сатира на прожектеров метила в Ньютона и современную науку, и эта атака не могла быть особенно успешной, потому что Свифт никогда не понимал вполне того, что он собирался осмеять. Его позиция усматривается из одного замечания о бробдингнегах:

«Знания этого народа очень недостаточны; они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой; но в этих областях, нужно отдать справедливость, им достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и развитие ремесел, так что у нас сна получила бы невысокую оценку».

Свифт не понимал, какое влияние окажет научный прогресс его времени на методы производства в будущем, хотя очень возможно, что если бы Свифт и предвидел его, он не сделался лучшего мнения о нем.

Кроме сатиры на *научных* прожектеров, в книге третьей есть сатира на *политических* прожектеров, которые делают из искусства управлять государством священную тайну, чтобы дурачить и грабить простой народ.

Мне кажется, что если хорошо разобраться во всех деталях, то окажется, что большинство их представляет позднейшие вставки, сделанные на основании ирландских впечатлений Свифта. Рассказ о том, как было умышленно разорено сельское хозяйство Бальнибарби

вследствие жадности и безумия землевладельцев, перекликается с тем, что Свифт писал в то время об ирландских помещиках в своих памфлетах.

Весь общественный строй острова Лапута и его отношения с метрополией, над которой он летает, — все это представляет открытую сатиру на Англию и Ирландию; в ней множество намеков на борьбу вокруг полупенса Вуда; часть этих ссылок была вписана, повидимому, только в 1725 году. Лапута (что по-испански означает проститутка) населена совершенно праздным и паразитическим правящим классом, отгороженным от всех забот жизни и занятым только выколачиванием дани из подвластной территории. В основном книга третья представляет негативную утопию, направленную против системы колониальной эксплуатации, прикрывающейся маской ложного рационализма, ложной науки и ложного просвещения.

В конце приводится потрясающий рассказ о стрэлд-брэгах — народе, обреченном жить вечно после утраты всех способностей, делающих жизнь сносной. Свифт всегда страшился такой участи, и в этой главе (по мнению профессора Дэвиса, она написана последней) он как будто предчувствует, что такая судьба ожидает его самого. Однако поистине замечательно в Свифте то, *как* этот растущий ужас и отчаяние углубляют его понимание и делают более острой его критику. Это больше всего проявляется в книге четвертой, где Гулливер посещает страну гуингнмов — разумных лошадей. До того сатира Свифта касалась отдельных злоупотреблений и несправедливостей. Теперь он берется за все устройство общества в Европе и рисует его с ясностью, достигнутой среди его предшественников лишь Мором и Уинстенли:

«Мне пришлось с большими затруднениями описать ему употребление денег, материал, из которого они изготавливаются, и цену благородных металлов; я сказал ему, что когда йэху соберет большое количество этого драгоценного вещества, то он может приобрести все, что ему вздумается: красивые платья, великолепные дома, большие пространства земли, самые дорогие яства и напитки; ему открыт выбор самых красивых самок. И так как одни только деньги способны доставить все эти блага, то нашим йэху все кажется, что денег у них недостаточно на

расходы или на сбережения, в зависимости от того, к чему они больше предрасположены: к мотовству или к скупости. Я сказал также, что богатые пожинают плоды работы бедных, которых приходится по тысяче на одного богача, и что громадное большинство нашего народа вынуждено владеть жалкое существование, работая изо дня в день за скудную плату, чтобы меньшинство наслаждалось, всеми благами жизни. Я подробно остановился на этом вопросе и разных связанных с ним частностях, но его милость плохо схватывал мою мысль, ибо он

исходил из положения, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными».

Это право — всего лишь право в силу рождения, за которое боролись левеллеры за два поколения до Свифта, и, несомненно, именно такие отрывки, как этот или другие, о законе, правительстве, торговле и войне, трактуемые в том же освещении, заслужили два поколения спустя одобрение Годвина.

Однако содержание книги четвертой не исчерпывается этой негативной сатирой. Она, как и книга вторая, представляет положительную утопию, вероятно самую странную, какую когда-либо придумали, и означающую новый поворот во взглядах Свифта. Прежде он подчеркивал незначительность людей, указывая, что все можно бы исправить, если бы человек мог развиваться до пределов, на какие он способен, потому что разве не был он созданием божьим, сделанным по его Образу и подобию? В книге четвертой все это подвергается сомнению. Человек, говорится в ней, испорчен настолько, что не может спастись, и нет теперь иного средства, как вывести новую породу, рожденную без первородного греха, и потому не нуждающуюся в том спасении, которое, по необъяснимым причинам, бесконечно задерживается. Так Свифт создает нравственную утопию разумных лошадей, живущих в обществе аркадской простоты, обращенном назад, с одной стороны, к золотому веку первобытно-общинного строя и к аскетизму «Утопии» Мора, где счастье достигается путем исключения всех излишних желаний, а с другой — вперед, к тесно с ним связанным мифу о «благородном дикаре», созданному Дидро и Руссо и фи-

лософами — предшественниками французской революции.

Свифт, безусловно, идет значительно дальше их, возвращаясь не только к «благородному дикарю», но и к более специализированному биологическому миру. Лошадь благороднее человека потому, что она проще. Ее желания просты и немногочисленны, и ею воздвигнута очень высокая моральная и философская надстройка на экономическом базисе, едва ли не неолитического периода. Государства почти нет, одежда и металлы неизвестны, общественной единицей является патриархальная семья. Гуингмы не обладают ни утонченностью, ни пороками цивилизации, которая стала глубоко ненавистной Свифту.

Во всем остальном они очень похожи на счастливых, ничем не связанных и добросердечных дикарей, скажем, из «Дополнения к путешествию Бугенвиля» Дидро. Утратив все человеческие пороки и безрассудства, они утратили и человеческую теплоту и страсть: добро становится пустым понятием, поскольку не существует зла. Они женятся, обзаводятся детьми, воспитывают их и устанавливают все свои общественные отношения, руководствуясь одним лишь холодным рассудком. Это мир, которым мы можем любоваться со стороны, но жить в котором хотелось бы одному только Свифту.

Чтобы оттенить разницу между этой холодной и совершенной воспитанностью лошадей, люди изображены в виде йэху, более отталкивающие и отвратительные, чем любые другие животные, так как они превосходят их в коварстве и, не обладая разумом человека, наделены отнако, всеми человеческими пороками, йэху — это люди, изображенные почти такими, какими Свифт видел их в минуты самого безнадежного отчаяния. Однако, как показал сэр Чарльз Фиос в своем блестящем очерке «Политическое значение «Путешествий Гулливера», это только одна сторона медали. Нам никогда не следует забывать о том, что Свифт писал в разоренной Ирландии, а мы уже видели, что его отчаяние приняло исключительные формы именно вследствие полного противоречия между его представлением о социальной справедливости и существующим соотношением классовых сил. Кроме того, он совершенно утратил веру в возможность как-либо улучшить долю крестьян, найти средство для уничтожения таких зол, как

«миллионы способов угнетения, которым их подвергают, тирания их помещиков, нелепое усердие их священников и общая нищета всей жизни».

Свифт опасался, что эти «миллионы способов угнетения» превратят ирландцев в нацию йэху. Фирс так пишет об этом:

«Дикие первобытные ирландцы», представляющие «беднейшую категорию наших туземцев», были не только на положении йэху, но и в натуре их наблюдалось определенное сходство. Если бы ничего не было сделано, чтобы остановить процесс вырождения, они сделались бы законченными скотами, какими были йэху. Они были, если можно так выразиться, йэху в периоде образования».

Изображая йэху, Свифт не столько изображал тип людей, сколько предупреждал против того, что считал опасным. Он продолжает то, что им было начато в книге третьей, — разоблачает колониализм и отмечает последствия, к которым последний, по его мнению, неизбежно приведет. Свифт не видел, да и не мог видеть в силу своей классовой принадлежности и своих позиций, что сами крестьяне уже начинали длительную и тягостную аграрную войну; эта война сомкнулась с борьбой за национальную независимость, которой так помог Свифт, и дала им возможность спасти самих себя от вырождения. «Скромное предложение» сыграло немалую роль в подтверждении приговора истории в ирландском вопросе.

Мизантропия Свифта, ставшая почти нарицательной, приписывается ему главным образом из-за йэху и «Скромного предложения». Однако такое мнение может быть лишь результатом поверхностного чтения; горечь Свифта нельзя считать чувством человека, низко оценивающего человеческое достоинство и цену человеческого счастья, это горечь человека, обнаружившего, что его высокому представлению о месте человека во вселенной вечно противоречит окружающая его действительность. Победа буржуазии над феодальным строем была общественно прогрессивным явлением, но буржуазный прогресс всегда достигался ценой потрясающих человеческих страданий и деградации. Свифт, оглядываясь на идеализированное прошлое и устремляясь вперед к справедливому обществу, о котором мало кто вокруг него во"

обще заботился, увидел только издержки этого прогресса. Дефо же видел только прогресс, едва замечая сопровождающие его страдания. Оба они своими восполняющими друг друга утопиями обрисовали славу и несчастья своего века. Благожелательность Дефо — это чувство победителя, который может позволить себе быть великодушным. Мизантропия Свифта — принадлежность представителя побежденного класса. Хотя Свифт боролся против буржуазного прогресса во имя прошлого, самый факт, что он это делал честно и мужественно, позднее сыграл свою роль в деле разработки нового взгляда, способного охватить будущее. Вот почему, мне думается, мы глубоко чтим Свифта, тогда как только уважаем Дефо.

4. Берингтон и Палток

По причинам, уже упомянутым выше, в XVIII веке утопическая литература в Англии упала до самого низкого уровня, и преемники авторов «Робинзона Крузо» и «Путешествий Гулливера» не заслуживают подробного рассмотрения. Следует все же упомянуть о двух произведениях: «Мемуары синьора Гауденцио ди Лукка» Симона Берингтона и «Жизнь и приключения Питера Уилкинса» Роберта Палтока.

Первое — академический труд, когда-то без серьезных оснований приписанный епископу Беркли, — написано в 1738 году. Его содержание было

«взято из исповедей и показаний на допросе перед отцами инквизиции в Болонье, в Италии. Оно повествует об открытии неизвестной страны среди обширных пустынь Африки, столь же древней, населенной и цивилизованной, как и Китай».

Возможно, что эта книга отражает ранние сведения о развитой туземной цивилизации, существовавшей в области Верхнего Нигера, и, поскольку элемент описания путешествия в книге преобладает, ее можно считать написанной в традиции «Робинзона Крузо». Из содержания книги видно, что автор ее изучал ранних утопических писателей, особенно Мора и Кампанеллу, однако сам не привнес чего-либо заслуживающего упоминания.

Мезорариане, как называет себя тот народ, были изгнаны из Египта вторгшимися туда варварами. Они пе-

ресекали Сахару и поселились в неизвестной области с исключительно плодородной от природы почвой. Эта подробность особенно подчеркивается, причем утверждается, что именно она и составляет базис для социального строя, в котором элементы первобытного и современного коммунизма причудливо сочетаются: с одной стороны, это общество простое, племенного типа, а с другой — дается понять, что благодаря большим естественным ресурсам его коммунизм основан скорее на изобилии, чем на недостатке. Это наиболее своеобразная черта утопии, хотя она и ведет неизбежно к некоторым противоречиям. Берингтон защищает свою систему в стиле, напоминающем Мора:

«Так как каждый из них больше трудится для общего блага, чем для себя самого, может быть, кто-нибудь выскажет опасение, что это может препятствовать производству, поскольку нет стимула личной заинтересованности в накоплении богатства и увеличении достояния своих семей, существующего у других народов. Я сам опасался этого, когда знакомился с их управлением, но оказалось совершенно наоборот — вероятно, во всей вселенной нет более прилежной породы людей».

Пожалуй, единственной чертой, так сказать, специфически присущей XVIII веку, является характер религии этого народа. Они, повидимому, деисты, веротерпимы, благожелательны и по преимуществу рационалисты.

«Все, что бы они ни делали, представляется для нас парадоксом, потому что они самый свободный и в то же время самый строгий народ в мире; весь народ... более напоминает универсальный духовный колледж или братство [не следует забывать, что рассказчик — итальянский католик], чем что-либо иное».

Эта терпимость приводит к инциденту, не лишнему мрачного юмора, во время допроса синьора Гауденцио в инквизиции. Он рассказывает, что мезорариане

«говорили мне, что когда я познакомлюсь с ними поближе, я не буду считать, что они настолько бесчеловечны, что приговаривают людей к смерти из-за того, что те расходились с ними во мнениях».

Инквизитор с кислым видом спрашивает:

«Я думаю, что вы не считаете незаконным преследовать и даже казнить упрямых еретиков, которые могли бы уничтожить религию наших предков и обречь других на те же вечные муки в аду, на которые обречены они сами».

Гауденцио, естественно, спешит отречься от возможности придерживаться столь опасного мнения.

«Приключения Питера Уилкинса», который открывает страну летучих индейцев в южных морях, обладают тем же фантастическим колоритом, что и «Путешествия Гулливера» (хотя эта фантастика находится на значительно более низком уровне), но по своему общему характеру эта книга гораздо ближе к «Робинзону Крузо». Этот гибридный характер и сухое, механическое развитие фабулы ставят книгу Палтока много ниже ее прототипов. Питер Уилкинс, как и Робинзон Крузо, — типичный буржуазный герой, но только более позднего периода. В этой книге, написанной в 1751 году, как раз в то время, когда промышленная революция только начиналась, гораздо больше места отводится подробностям техники производства, чем в любом из предшествующих утопических романов.

После ряда приключений в духе Крузо, включая побег из Африки и пребывание в одиночестве на пустынном острове, Питер Уилкинс натывается на летучих индейцев. У них культура каменного века, они не знают ни письменности, ни металлов, ни счета времени, и в полном противоречии с этим у них оказываются вполне развитое феодальное общество и грандиозная архитектура. Уилкинс сразу поражает их своей «недосягаемой ученостью» — умом. Причиной тому не его личные качества — в сущности, он на редкость глупый молодой человек, основной талант которого заключается главным образом в способности в рекордный срок наплодить огромное количество детей. Его превосходство — это превосходство буржуа в феодальном обществе, которое вполне компенсирует его неумение летать.

При первой встрече Питер Уилкинс обнаруживает свое знакомство с порохом и огнестрельным оружием. В дальнейшем будет видно, что ему были неведомы сомнения, терзавшие Свифта, и что он, в сущности, такой же тупица, как американский политический деятель, размахивающий атомной бомбой. Этим и другими подобными

демонстрациями Питер Уилкинс быстро добивается полного подчинения населения и пользуется им, чтобы совершить полную буржуазную революцию изнутри. Он вводит письменность, создает и развивает металлургическое производство, все области техники. Рабство и феодальная зависимость упраздняются и заменяются системой «свободной» работы за плату, при которой прежние феодальные гранды используют своих бывших рабов в качестве производителей товаров. Обещана эра всеобщего довольства и изобилия.

«Сэр, — сказал я, — человек, который ни на что не надеется, утрачивает одну из своих ценных способностей, и, если я не ошибаюсь, вы, когда проживете еще десять лет, увидите, что это государство изменится настолько, насколько отличается раб от дерева, которым он кормится. Вы будете обладать тем, что принесет вам лесные плоды, и вам не нужно будет иметь рабов, чтобы посылать за ними. Те, кто были раньше вашими рабами, будут считать за честь быть нанятыми вами, и сами станут в то же время нанимать на работу тех, кто от них зависит, так что маленькие и большие люди будут иметь взаимные обязательства друг перед другом; и те и другие будут обязаны прилежному труженику, и все же каждый будет довольствоваться тем, что заслуживает».

«Любезный сын, — сказал мой отец тесть, — это будут подлинно великолепные дни!»

Что и говорить — великолепные дни! Самая незамысловатость книги говорит о поворотном моменте. Это одновременно первая утопия, в которой показано, как начинают действовать силы, производящие излишки, и последняя, которая считает, что буржуазный строй ведет к Утопии. В эпоху, когда она писалась, буржуазная революция уже подготовила путь для капиталистического производства в больших масштабах, а оно, в свою очередь, создало новый класс и противоречия, которые могли быть разрешены только путем замены буржуазного общества другим. Все последующие утопии тем или иным путем отражают противоречия и конфликты внутри нового общества.

ГЛАВА V

ВОССТАВШИЙ РАЗУМ

Я дожид до того, что увидел, как тридцатимиллионный народ, возмущенный и решительный, с презрением отвергает рабство и непреклонно требует свободы, как он с триумфом руководит своим королем, а самовластный монарх сдается своим подданным. Мне кажется, что я вижу, как горячее стремление к свободе распространяется все дальше, захватывает все более широкие слои и в человеческих делах начинается общее искоренение всех пороков; власть королей сменяется властью законов, а власть священников отступает перед властью науки и разума.

Д-р Прайс, Проповедь, прочитанная в Обществе памяти революции в Великобритании, 1789 год.

В Англии машины, как люди, и люди, как машины.

Гейне.

1. Справедливость политическая

Между проповедью д-ра Прайса и замечанием Гейне умещаются решающая фаза в развитии капитализма и целый мир безграничных надежд и столь же глубоких разочарований. Французская революция должна была освободить людей от политической тирании и начать век, открывающий, благодаря торжеству разума, путь к Утопии. Машины были призваны беспредельно увеличивать национальное благосостояние и снять с людей проклятие, наложенное на них после грехопадения Адама, освободить их от железного закона, в силу которого, как бы тяжело и продолжительно ни трудился человек, он не мог выработать много больше того, что требовалось ему, чтобы поддержать свою жизнь. В 1789 году казалось, что это бремя будет снято с плеч, и люди

чувствовали себя так, точно им оставалось лишь разогнуть спину и шагнуть прямо в земной рай.

Такие ожидания были не новы, особенно в Англии. Нечто похожее мы уже наблюдали в XVII веке, когда английская революция казалась преддверием к «золотому веку», но в 1789 году обнаружились новые и очень важные черты, на которые необходимо указать. Английская революция в XVII веке была изолированным событием. Ничего, если не считать Нидерландов, сравнимого с ним не произошло нигде, и было маловероятным, чтобы оно могло повториться где-либо в другой стране. Нигде в Европе не понимали английскую революцию и не смотрели на нее, как на пример, заслуживающий подражания. Французская же революция взбудоражила Европу. Превосходство французской культуры было общепризнанным, литература Франции считалась недостижимым образцом, а философов-просветителей, подготовивших почву для революции, читали на всем континенте и повсюду восхищались ими. Феодальная реакция была уже не в моде, а крепнущая буржуазия повсюду стремилась последовать примеру французской. Лишь в одной Англии, где правящая часть буржуазии, уже совершив революцию, пришла к соглашению со значительно обуржуазившейся аристократией, французская революция была встречена враждебно. В Англии новая революция могла носить только опасный народный характер и поставить под угрозу существовавший компромисс. Кроме того, в Англии еще не совсем забыли уроки республики, а слово «левеллер» оставалось синонимом слова радикал вплоть до середины XIX века, тогда как демократом было принято называть лишь представителей низших общественных классов. Таким образом, на континенте революцию приветствовали все слои средних и низших классов, а в Англии — лишь те, кто считал дело революции XVII века не доведенным до конца. Однако повсюду французская революция признавалась событием не национального, а мирового значения.

Революция 1789 года наступила, кроме того, лишь после длительного периода завоеваний; без него она вообще не была бы возможной. Основные контуры материков были довольно верно нанесены на карту, и целый ряд колониальных войн привел к образованию колониальных империй Франции, Англии, Испании и

Голландии, раскинувшихся во всем мире. В Америке только что закончилось восстание колонистов, которое привело к установлению в Соединенных Штатах первой буржуазной республики. Росту мировой торговли и исследований соответствовал сопутствующий ему рост производительных сил, особенно заметный в Англии. Здесь этот рост, который мы теперь называем промышленной революцией, в 1789 году происходил очень бурно. В других странах этот процесс также получил развитие, достаточное для того, чтобы буржуазия почувствовала, что ее силы связаны путями отживающего свой век феодализма. Экономические претензии, которые во время английской революции хотя и существовали, но оставались на втором плане или выдвигались только в более позднюю пору, теперь были предъявлены открыто в «Наказах» (*Cahiers de Doleances*), перечнях требований, которые были поданы еще до созыва Генеральных штатов.

По этой и другим причинам во французской революции проявился сильнее, чем в какой-либо предшествующей революции, ее политический характер, и классовая борьба носила более широкий и острый характер. Революция в Англии надела маску религии; в Голландии и Америке на первом плане был национально-освободительный момент, сбивший с толку не только современников, но и историков. Этот туман оказался таким долговечным и надежным покровом, что лишь теперь он начинает рассеиваться и получает признание марксистская точка зрения о буржуазном характере этих революций. В отношении французской революции такой путаницы не может произойти, ибо она с самого начала вылилась в борьбу буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянами и пролетаризированными массами города, против феодального режима. Именно перспектива классовой борьбы испугала в Англии все слои собственников. Слова «свобода, равенство и братство» звучали совершенно по-разному для тех, кто их провозглашал, и для тех, кто им жадно внимал. Для первых равенство означало упразднение тех феодальных ограничений, которые предоставляли привилегии немногим, а свобода — уничтожение всего, что препятствовало свободному накоплению капиталов. Другие понимали под этим безопасность и одинаковые возможности для всех. Очень скоро на-

ступило время, когда эти люди потребовали, чтобы их толкование получило признание.

Если бы можно было все надежды и все теории той эпохи выразить в одном слове, то этим словом было бы слово *разум*. Все тогда предавалось суду разума: королевская власть, религии, законы, обычаи и верования, и то, что не могло доказать своей разумности, бесповоротно осуждалось. В разуме был ключ к Утопии, и если бы можно было открыть идеальное общество и ясно доказать его разумность, никто не стал бы серьезно возражать. «Если, правда, — писал Блейк, — высказана так, что ее поняли, в нее нельзя не поверить». Точка зрения, бывшая 150 лет до того достоянием немногих, вроде Гартлиба, теперь стала всеобщим догматом. А то, что разум сам нуждается в проверке, что то, что представляется явно разумным капиталистам, как, например, свобода эксплуатации человека человеком, может оказаться не столь очевидным для рабочего, — все это будет понято лишь в будущем. Понадобилось еще 150 лет, чтобы узнать, что и у разума есть классовая основа.

В то время казалось, что нужно лишь одно: смести несколько стеснительных ограничений — монархию, духовенство, невежество, — с помощью которых людей заставляли путем обмана и принуждения отрицать разум. Вслед за этим легко последовало бы все остальное. Вера в способность человека совершенствоваться, наивная в некоторых своих проявлениях, содержала в себе все же непреложную правду, поскольку человеческая природа рассматривалась не как нечто абсолютное и неизменное, но как производное человеческой жизни и тех условий, в которых эта жизнь протекает. Перед глазами современников открывалась бесконечная перспектива, и в этом, мне кажется, та новая черта, которая отличает утопические теории того времени. Раньше Утопии представляли идеальное государство, завершенное во всех подробностях и потому навеки окостеневшее. Теперь же прогресс не только представлял путь к Утопии, но составлял ее неотъемлемую часть. Отныне у утопического государства есть не только география, у него появляются

история и климат. Неудивительно поэтому, что два великих писателя-утописта того времени являются одновременно и двумя величайшими поэтами — это Блейк и Шелли.

Сначала следует все же остановиться на фигуре чрезвычайно прозаической, а именно на Уильяме Годвине¹. Его книгу «Исследование о политической справедливости» нельзя обойти молчанием, хотя это не утопия в строгом смысле, как я определил ее для целей этой книги. Это произведение не только имело огромное влияние; в нем, проникнутом утопическими настроениями, были собраны воедино все типические идеи своего времени. Сочинение Годвина настолько типично для эпохи, что многие годы спустя после его опубликования под выражением «современная школа философии» подразумевались Годвин и его последователи.

Несомненно, что исходным пунктом для Годвина были идеи французской революции, хотя он не любил никаких революций и не доверял им, предпочитая основываться на неопределенно выраженном желании перемены, которую могло бы произвести, как он полагал, распространение его идей. Здесь мы наталкиваемся на основное противоречие: окружающее, то есть, в основном, то общество, в котором он живет, формирует человека. Но так как изменить общество может только человек, то как может неизменный человек изменить общество или даже вообразить себе или пожелать такого изменения? В сущности, это один из тех обычных парадоксов о курице и яйце, которые неразрешимы в выражениях механического материализма. Противоречие можно разрешить только диалектическим путем, если рассматривать человека не как изолированного индивидуума, а как представителя класса; тогда становится очевидным, что борьба между классами изменяет как человека, так и общество. Этого Годвин никогда не понимал, и поэтому мысль его академична и практически безвредна. В этом несомненная причина того, что он не подвергался преследованиям в течение всего периода антиякобинского террора. В его работе много смелого и здорового, но общий эффект ее отрицательный.

¹ Блейк Уильям (1757—1827) — английский художник и поэт. — *Прим. ред.*

¹ Уильям Годвин (1756—1836) — мелкобуржуазный историк, проповедник анархизма. — *Прим. ред.*

Он не верил в революцию как в средство достижения Утопии, и последняя представлялась ему как общество, в котором отсутствовало все то, что он не любил. Правительство будет сокращено до минимума, общество будет состоять из свободной федерации полуавтономных общин. То же мы встречаем и у других писателей-утопистов этого и последующего периодов. Параллелограммы Оуэна, фаланги Фурье и приходы Спенса отражают эту тенденцию, прослеживаемую начиная от диггера Уинстенли. Все эти утопии в какой-то мере порождены разочарованием масс в успехах и результатах буржуазной революции, одним из следствий которой является разорение крестьянства и разрушение феодальной деревенской общины. Приход (или община) перестает быть рамкой, внутри которой действуют производители; они сгоняются в города, на заводы, отрываются от своих «привычных и родных домов». Эти первые неприглядные последствия разделения труда бросаются в глаза. Писатели-утописты выражают мечту о деревенской общине, возрождаемой на более высоком уровне, без тирана-феодала, и использующей новые технические и научные достижения, чтобы поднять жизненный уровень на высоту, недостижимую в средние века. С этой мечтой близко сочетается еще новая в то время тенденция, которую не разделяли одни диггеры: воплотить утопические мечты в колонии-утопии из кирпича и извести.

Внутри общины, рассуждает Годвин, будет вполне достаточно силы общественного мнения для осуждения всех антиобщественных действий как проступков против разума. Если бы войны оказались неизбежными, вооруженный народ заменял бы профессиональную армию; в этом вопросе Годвин сходится с радикальными теориями той эпохи. Свобода означала у Годвина только отсутствие ограничений для индивидуума, так как предполагалось, что последний всегда будет делать лишь то, что разумно и, следовательно, согласно с общественными интересами. Этот общий принцип лег в основу всех экономических предположений Годвина, изложенных крайне схематично. Все люди должны быть равны, и никто не должен обладать излишками, если другие испытывают недостатки. Однако насильственное уравнивание или лишение кого-либо его собственности также

противно принципам свободы. Собственность должна оставаться священной для того, чтобы люди могли применить разум к ее использованию. Годвин не понимает, что существует разница между богатством, созданным самим человеком, и тем, которое он приобретает путем эксплуатации чужого труда; его интересуют лишь разум и добродетель, а не способы производства.

В этом вопросе его философский анархизм проявляется во всей своей крайности: «Все понимаемое под термином «кооперация» есть в некотором отношении зло», потому что всякий коллективизм означает извещное поступление личной свободой. Годвин предполагает, что широкое применение машин сделает кооперацию ненужной, однако как можно будет осуществить производство, основанное на использовании большого количества разной техники, без помощи кооперации, этого Годвин не объясняет.

Для Годвина и тех, кто основывает свои идеи на его философии, изменение могло произойти только благодаря чуду, возможность которого он и его последователи так усердно отрицали. Все это вполне может быть отнесено и к зятю Годвина — Шелли, чьи произведения с «безгрешными, как Эдем, континентами без королей» были от начала до конца утопическими. Он также столкнулся с противоречием между человеком и окружающей средой и разрешил его, перенеся конфликт в сверхчеловеческую сферу. Борьба людей и их столкновения были земным отражением той космической борьбы принципов добра и зла, в которой до сих пор побеждало зло, но в конце концов должно восторжествовать добро. Бывает, что эта манихейская философия¹ становится выражением отрицания и отчаяния, но это не обязательно так. Как бы то ни было, она признает наличие конфликта и допускает, как в случае с Шелли, возможность объединения людей вокруг того или другого начала. Для него великим вопросом, не разрешенным до смерти, была форма этого сотрудничества (кооперации). Как мы видим в «Освобожденном Прометее» и «Лице анархии», роль человека — героически терпеть, переносить зло,

¹ Манихейская философия — философско-религиозное учение, возникшее в III веке на Ближнем Востоке. Представляет собой смесь зороастризма с его представлениями о борьбе двух начал — добра и зла — и христианского учения о спасении души. — *Прим. ред.*

что якобы ведет к преобразованию как человека, так и вселенной:

Страдать, но так, чтоб уж надеяться не мочь;
Прощать такое зло, перед которым светлы смерть и
ночь;

И власть, что кажется всесильной, презирать;
Любить, терпеть и верить, что надежды сами,
Разбившись, вновь придут и будут с нами.
Не дрогнуть, не меняться и раскаянья не знать.
Как ты, Титан, тот славен, кто и весел и велик,
Свободен кто и добр, и чей прекрасен лик!
В том только Власть, жизнь, радость и победа!

Посредством этого терпения человек может освободиться от

Скипетров и тиар, мечей, цепей я томов
Разумной лжи.

И тогда он достигнет Утопии, где

Нет маски гнусной. Человек свободен.
Не знает власти скипетра, ограничений.

Все равны; классов нет, племен подразделений;
Не ведом страх ему, ни поклоненье званью.
Он царь себе; добр, мудр и справедлив.

В других местах можно обнаружить признаки того, что Шелли постепенно эволюционировал к более положительному мировоззрению. Нет сомнения, что проживи он дольше, он принял бы более близкое участие в борьбе, бушевавшей вокруг него. Здесь следует остановиться на одной стороне «Освобожденного Прометея». «Преступление» Прометея заключалось в том, что он нарушил многовековую летаргию первобытного общества, обучив его новым методам производства. Первобытный коммунизм, возможно, и был золотым веком, как его рисуют античные мифы, но от него надо было отказаться, чтобы сделать прогресс возможным. Миссия Прометея заключалась в том, что он предоставил человеку выбор и дал ему возможность перейти из царства необходимости в царство свободы. Здесь налицо зачатки диалектического подхода к истории. Как у большинства людей его поколения, у Шелли никогда не возникало сомнений относительно ценности науки или

машин; сомневаться в этом — участь тех, кто страдал от последствий их приложения на практике. Чтобы избежать дилеммы Годвина, Колридж и Соути искали выход в другом методе. Если предположить, что можно было бы создать искусственно в небольших масштабах новое окружение и в нем изменить несколько человек, то не могло ли это, в свою очередь, отразиться на мире в целом и не повлекло ли со временем ко всемирному изменению? Так родился проект Пантисократии, вероятно, первая попытка осуществить Утопию в виде образцового государства. Америка, где только что завершилась победоносная революция, была магнитом для всех радикалов, страной свободы и справедливости, чьи недостатки (которые предстояло открыть Коббету и Пейну²) были скрыты от тех, кто в нее верил в Европе. Там находилась страна свободного предпринимательства и не было ни королей, ни священников, ни феодальных владений, чтобы препятствовать достижению совершенства. Пантисократы хотели основать свое поселение на берегах Сускеханны, и Соути писал своему брату в 1794 году:

«Мы везде проповедовали Пантисократию и Асфетеризм. Это, Том, два новых слова, из которых первое обозначает одинаковое правление для всех, а второе — обобществление частной собственности».

Проект потерпел крушение отчасти из-за давней склонности Соути покидать тонущий корабль, но главным образом вследствие причин, сделавших подобные «карманные издания Нового Иерусалима» в худшем случае провалами, в лучшем — курьезами. Прежде чем основать такую общину, нужно было собрать порядочные средства, а обладатели их редко интересуются Утопиями. Затеи с утопическими колониями обычно кончались крахом из-за невозможности найти нужные капиталы, а если колонии и организовывались, то не были в со-

¹ Сэмюэль Колридж (1772—1834) и Роберт Соути (1774—1843) — английские поэты-романтики так называемой «озерной школы». Под влиянием французской революции одно время увлекались идеями утопического социализма, но уже с 1794 года их произведения стали носить религиозно-мистический и по существу реакционный характер. — *Прим. ред.*

² Уильям Коббет (1762—1835) — английский политический деятель и публицист, мелкобуржуазный радикал.

Томас Пейн (1737—1809) — американский политический деятель и публицист, революционный демократ и просветитель. — *Прим. ред.*

стоянии процветать, так как основывались на средства совершенно несоразмерные с надобностями. В приведенном случае не удалось добыть нужные 125 фунтов стерлингов на человека.

В сущности, проект был скорее попыткой избежать дилеммы, чем ее разрешить. Пантисократия, как и все другие попытки основать образцовое государство, была в значительной мере следствием импульса бегства не только от непосредственных преследований, но и от необходимости бороться за преобразование существующего мира. В вере в то, что утопийцы вернутся когда-нибудь в существующее общество, чтобы преобразовать его извне, есть большая доля самообмана. Решение удалиться на Сускеханну оказалось первым шагом на пути, закончившимся для Колриджа в трясине застольных разговоров, признанных восхитительными, а для Соути — званием придворного поэта и местом в редакции «Ежеквартального обозрения».

Как и многие радикальные писатели того времени, Колридж поделил с Блейком наследие сектантского гуманизма. Огромная разница между ними заключалась в том, что Блейк в отличие от Колриджа был обучен ремеслу и всю свою жизнь не бросал его. Именно это придает его мысли актуальность, необычную в английской поэзии. В так называемых «Пророческих книгах», которые, как мы увидим, насквозь утопичны, символ нагромождается на символ, мифические образы дробятся и сливаются до того, что рассудок отказывается следить за их превращениями, но и в самих своих крайностях эти книги не отрываются от земли и подлинных условий жизни во времена Блейка. Человек, потративший всю жизнь на составление бесконечных серий таких «Пророческих книг», но, тем не менее, написавший:

«Пророки в современном понятии этого слова никогда не существовали... Каждый честный человек — пророк; он высказывает свое мнение об общественных и частных делах. Он говорит: «Если вы поступите так-то, то результат будет такой-то». Он никогда не скажет: «Как бы вы ни поступили, все равно то-то и то-то случится», — не был ни в коем случае сумасшедшим мистиком.

Отец Блейка, лондонский чулочник, был последователем Сведенборга и сделал из сына выдающегося гра-

вера, так что его имя — одно из виднейших среди английских мастеров-граверов по металлу. Ему было тридцать лет, когда грянула французская революция, но им тогда еще не была написана ни одна из его главных поэм. Революция оказала на него сильное влияние. В 1789 году появился первый выпуск его поэтических рапсодий: «Французская революция», «Песнь свободы», «Видение дочерей Альбиона», «Америка и Европа» и другие. Все они, хотя и написаны в присущей Блейку символической манере, выражают основные идеи того радикального кружка, в котором он вращался и где преобладающее влияние принадлежало скорее Пейну, чем Годвину. В них переданы восторг по поводу свержения тирании и вера в наступление новой эры для Франции и всего мира. В «Браке неба и ада» появляется диалектика, совершенно невиданная в то время.

Вскоре, однако, сказалось влияние трех факторов. Во-первых, начались суровые репрессии. Они повели к разгрому Лондонского корреспондентского общества, к изгнанию Пейна и сделали почти невозможным открытое высказывание радикальных взглядов в течение почти двадцати лет. На титульном листе книги с нападками на Пейна Блейк написал:

«Защищать библию в этом 1798 году стоило бы человеку жизни. Зверь и проститутка правят безраздельно».

В этой атмосфере репрессий и разгула цензуры Блейк уходит в подполье, его писания становятся все туманнее и мифы — более запутанными.

Однако его преследовала не только цензура. Французская революция шла своим чередом, за спиной военной диктатуры крупная буржуазия все больше и больше укрепляла свою власть. После термидора республика выродилась в директорию, а директория — в империю. Стало трудно видеть ясный выход между свободой и тиранией, радужные надежды 1789 года явно не осуществлялись. Блейк, как и многие другие, отошел от политики в узком смысле, но не утратил своей веры, а лишь понял, что борьба приобрела иной и гораздо более сложный характер, чем он предполагал раньше. Так, в 1809 году, он писал:

«Я в самом деле огорчен тем, что мои соотечественники так много занимаются политикой...

Монархи кажутся мне дураками: палата общин и палата лордов, по-моему, полны дураков; обе они кажутся мне чем-то чуждым человеческой жизни».

Третий фактор проявился в Англии. Здесь капитализм, подстегиваемый войной, шагал вперед невиданными темпами. Остатки крестьянства экспроприировались огораживаниями, начиналась медленная агония ремесленников, всюду возникали «сатанинские фабрики». Угнетение меняло физиономию, и Блейк одним из первых разглядел нового врага. Перефразируя Мильтона, он мог бы сказать, что новый капиталист был не кем иным, как старым бароном, написанным прописными буквами. Священник старой школы, с его проповедью геенны огненной, был ребенком по сравнению с попом Мальтусом, чья ублюдочная теория, основана на «законе перенаселенности», согласно которому огромное большинство человечества якобы обречено на вечные и все увеличивающиеся страдания. Понимание этих новых факторов и делает позднюю поэзию Блейка единственной в своем роде.

Прежде всего он обратил свою диалектику против механического материализма, который рассматривал как доктрину капитализма на данной фазе развития. Годвин, как и многие другие, все еще глядел на все окружающее и рассуждал с точки зрения суверенной личности, ничем не связанной, находящейся вне всякого влияния этой окружающей среды, то есть придерживался точки зрения, представлявшей социальный двойник механического атомизма XVIII века. Блейк ненавидел атомизм и нападал на него по той же самой причине, по какой он нападал на модных граверов, которые все сводили к «неорганизованным пятнам и кляксам», к «точкам и ромбам», тогда как он всегда настаивал на первенстве непрерывной линии. Отстаивая линию, Блейк тем самым защищал веру в то, что часть не может существовать независимо от целого и личность — вне связи со своим классом, членом которого она является.

Отношение Блейка к Дакку, Ньютону, Вольтеру, ко всем мыслителям и просветителям следует толковать

¹ Сравните у Морриса: «Помните всегда, форма впереди цвета и контура, силуэт впереди лепки не потому, что вторые имеют меньшие значения, но потому, что они не могут быть правильными, если первые неверны».

именно в этом контексте. Он осуждал их не за то, что они были рационалистами, а за то, что они придерживались механистических взглядов. И все же в их механическом материализме он усматривал нечто, что хотя и служило порабощению человечества, все же заключало в себе потенциальную освободительную силу.

Дразни, дразни, Руссо, Вольтера!
Дразни, дразни, не будешь рад!
Песок швырнув, не сдержишь ветер —
Отбросит он его назад.

Песчинка каждая алмазом
Сверкнет в божественных лучах.
Глаза насмешника засыпят
На израилевых тропах.

Из атомов ведь Демокрита,
Ньютоновых частичек света
Песок у моря, где шатры
Израиля, где вечно лето.

Колеса сатаны, люди, разрушающие Иерусалим и воздвигающие Вавилон, — таковы для Блейка плоды неконтролируемого разума, разума, у которого на алтаре высечено *laissez faire* и провозгласившего право каждого (богатого) человека делать, что ему вздумается с тем, что ему принадлежит. Иерусалим — главный символ всех его остальных пророческих книг — является Утопией Блейка. Альбион — это Англия, или мир, или сам человек — находится в состоянии постоянного превращения: каждой его части отвечает какая-нибудь реальность в Утопии:

От Излингтона до Мэрилебона,
До Праймроз-Хилл и рощи Сейнт-Джонс
Вуд

Поля обнесены из золота столпами —
Столпы Иерусалима были тут.

Альбион мог превратиться в Иерусалим, но также и в Вавилон, в пустыню нищеты и эксплуатации, которую правители Англии создавали на его глазах. Человек должен

¹ *Laissez faire, laissez passer* (франц.) — «Предоставьте свободу действий» — лозунг, сформулированный (как принято считать) французским экономистом XVIII века Жаном Гурнэ; в Англии в первой половине XIX века стал лозунгом фритредеров. — *Прим. ред.*

наметить себе то, что он станет воздвигать, и поэтому мир «Пророческих книг» столько же мир непрестанного созидания, сколько и непрерывной борьбы.

Совершенно очевидно, что нельзя нарисовать картину Утопии Блейка, как это можно сделать с Утопиями Мора или Гаррингтона. Это не остров, ожидающий своего открытия, или королевство, которому надо дать законы, тут предстоит построить город Иерусалим или Голгонузу. Кроме того, в отличие от прежних Утопий, в ней нет ничего неизблемого, установленного в соответствии с божественным или человеческим образом совершенства. Каждая постройка представляет начальную точку для нового падения и раздробления, для основания нового города. Поскольку Блейк неспособен мыслить иначе, как диалектически, история у него, а следовательно, и его Утопия, никогда не могут прийти к завершению.

Таким образом, мы впервые имеем Утопию, созданную не путем абстрактных измышлений, а в процессе борьбы за преобразование существующего. Это показано нагляднее всего в сложных взаимодействиях символических фигур Блейка. Воздвигание Иерусалима и сокрушение Вавилона представляют проявление вечного и всегда изменяющегося конфликта между Уризенем-Иеговой — творцом и угнетателем, богом вещей, какими они есть, и Орком — прометеевской фигурой, началом, избавляющим и возрождающим, в некоторых местах олицетворяющим огонь и революционный террор. Блейк представляет себе конфликт сразу разгорающимся в нескольких планах, как борьбу космических начал, но одновременно и как конфликт внутри общества и в людском сознании. Однако тут нет механического столкновения правды с неправдой. Это диалектическое взаимопроникновение, конфликт железа (Уризен символизирует «железный закон заработной платы», мальтузианский «закон перенаселенности», новые железные машины фабричного производства) и огня. Орк — не только испепеляющий огонь, но и освободитель, а Лос — другой символ огня. Прометей — представляет металлургию, новую, все видоизменяющую технику века, в которой огонь и железо творчески соединяются. Иерусалим — это результат борьбы Орка, но именно его борьбы за превращение Уризена, олицетворяющего материальный мир и его творца: железо, хотя и расплавленное, все же остается железом.

И все же на протяжении сотен страниц, на которых развернута эта тема, Иерусалим остается абстракцией, завуалированной туманом из слов. Перед Блейком стояла неразрешимая для него проблема. Новый мир дыма, шестерен и нищеты, который он первый сумел мысленно охватить как одно целое — в чем и заключается особое значение его творчества, — этот мир оставлял его растерянным и утратившим надежду. В этом отношении, как и в некоторых других, его особое положение свободного ремесленника составляло одновременно его силу и его слабость. Он видел, что решение *должно* существовать, но у него не было достаточно данных, чтобы решить это уравнение, и поэтому все «Пророческие книги» полны смутных битв, которые никогда не достигают высшей точки, и строительства фантастических городов, воздвигаемых лишь для того, чтобы их можно было разрушить. В одном смысле это происходило оттого, что Блейк знал, что история никогда не кончается, но в другом — оттого, что он не представлял себе ясно следующего шага. Как и Шелли, он был великим утопистом, которому никак не удавалось изложить полностью свою утопию на бумаге.

Этот раздел главы мы закончим упоминанием о другом радикале-диссиденте, современнике Блейка и творце Утопии гораздо более обычного образца. Томас Спенс родился в Ньюкасле в 1750 году в бедной шотландской семье. Его родители были гласситами — членами секты, проповедовавшей общность владения имуществом. В возрасте двадцатипяти лет Спенс обратил на себя внимание докладом, сделанным им перед философским обществом Ньюкасла на тему о передаче земли во владение приходам, — вопросе, сделавшемся впоследствии основой его политической программы. Его исключили из общества и подвергли преследованиям. В результате он был вынужден оставить Ньюкасл и поселиться в Лондоне, где был попеременно учителем, лектором и продавцом радикальных книг. Как и большинство торговцев того времени, он сам чеканил жетоны, служившие мелкой разменной монетой. Однако в отличие от большинства торговцев, его жетоны имели острое политическое жало. Один из них, с изображением повешенного на виселице, был снабжен надписью: «Конец Питта».

При своих определенно социалистических взглядах Спенс не в пример многим ранним социалистам делал все

возможное, чтобы донести эти взгляды до рабочего класса, и потому неудивительно, что власти его преследовали, — он был заключен в тюрьму в 1793 году, затем в 1794, 1798 и 1801 годах. В течение длительного периода у него не было заметного прогресса во взглядах, но незадолго до смерти (1814) было образовано Общество спенсовских филантропов, игравшее, хотя и непродолжительное время, определенную политическую роль в связи с бунтом в Спа-Фильде (1816) и заговором на улице Катона (1820).

Утопия Спенса представляет изложение в форме сказки его проекта землевладения, несколько схожего с выдвинутым впоследствии Генри Джорджем в его «Прогрессе и бедности». Она была напечатана в двух частях. В 1795 году появилось «Описание Спенсонии Томаса Спенса, книгопродавца с Хайв оф либерти, 8, Литтл Торнстайл, Хай, Холборн, Лондон». За ним последовала в 1801 году «Конституция Спенсонии — страны сказочной земли, расположенной между Утопией и Океанией». Вторая часть не вносит никаких существенных дополнений к первой.

В ней рассказывается о человеке, завещавшем перед смертью своим сыновьям корабль в совместное владение. Каждому из них причиталось жалованье в соответствии с его работой в команде, но все барыши сверх этого должны были делиться поровну. Этот порядок прекрасно оправдался, и когда однажды корабль потерпел крушение у берегов необитаемого острова, высадившиеся на него мореплаватели установили такой же порядок и на острове. Новую страну назвали Республикой Спенсонии. Вся земля была объявлена общественной собственностью, и все граждане получили участки, за которые они выплачивали ренту общине. Никаких других налогов не существовало. Дома и мастерские строились на общественные средства. Приход служил единицей социальной и экономической жизни, но народное собрание, чьи заседания должны были быть короткими и без соблюдения формальностей, «заботилось о национальных делах и оплате государственных расходов и всего, что касается общественно полезных дел; с этой целью каждый приход вносил один фунт, других налогов не взималось».

Дальнейшие подробности мы узнаем из беседы с посетителем Спенсонии. Свободу граждан охраняют два весь-

ма своеобразных «ангела-хранителя». Первый — тайное голосование (мысль о нем Спенс как будто позаимствовал у Гаррингтона) делает взяточничество и коррупцию невозможными. Вторым «ангелом-хранителем» является «право всех владеть оружием — гарантия свободы народа». Последнее требование продолжительное время выдвигалось в программах радикалов. Мы помним, что уже Мор говорил об этом в своей «Утопии» и что Свифт осуждал содержание постоянной армии как средство закабаления народа. Сравнительно незадолго до Спенса это же требование прозвучало в «Политической справедливости» Годвина; оно также входило в программу Лондонского корреспондентского общества, членом которого состоял Спенс.

В общем государство имело меньше значения, чем приход:

«Приходы строили и чинили дома, прокладывали дороги, сажали деревья, делали изгороди, словом, выполняли все обязанности землевладельцев. А вы уже видели, какие это землевладельцы. Я полагаю, что надобность в ремонте и улучшениях возникает очень редко. И это неудивительно, потому что в приходе достаточно людей, которые заботятся обо всем, что должно быть сделано. Вместо того чтобы спорить об исправлении государства, как делаете вы (наше не нуждается в исправлении), мы применяем нашу изобретательность вокруг себя, и результаты наших прений сказываются в самом приходе — как мы будем разрабатывать такую-то шахту, осушать такое-то болото или использовать такой-то пустырь. В этих делах мы все непосредственно заинтересованы, и каждый из нас имеет голос в их выполнении; таким образом, мы не остаемся зрителями в этом мире, но все должны стать действующими лицами, и это исключительно для собственной пользы».

Такая картина обращена, с одной стороны, назад, к средневековой общине, а с другой — в будущее, к постепенному отмиранию государства. Спенс не был талантливым писателем, и в иерархии утопических произведений его «Спенсонии» нельзя отвести особенно почетное место, но лучшие отрывки из этой книги не лишены свежести и прямоты, атмосферы доброго соседства, дающей читате-

лю ощущение реальных людей, работающих на реальной земле, которая отнюдь не является общественной; этой атмосферы мы уже не встретим снова, пока не дойдем до «Вестей ниоткуда» Морриса.

2. Утописты-социалисты

Французская революция, рассматриваемая как революция *буржуазная*, была выдающимся успехом, однако для тех, кто приветствовал в ней начало эпохи всемирного братства, она именно в силу этой своей природы принесла разочарование, и кое-кто стал догадываться о связи между тем и другим, как мы это видели на примере Блейка. Задолго до этого отдельные философы-просветители нападали на частную собственность как корень всего общественного зла, но на эти нападки смотрели как на академические причуды. Заслугой группы людей, которых мы теперь называем утопистами-социалистами, является то, что они, проанализировав неудачу французской революции в установлении «золотого века», предложили новые решения, основанные на новой и более глубокой критике общества. Энгельс в своем «Анти-Дюринге» превосходно определил их отправную точку:

«Мы видели во «Введении», каким образом подготавливая революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот вечный разум был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то время развивавшегося в буржуа. И вот, когда французская революция воплотила в действительность это разумное общество и это разумное государство, то новые учреждения оказались, при всей своей рациональности по сравнению с прежним строем, отнюдь не абсолютно разумными. Государство разума потерпело полное крушение... Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн... Быстрое развитие промышленности на капиталистической основе сделало бедность и страдания трудящихся масс необходимым условием существования общества...

Торговля все более и более превращалась в мошенничество... Место насильственного угнетения занял подкуп, а вместо меча главным рычагом общественной власти стали деньги.

...Одним словом, установленные «победой разума» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей. Недоставало только людей, способных констатировать это разочарование, и эти люди явились на рубеже нового столетия».

Почти все эти люди достигли зрелого возраста лишь во время революции. Сен-Симон, правда, родился в 1760 году, но Оуэну было лишь восемнадцать лет, а Фурье — семнадцать лет, когда была взята Бастилия, тогда как Кабэ родился всего за год до этого события.

Их сила заключалась в критике общества: в них пробудилось понимание того, что массы эксплуатируются. Слабость их происходила оттого, что эти массы, даже в Англии, еще не составляли рабочего класса в современном понимании этого слова. Поскольку это было так, возрождение человечества могло быть лишь делом гения, исключительного человека, подчиняющего своей воле всю массу.

«Проблема общественной организации, — писал Сен-Симон, — должна быть разрешена помимо народа. Сам народ пассивен и равнодушен, и его нельзя принимать в расчет при рассмотрении этого вопроса».

В его Утопии правящим классом должны были сделаться промышленная буржуазия и инженеры, разницу между которыми он никогда ясно не представлял себе; буржуазная революция завершалась установлением господства капитализма, который каким-то образом переставал быть эксплуататорским строем, а буржуазия также делалась альтруистической. Общая картина очень напоминает некоторые предсказания Г. Уэллса, или то, что несколько лет назад было модно называть директорской революцией.

Если грандиозные планы Фурье, планы создания охватывающей весь мир сети мало связанных между собой фаланстеров более согласуются с тем видом утопических теорий, к которому мы привыкли, то подает он их на фоне та-

кого буйного воображения, что рядом с ним сказки «Тысячи и одной ночи» кажутся самой трезвой реальностью. Тем не менее он высказал очень много важных положительных мыслей, особенно в отношении человека как существа многостороннего, которое следует всесторонне развивать. Ему хотелось покончить с чрезмерным разделением труда, превращающим рабочего, по выражению Маркса, «в придаток машины», а также с противоречием между городом и деревней, вызванным капитализмом и одинаково губительным для обеих сторон. Вместе с тем он хотя и верил, как все утописты, в то, что человека формирует его окружение, но понимал, что общество нельзя лепить произвольно, без учета характера человека в данный период. Величие Фурье — в широте его основных идей; однако когда дело касается их осуществления, он запутывается в густой сети метафизических нелепостей, часто затемняющих для нас глубину его высказываний.

Развитие капитализма и рабочего класса шло быстрее всего именно в Англии, и именно в Англии утопический социализм в учении Оуэна достиг своей высшей точки. Оуэн был прежде всего преуспевающим капиталистом в эпоху, когда капиталист все еще являлся фактическим организатором производства. Он из своего фактического опыта прекрасно знал машины и жизнь на фабриках и заводах, ежедневно непосредственно соприкасался с промышленными рабочими. Наличие этих практических знаний, соединенных с теоретическими взглядами, общими всем утопистам-социалистам, и придало Оуэну его особенное значение. А главное, он думал о людях, как о категориях общественных, а не изолированных.

Говоря о том, что характер у людей формируется под влиянием окружения, Оуэн имел в виду социальный процесс.

«Любой характер, — писал он, — от самого хорошего до самого плохого, от самого невежественного до самого просвещенного, может быть привит *любой общине* (курсив мой. — А. М.), даже всему миру, некоторыми мерами, осуществление которых в большинстве случаев зависит или легко может стать зависимым от тех, у кого в руках управление народами».

Это утверждение ни в коем случае нельзя считать чисто теоретическим умозаключением. Оуэн доказал это на

практике своей работой в Нью-Лэнарке, и позднее оно было подтверждено также деятельностью оуэновской общины в Ралахине в Ирландии, пожалуй, единственном подобном начинании, имевшем некоторый успех.

Вторая часть приведенной выдержки имеет не меньшее значение, чем первая. Оуэн длительное время обращался к тем, кто управлял народами. Как и другие утописты-социалисты, он не видел ни самого факта классовой борьбы, ни ее роли и верил в то, что правящий класс также готов согласиться с его доводами и действовать, как и он сам. «В настоящее время нет никаких других препятствий, кроме невежества», — писал он в 1816 году.

Опыты Оуэна в Нью-Лэнарке, где он сократил рабочие часы, увеличил заработки, предоставил широкие коммунальные услуги и все же извлекал из предприятия значительные выгоды, убедили его в том, что производительные силы настолько развились, что возможность всеобщего изобилия должна стать очевидной всем. В течение жизни одного поколения было накоплено значительное богатство, и «это новое могущество является созданием рабочего класса». Однако рабочий класс не получает от этого никакой выгоды, и Оуэн, бывший прежде исключительно просвещенным фабрикантом-филантропом, теперь пришел к выводу, что это результат эксплуатации и что рабочие достигнут благополучия только в том случае, если ей будет положен конец. Подобные заключения быстро охладили готовность правящих классов внимать доводам разума, и Оуэн понял, что должен обратиться к рабочим, если хочет, чтобы его слушали.

На основании своих опытов в Нью-Лэнарке у Оуэна возник план организации «кооперативных деревень». Вначале их должно было насаждать правительство в виде меры для устранения безработицы. По мере того как Оуэн убеждался в том, что власти никогда не согласятся с его проектом, а рабочие, с которыми он соприкасался все теснее, наоборот, встречали его все восторженнее, его планы стали постепенно вырастать во что-то гораздо более дерзновенное. Деревни, в которых должны были сочетаться сельское хозяйство и промышленность, следовало «основать на принципе объединения труда, расходов и собственности и предоставления равных преимуществ». Вскоре у него созрела мысль о создании целой сети таких деревень. Оуэн глубоко верил, что эти поселки, расширяясь и про-

цветая и взаимно поддерживая друг друга, покроют постепенно всю страну и заменят существующую систему конкуренции новой, основанной на принципе кооперации. Всю остальную часть своей жизни он посвятил безуспешным попыткам основать такие общины; ни он и никто другой в его время не мог предвидеть, что эти попытки впоследствии послужат толчком для зарождения широкого кооперативного движения и связанной с ним идеи кооперативного государства.

До 1820 года дела Оуэна-предпринимателя шли прекрасно, но если бы его карьера тогда закончилась, о нем вряд ли теперь вспомнили. Во второй половине жизни Оуэна почти всякое его практическое начинание оканчивалось катастрофой, но он продолжал принимать активное участие почти во всех начинаниях своего времени. Его роль в развитии профсоюзного и кооперативного движения была не меньше значения его работы в области фабричного законодательства и образования.

Хотя Оуэн и не был первым социалистом, но он был первым человеком, благодаря которому социализм покинул кабинеты и проник в массы. Неоспоримо, что социализм Оуэна имел ограниченный характер. Он не видел в рабочих созидательную силу, они были для него лишь средством, с помощью которого могут быть воплощены в жизнь его собственные идеи обновления. Оуэн до конца не вполне утратил облик просвещенного хозяина, который хочет направлять и контролировать рабочее движение так же, как он направлял и контролировал своих рабочих и служащих в Нью-Лэнарке. Он также продолжал верить в то, что социализм можно ввести путем образования образцовых кооперативных общин, которые бы вытеснили конкуренцию примером своего успеха. Мы не можем разбирать на этих страницах историю оуэновских общин и причины их краха, да и не из-за них имя Оуэна стало большой исторической вехой. Его истинное значение в том, что он поставил перед британским рабочим движением новые цели и указал направление. Это движение пошло значительно дальше ограниченного радикализма Кабэ и его единомышленников, а вскоре и дальше самого Оуэна. У него были многочисленные последователи, из которых многие играли важную роль в чартистском и других движениях.

Одним из них был молодой человек Джон Гудвин (или,

как он позднее предпочитал называть себя, Гудвайн) Бармби. Он родился в 1820 году в суффолкской деревне Иоксфорд, где отец его был адвокатом. Ему предстояло сделаться священником, но в возрасте четырнадцати лет он лишился отца и с тех пор, видимо, сам распоряжался своей будущностью. Как бы то ни было, он не посещал школы и впоследствии рассказывал о детстве, проведенном в скитаниях по полям и чтении стихов. Его знания, хотя и несколько необычные, были достаточно обширными. В 1837 году он поехал в Лондон, где, очевидно, вращался некоторое время в оуэновских и радикальных кругах, пока мы не встречаем его снова в Суффолке, ушедшим всей душой в движение чартистов. В местной печати за 1839 год мы находим ряд отчетов о его выступлениях на митингах как в Ипсуиче — главном очаге чартистского движения, — так и в разных деревнях Восточного Суффолка. Сохранились его письма по разным вопросам: от расторжения унии между Великобританией и Ирландией до церковных колоколов, — но во всех фигурирует так или иначе тема чартизма.

В начале 1840 года он посетил Париж, где, как он рассказывает,

«в беседе со знаменитым французом я впервые произнес ныне прогремевшее слово «коммунизм».

Если это притязание на приоритет и не может быть вполне доказано, то нет сомнения, мне кажется, что Бармби был первым, кто ввел термин «коммунистический» в Англии. Вернувшись в 1841 году в Лондон, Бармби основал Общество коммунистической пропаганды, впоследствии переименованное во Всемирную коммунистическую ассоциацию. Бармби не был лишен общей всем утопистам-социалистам слабости считать себя спасителем человечества, что видно хотя бы из его предложения считать 1841 год первым годом нового коммунистического календаря или из тона письма, написанного на обложке журнала ассоциации «Образовательный проспект и апостол коммунизма», хранящегося ныне в библиотеке Ипсуича и подписанного:

«Бармби, Верховный председатель, коммонеру Т. Глайду».

В то время Бармби еще не было и двадцати одного года! Бармби не открывает имени «знаменитого француза», но все говорит за то, что это, повидимому, был Кабэ, с

которым он, вероятно, встречался в Лондоне в 1838 году; в Париже в 1841 году у них, несомненно, установились хорошие отношения, и впоследствии они переписывались. Как раз в 1840 году Кабэ произвел сенсацию своим утопическим романом «Путешествие в Икарию», который обеспечил ему на несколько лет такое положение во французском рабочем движении, какое Оуэн занимал несколько ранее в английском. Кабэ принял участие в революции 1830 года и вскоре был изгнан из Франции, как неугодный властям радикальный политик. В Англии он познакомился с Оуэном, с трудами Мора и Гаррингтона. Это побудило его изучать утопическую литературу, после чего он сам написал свою утопию «Путешествие в Икарию» — произведение более эклектичное, нежели оригинальное. Его восторженный тон и кажущаяся выполнимость его идей, создавшие ему безграничную популярность во Франции столетие тому назад, не могут скрыть от нас теперь ни высокопарности стиля этой книги, ни бедности воображения, делающей Икарию чрезвычайно скучной Утопией, чем-то средним между «Новой Солимой» и «Бостоном» Беллами.

Однако тут важны не детали утопии, а самая попытка Кабэ завершить дело французской революции, вложив в старые лозунги новое содержание. В Икарии равенство означает не только одно равенство перед законом, но и экономическое равенство, причем последнее доведено до таких мелочей, что способно привести в ужас, если принимать его всерьез. Все должны жить в одинаковых домах, есть одну и ту же пищу в коммунальных ресторанах, работать ежедневно одинаковое число часов и в одни часы и носить одинаковое платье, присвоенное возрасту, профессии и обстоятельствам. Построенная таким образом Икария должна быть подлинно демократической республикой:

«Республика, или община, одна является владельцем всего, она одна организует рабочих, смотрит, чтобы строились фабрики и склады, чтобы земля была обработана, строились дома и каждая семья и каждый гражданин были обеспечены всем необходимым в отношении питания, одежды и жилья».

Кабэ задумал свою книгу как теоретический очерк в манере Мора, но его захлестнул восторг, с которым она была встречена, и он был вынужден против желания взять на себя руководство массовым движением, поставившим своей целью возродить Францию и весь мир путем учреж-

дения икарыйских коммун в Америке. Вероятно, никто другой не встретил такой поддержки и не возбудил столько надежд при подобном начинании, как первая группа колонистов, отправившаяся в Техас в 1847 году. Надежды не оправдались, а после 1848 года быстро иссякла всякая помощь; пошли невзгоды и неудачи, но до некоторой степени его попытка все же удалась. Несмотря на трудности внешнего порядка и внутреннюю вражду и раскол, в которых отчасти повинен сам Кабэ, икарыйские коммуны просуществовали пятьдесят лет — беспрецедентный по длительности срок во всей истории утопических колоний.

В этот период Бармби, несомненно, находился под сильным влиянием Кабэ, и когда он говорил о коммунизме, то представлял себе нечто вроде икарыйских коммун с добавлением чего-то вроде пантеизма Шелли. В нем росло стремление основать такую общину. Бармби не порвал с чартизмом: в 1841 году он был избран делегатом Суффолка на съезд и в конце того же года назначен чартистами Ипсуича кандидатом в парламент. Но как бы чартизм ни был хорош сам по себе в качестве первого шага, он казался слишком незначительным делом для того, кто мечтал переделать весь человеческий род.

«Ни демократия, ни аристократия, — писал он несколько позже, — не имеют ничего общего с коммунизмом. Это лишь партийные термины, годные лишь для настоящего времени. В будущем правительственная политика будет заменена промышленным управлением».

Между тем Бармби на короткое время присоединился к «Согласию Алькотт-хауза», основанному в Хэме Коммоне Джеймсом Пирпонтом Грэвсом. Когда оно распалось (главным образом из-за того, что члены его возражали против пищи из сырых овощей в зимние месяцы), Бармби привлекла к себе деятельность «Общества эмиграции в тропики» по организации коммуны в Венесуэле, а также проект коммуниториума в Ханвелле и другого — на острове Сарк. Другим рискованным предприятием было издание в 1842 году журнала «Прометей». Название многозначительное, как признание Бармби, что он был в долгу у Шелли, а главным образом из-

¹ Читатели «Алтона Локка» вспомнят страстное желание чартистского героя книги поселиться где-нибудь в тропической стране и как он выполнил свое намерение после крушения чартизма.

за места; занимаемого Прометеем в радикальной мысли того времени. Прометей был спасителем человечества посредством знания, героем, пренебравшим ненавистью обскурантистов и богов, чтобы передать человеку свое наследство, столь долго пролежавшее под спудом. Как и Оуэн, Бармби верил, что никаких препятствий, кроме неведения, не существует.

Четыре выпуска «Прометейца» содержат статьи Бармби на самые разнообразные темы. Помимо одной серии о коммунизме и другой об индустриальной организации, мы видим «Очерк филантропической филологии», пропагандирующий всемирный язык, статью «Улучшение климата при коммунизации», в которой говорится о влиянии человеческой деятельности на климат и видах на регулирование его в будущем, и, наконец, «Хронологию прошлого, настоящего и будущего. Историческое введение к коммунистическому календарю».

«Прометеец» не имел успеха, но Коммунитарная ассоциация как будто просуществовала некоторое время в небольших масштабах и затем частично реорганизовалась в Коммунистическую церковь. Примерно в те же годы Бармби встретил, вероятно в Хэм-Коммоне, молодого человека, своего ровесника, Томаса Фроста, чьи «Сорок лет воспоминаний» (1880) являются основным источником сведений о последующей жизни Бармби. Фрост описывает его как

«молодого человека с изящными манерами и мягким, приятным голосом, со светлыми волосами, разделенными посередине пробором по моде братьев Согласия, и воротником и галстуком а la Байрон».

Он нашел, что Бармби «был в курсе всей утопической литературы» и что он «сочетал коммунистическую теорию общества с пантеистическими взглядами Спинозы, в Англии лучше всего выраженными Шелли».

Они решили вдвоем возродить «Коммунистическую хронику», сделав ее еженедельным дешевым выпуском, и она стала печататься издательством Хезерингтона. Утопический роман Бармби «Книга о Платонополисе» печатался частями в «Коммунистической хронике». Если в какой-нибудь библиотеке не хранится забытый комплект этого издания, это произведение Бармби надо считать утраченным, но о его характере и содержании можно достаточно полно судить по резюме Фроста;

«Это было видением будущего, сном о реконструкции мира и переделке человечества, о коммунистических из мрамора и порфира, в которых коммунары обедают на золоте и серебре в пиршественных залах, украшенных изысканнейшими произведениями живописи и скульптуры и оживленных музыкой; где паровые экипажи перевозят их с места на место, как только они пожелают переменить место жительства, и если им хочется внести разнообразие в способы путешествовать, воздушные шары и корабли стоят готовыми для перевозки их по воздуху; где, одним словом, воспроизведено все, что было измышлено Платоном, Мором, Бэконом и Кампанеллой в сочетании с тем, что современная наука сделала или предполагает сделать для облегчения человеческого труда и увеличения человеческих радостей».

Если вдобавок привести из списка сорока четырех «Требований членов Согласия», опубликованного в первом выпуске «Прометейца», первые десять:

1. Общность чувств, труда и собственности.
2. Сокращение ручного труда при помощи машин.
3. Устройство промышленности: ее частные и общие функции.
4. Унифицированная архитектура жилищ.
5. Союз города и деревни.
6. Экономия путем комбинирования домашних расходов.
7. Любовь через всеобщность вероисповеданий.
8. Порядок через справедливость, или высшая математика в политике.
9. Приготовление пищи в соответствии с требованиями медицины.
10. Совместное или одновременное принятие пищи,—

и сравнить все это с устройством Икарии Кабэ, нам станет ясно, что не следует особенно огорчаться исчезновению «Книги о Платонополисе».

Основать коммунатории на острове Сарке и в предместьях Лондона не удалось, и между Бармби и Фростом начались трения. Об этом мы знаем со слов Фроста: ему как будто хотелось сделать из «Коммунистической хроники» орган, общий для всех существовавших тогда социалистических и коммунистических групп, тогда как Бармби считал, что он должен служить лишь целям Коммуниста-

ческой церкви. В 1845 году произошел разрыв, положивший конец, и «Хронике» и «Коммунистическому журналу», который Фрост хотел было выпускать, чтобы конкурировать с «Коммунистической хроникой».

Дальнейшая судьба Бармби может быть рассказана в немногих словах. 1848 год застал его снова в Париже, но вскоре после этого он отказался от своего утопического коммунизма и сделался унитаристским священником. Тем не менее его политическая деятельность продолжалась: он был членом Совета Международной лиги Мадзини и принял участие в движении за освобождение Польши, Венгрии и Италии. В 1867 году, будучи унитаристским священником в Уэйкфилде, он устроил большой митинг в пользу парламентской реформы. В 1879 году его здоровье ухудшилось, и он вернулся в Иоксфорд, где и умер в 1881 году.

По существу же период его наиболее значительной деятельности окончился в эпоху чартизма, в 40-х годах, так как на эти годы приходится и конец утопического социализма в Англии. Верно, что само развитие рабочего движения, достигшее наивысшей точки в чартизме, показало поверхностность утопического социализма, что утопизм — характеристика незрелости рабочего класса. Однако справедливо и то, что, за исключением этих нескольких лет, общий рост движения способствовал подъему утопических теорий, и поэтому хотя они и погасли, то как ракета в сиянии последней вспышки. Именно в эти годы, в промежутке между «Садом королевы» Оуэна (1839) и «Земельным проектом» О'Коннора (1846), было легче всего возбудить воображение трудящихся масс. Чартизм не мешал тысячам людей искать параллельных путей облегчения своих страданий, и, более того, именно из этой жажды облегчения, из этого подъема воображения чартизм и черпал свою жизненность.

После 1848 года обстоятельства резко изменились. Политическое поражение чартизма разочаровало многих.

¹ Это возбуждение воображения, свойственное чартизму и принимающее форму утопии, наглядно отразилось в поэме Эрнеста Джонса, написанной им во время двухлетнего пребывания в тюрьме, с июля 1848 года по июль 1850 года. Его «Новый мир: демократическая поэма», написанная языком Бармби, но с большей точностью и зрелостью мысли, дает картину бесклассового мира, в котором природа изменена наукой и человек изменяется сам:

После годов кризиса и резкого спада начался великий капиталистический бум середины столетия. Рабочее движение стало переходить на новые и более прозаические рельсы. Открытые золотых приисков в Америке и в Австралии и быстрое развитие средств сухопутного и морского транспорта обусловили начало эпохи широкого эмиграционного движения. Энергия, уходившая на учреждение оузовских и икарыйских коммун, отныне затрачивается на борьбу более личного порядка за освоение новооткрытых территорий. В этом свете вся деятельность Бармби и в не меньшей степени его отход от утопизма в 1848 году приобретают значение, совершенно несоизмеримое с его внутренним содержанием.

Все же этот юноша, столь решительно настаивающий на своей роли спасителя человечества, не может не казаться смешным. Фрост сказал о нем:

«Несчастье тех, кто признал его за своего вожда, заключалось в том, что они никогда не знали цели, к которой он их поведет. Вдумываясь в его нелепые порывы в прошлом в связи с его деятельностью в последующие годы, видишь, что, хлопоча о создании церкви, которая была бы «священным будущим общества», он по сути дела лишь нащупывал путь к свету и искал чего-то, что продолжало ускользать от него».

Как бы сумасброден и самодоволен ни был Бармби, он обладал энергией и воображением и всегда оставался в русле главного потока движения масс. Как и все утописты, он знал, что было плохо и что требовалось. Но от него всегда ускользало знание того, как заполнить пропасть между тем, что было, и тем, что хотелось иметь. Однако именно в это время чартизм помогал Марксу совершенствовать свою науку о законах развития общества: 1848 год был не только годом поражения чартизма, но и годом революции и Коммунистического Манифеста.

Тяжкий труд машиной сменен для людей;
Все — богачи, и отдых их стал веселей;
Стран, сожженных солнцем, нет; жара — не беда.
Как молнии Франклин, дождь привлечет всегда,
В горы направят град, чтоб никому не мешал;
Пусть безвредно идет между безлюдных скал.

Как и все утописты этих лет, Джонс видел в науке освободительную силу, но из опыта чартизма и учения Маркса и Энгельса он уже знал, что эту силу сможет привести в действие лишь захват власти рабочим классом.

3. «Книга машин»

Казалось бы после чартизма, года революций и Коммунистического Манифеста старомодным утопиям должен был сразу наступить конец. Было как будто ясно, что отныне ставились вопросы практические; теперь спрашивалось, как возникнет новое социалистическое общество из существующего и каковы будут в соответствии с его происхождением и историей роста его характерные черты? Однако прошло более четверти века, прежде чем эти вопросы были поставлены серьезно, и период, отделяющий Бармби от Беллами и совпадающий с классическим периодом экспансии британского капитализма, был заполнен двумя утопиями, отнюдь не посвященными этим основным вопросам, но занятыми обсуждением случайных явлений буржуазного общества XIX века, рассматриваемого как некий действующий концерт.

«Грядущая раса» лорда Литтона (1870) и «Эреун» Сэмюэля

Батлера (1872) — книги совершенно разные по духу и темпераменту, разные настолько, что трудно поверить, что они были напечатаны почти одновременно. Тем не менее в них есть и много общего: обе трактуют о надстройке общества, совершенно не касаясь и не объясняя его базиса. Обе книги занимаются вопросами религии, брака и отношения полов, воспитания, преступлений и наказаний и особенно влиянием машин и развития науки на человеческое счастье, трактуя их каждая по своему. Характерно для обеих книг, что в них ставятся вопросы, но не даются ответы на них; сатира Батлера так запутана, что под конец смысл ее совершенно затемнен, тогда как герой Литтона, хотя и восхищается открытой им подземной Утопией, испытывает столь тяжкие страдания от «упадка духа» (весьма подобные страданиям «тех, чья жизнь коротка» в «Назад к Мафусаилу» Бернарда Шоу), что рад снова вернуться в тот мир, откуда он пришел.

Литтон — денди, политик и автор модных романов, молодой радикал и старый тори был последним в той плеяде блестящих молодых людей, которых собрал вокруг себя Годвин. Литтон написал «Грядущую расу» под конец жизни, спустя тридцать пять лет после смерти Год-

вина, и все же в ней почти нет страницы, в которой не сказывалось бы влияние последнего. С другой стороны, эта книга свидетельствует о том, что Литтон изучал утопистов-социалистов и классических писателей-утопистов вроде Мора и Бэкона. Все это сочетается с аристократическими и торийскими взглядами Литтона, хотя следует признать, что в абстрактном интеллектуализме Годвина многое было несовместимо с торизмом 70-х годов XIX века. Двусмысленная точка зрения Литтона может быть иллюстрирована следующим отрывком, в котором его герой (американец) превозносит свою страну в стиле Свифта в стране гуингнгов:

«Я лишь слегка, хотя и охотно, коснулся устаревших и обветшалых установлений Европы, для того чтобы подробно рассказать о теперешнем величии и предстоящем превосходстве той славной Американской республики, в которой Европа завистливо ищет себе образец и, трепеща, видит свою гибель... специально останавливаясь на превосходстве демократических установлений, их содействии установлению мирного счастья, благодаря правлению одной партии и на способах, какими они распространяют это счастье среди всего общества тем, что для выполнения обязанностей властей и пользования почестями предпочитают тех граждан, которые ни в коей мере не выделяются ни своей собственностью, ни образованием, ни репутацией. Пользуясь тем, что мне посчастливилось запомнить заключение речи об очистительном влиянии американской демократии, произнесенной одним красноречивым сенатором (за избрание которого в сенат одна железнодорожная компания, к которой принадлежат два моих брата, только что заплатила 20 тысяч долларов), я задохнулся, повторяя его блистательные предсказания о великоколепном будущем, ожидающем человечество, когда флаг свободы будет развеваться над целым континентом, а 200 миллионов просвещенных граждан, приученных с детства к ежедневному употреблению револьверов, будут применять к трусливой вселенной доктрину патриота Монро».

Этот отрывок отчасти отражает обычную вражду британского тори к американской, да и ко всякой другой демократии, ненависть особенно острую в годы, следовав-

¹ Написанное в обратном порядке английское слово «nowhere» («нигде»). — *Прим. перев.*

шие сразу после гражданской войны. И в «Грядущей расе» Литтон, конечно, не упускает случая напасть на демократию и унизить ее как худшую форму правления. Но он также показывает, какая большая перемена произошла с тех пор, как Блейк, Пейн и Колридж приветствовали революционную демократию Америки как новое откровение, когда в течение нескольких лет казалось, что Америка и Утопия слились в одно. Поездка Диккенса в Америку (1843) и опубликование его «Мартина Чезлвита» показывает, что испорченность этой демократии, сопровождавшей рост капитализма, была всем очевидной, а около 1870 года стали развиваться монополии и разыгрался ряд громких скандалов, разоблачивших американский образ жизни и наглядно обнаруживших его неприглядную изнанку. Не нужно было быть тори, чтобы видеть, что «чисто» буржуазная демократия в Соединенных Штатах была столь же испорченной и хищной, как и различные сочетания феодального и капиталистического общества, какими являлись страны Европы. Стало очевидным, что свободное предпринимательство, просвещенное применение разума и эгоизм, хотя бы и без вмешательства королей, священников и дворянства, никогда не приведут к Утопии вопреки самым твердым ожиданиям.

Литтон не мог, конечно, искать решения в будущем, в социализме. Он мыслит некую форму общества, в которой торизм сочетается с годвинским анархизмом. Тот и другой исходят из того, что каждый член патриархального общества будет знать свое место и охотно довольствоваться им, как это бывает в дружной семье. Вследствие этого отпадает всякая надобность в правительстве и принуждении. Литтон полностью соглашался с Годвином, считавшим, что организованная на такой базе коммуна должна быть по необходимости небольших размеров: численность племен врилиев редко превышала 50 тысяч человек.

Фабула «Грядущей расы» очень проста. Герой ее, богатый американец, открывает при обследовании рудника обширную подземную страну. Ее населяют частично врилии — народ высокой цивилизации и частично другие, гораздо более многочисленные племена, стоящие на разных ступенях демократического варварства. Отличительным свойством врилиев, от которого они получили свое

название, является обладание «крилем» — силой, во многих отношениях сравнимой с атомной энергией, но столь прекрасно освоенной, что она заключена в легком футляре, который каждый врилий носит с собой. Эту силу можно по желанию использовать для целей созидания и разрушения. Именно благодаря «врилю» изменилась жизнь этого народа: войны прекратились, правительство стало ненужным и даже невозможным, поскольку каждое лицо, стоит ему только захотеть, обладает достаточной силой, чтобы в одно мгновение истребить весь народ. Тот же «вриль» обеспечивает народ таким огромным запасом созидательной энергии, что царит век изобилия. Большинство работ производится сложными машинами или роботами, приведенными в действие «врилем», но все остающиеся грязные и неприятные работы выполняются, как и в фаланстерах Фурье, детьми. Поскольку искусство и литература также перестают существовать в сколь угодно крупных масштабах, остается загадочным, как проводят время взрослые врилии.

В книге уделяется больше всего места описанию обычаев, истории и верований. Как я уже сказал, здесь получается смесь Годвина, Оуэна, Фурье и Кабэ. Едва Литтон отходит от традиционных утопических описаний, как тотчас обнаруживает бедность и запутанность своих идей. Несмотря на некоторые поверхностные «социалистические» детали Утопии, перед нами наивная торийско-капиталистическая идиллия: частная собственность сохранена, но эксплуатация и бедность сглажены, и богатые люди слишком благородны, чтобы смотреть на свое богатство иначе, чем на источник каких-то обременительных обязательств. Хозяин, у которого гостит герой, важно объясняет:

«Аны [люди] как я, то есть очень богатые, вынуждены покупать очень много совершенно ненужных вещей и жить на очень широкую ногу, тогда как им хочется жить очень скромно... Однако всем нам надо нести жребий, назначенный на тот короткий промежуток времени, который мы называем жизнью. На самом деле, что такое какая-нибудь сотня лет по сравнению с той вечностью, через которую мы должны пройти после них? К счастью, у меня есть сын, который любит богатство. Он составляет редкое исключение из правила, и, признаюсь, я его не понимаю».

Точно так же, хотя отношения между полами несколько видоизменены, мужчины и женщины поменялись ролями, но в целом картина получается мало отличная от той, которую можно было наблюдать в великосветской викторианской гостиной. Герой рассказывает про бал:

«Куда бы я ни обратил взгляд или к чему бы ни прислушивался, мне казалось, что гай женщина была помогающей стороной, а ан мужчина — застенчивой и сопротивляющейся. Мило наивные гримасы анов, за которыми ухаживали, ловкость, с которой они ускользали от прямых ответов на признания в любви или обращали, в шутку расточаемые им лживые комплименты, — все это сделало бы честь самой записной кокетке».

Право женщин в этой подземной Утопии проявлять инициативу в отношениях с мужчинами приводит повествование к соответствующей развязке. Две гайи (семи футов ростом) предпринимают весьма решительные шаги, чтобы залучить себе нашего героя. Пожалуй, это могло бы напугать его, даже если бы он не знал, что, уступив он их настояниям, и его превратят в порошок при помощи того же «вриля», чтобы не испортить отборную расу врилиев низшей породой. Ему удастся вырваться на поверхность земли. Он смертельно напуган и полон мрачных предчувствий, размышляя о времени, когда врилии вырвутся на поверхность земли и, истребив всех земных жителей, завладеют миром.

Во многих отношениях «Грядущая раса» пошлая книга. Она интересна как иллюстрация того, насколько вулгаризировали рационалистический радикализм просветителей. За столетие капиталистического развития он лишился своего революционного содержания. «Эреун», напечатанный всего два года спустя, хотя и кажется на первый взгляд произведением значительно более современным и аргументация в нем совсем на другом уровне, но носит тот же средневикторианский отпечаток, разве несколько иного оттенка. Это — проект Утопии, увиденной из окна кабинета в доме деревенского священника глазами его блистательного и оригинального сына. Одним из качеств этого талантливого юноши является то, что он умеет ощущать себя отрешенным от своего окружения, оставаясь при этом составной его частью. Именно в таком же двойственном плане сложилась и жизнь Сэмюэля

Батлера, и это придает его «Эреуну» совершенно особый аромат.

В мире состоятельного духовенства, к которому Батлер принадлежал по рождению, жили люди с хорошим достатком и значительными частными доходами. Однако это был мир чрезвычайно замкнутый. Деньги духовенства не пахли; тут нигде не было видимых точек соприкосновения с производственным процессом; оно никогда не сталкивалось с рабочим классом, зная лишь слуг или почтительно раскланивающихся крестьян. Но даже такой мир был неприемлем для Батлера, и он захотел немедленно от него освободиться.

«Мельхиседек», — писал он в одной из своих заметок, — был истинно счастливым человеком. У него не было ни отца, ни матери, ни потомства. Он — воплощенный холостяк. Он родился сиротой».

Батлер всю жизнь ссорился не только со своей семьей, но и с любой религиозной, научной или литературной организацией, встречавшейся на его пути.

И все же он всегда к ним возвращался, а в его «Записных книжках» за главой «Бунтарство» следует «Примирение». Он ссорился с семьей, но так и не порвал с ней до смерти, точно так же, как его критика общества никогда не касалась базиса, на котором комфортабельно разместился средний класс, а в своих нападках на религию он никогда не дошел до атеизма, который показал бы всю нелепость его уютных академических теорий. Он любил шокировать и тревожить, однако не настолько, чтобы его сочли окончательно неприемлемым. Весьма характерно то, что, огорчив своего отца отказом принять сан, он согласился ехать в Новую Зеландию, чтобы там, в этой наиболее англиканской и чопорной из колоний, попытать счастья в овцеводстве. Как бы ни было, именно в Новой Зеландии он оказался на достаточном расстоянии от метрополии, и зор его обострился настолько, что он смог увидеть Англию в другом свете. И Новая Зеландия и пасторат нашли свое отражение в «Эреуне». Батлер оказался превосходным фермером, и деятельность поселенца пришлась ему по вкусу. В то время колония находилась на восточном побережье острова и отделялась от него цепью Западных гор. В поисках новых пастбищ для

¹ Мельхиседек, согласно библейским преданиям, — один из первых еврейских первосвященников. — *Прим. ред.*

овец колонисты все время стремились проникнуть за эти горы. Батлера манила неизвестность, и он принимал активное участие во всех экспедициях.

«Мало кто верит, — писал он в «Первом годе Кентерберийского поселения», — в существование моа. Если остались еще в живых один или два представителя их, то они, вероятно, найдутся на Западном побережье и в той неисследованной лесистой области, где еще могут прятаться спящие царевны, глыбы золота и всякие хорошие вещи».

Именно в таком настроении начинает Хиггс, герой «Эреуона», свое путешествие через горы.

Обнаруженную им Утопию — Эреун — не легко отнести к какой-нибудь определенной категории произведений этого типа. Это не положительная Утопия, то есть пример для подражания, но и не отрицательная — внушающее страх предостережение. Это действительно «мир другой и тот же самый», страна антиподов, похожая и не похожая на нашу, с присущими ей мудростью и безумием, хотя и отличная, но одновременно тонко ее дополняющая, так что тут сатира и критика проявляются одновременно в трех планах. Герой утопии — сатирик Батлер и в то же время чванный молодой англичанин, составляющий предмет сатиры. Эреун и Англия — это, так сказать, два сапога — пара.

Итак, Хиггс, как это сделал Батлер, углубляется в горы. Он оказывается в стране с общественным строем и культурным уровнем, весьма схожим с нашими. Однако сразу бросается в глаза полное отсутствие машин. Как могла страна со средневековой производственной техникой походить во всем остальном на промышленную Англию — вопрос, принадлежавший к разряду тех, которыми Батлер никогда не интересовался настолько, чтобы их ставить. Через некоторое время Хиггс обнаруживает, что машин там нет не из-за отсутствия изобретательности, а в результате преднамеренной политики. Гражданская война, происходившая там около пятисот лет до его посещения, закончилась победой партии разрушителей машин и полного уничтожения техники, и с тех пор производство машин и их применение запрещены под страхом строжайших наказаний. Хиггс сам едва не подвергся им из-за того, что носил при себе часы. Все это объясняется очень пространно в части «Эреуона», названной «Книгой машин».

В ней, как свойственно Батлеру вообще, он говорит о нескольких вещах сразу. Отчасти книга содержит выпад против механического материализма, причем Батлер прибегает к своему излюбленному приему доведения аргумента до того логического предела, за которым его абсурдность становится очевидной. В этом случае он, исходя из утверждения, что человек — не что иное, как машина, делает тот логический вывод, что и машина представляет потенциального человека и может, постепенно эволюционируя, принять человеческий и даже сверхчеловеческий образ.

«В результате всего этого получается, что разница между жизнью человека и машины скорее количественная, чем качественная, хотя последняя, несомненно, налицо. Животное более обеспечено от случайностей, чем машина. Машина более устойчива; ее амплитуда действия меньше; ее сила и точность в своей сфере сверхчеловечны, но она беспомощна перед той или иной дилеммой; иногда при нарушении ее нормальной работы она теряет равновесие, и тогда у нее все идет хуже и хуже, как у лунатика во время приступа болезни; однако надо принять во внимание, что машины все еще переживают период детства: пока что они лишь скелеты без мышц и сухожилий».

В этом смысле «Книга машин» была первым выстрелом Батлера в его войне против дарвинистов, которую он вел под лозунгом «созидательной эволюции».

Мы, однако, еще не рассказали всего содержания книги. Батлер говорит далее (будто бы цитируя эреунскую книгу), что машины представляют угрозу для человека, так как, начиная скромно свой путь в качестве его слуг, они быстро становятся его хозяевами и кончают тем, что обходятся без него.

«На это можно возразить, что если бы машины и стали хорошо слышать и говорить также разумно, как люди, они всегда станут делать то или другое не для себя, а для нашей пользы, и человек всегда будет руководящим духом, а машина слугой... Все это превосходно. Но слуга незаметно превращается в хозяина; уже сейчас достигнута такая стадия, когда человек будет очень страдать, если он вдруг лишится услуг, оказываемых машинами.

...Сколько человек живет сейчас рабами машин? Сколько народа проводит всю свою жизнь, от колыбели до могилы, ухаживая за ними день и ночь? Разве не ясно, что машины берут верх над нами, если мы задумаемся над увеличивающимся количеством тех, кто прикован к ним, как раб, и тех, кто отдает всю душу для того, чтобы расширить механическое царство техники?

...Уже сейчас кочегар — повар своего паровоза в такой же мере, как повара, которые обслуживают нас. Подумайте только о шахтерах, торговцах углем и поездах с ним, о людях, которые их ведут, и о кораблях, перевозящих уголь, — целой армией слуг располагают теперь машины! Не превышает ли теперь количество людей, ухаживающих за машинами, число тех, кто заботится о людях? Разве мы сами не создаем себе преемников в верховной власти над землей, ежедневно прибавляя красоты и тонкости строению машин, ежедневно придавая им все больше ловкости и увеличивая у них ту саморегулирующую и самодействующую силу, которая станет лучше всякого интеллекта?»

Во всем этом нетрудно видеть следствие широко распространенного страха перед результатами капиталистического машинного производства, страха, особенно свойственного интеллигенции XIX века, страха, который Батлер разделял с людьми, такими несходными с ним, как Блейк, Коббет и Раскин. Но высказавшись так категорически, Батлер вспомнил, что сначала орудия, а потом машины явились придатком к человеческому телу, приспособившим его для новых надобностей и позволившим ему увеличить свой контроль над окружающим. Техника и при капитализме не теряет всецело своего освободительного характера, служит не только порабощению человека. Это возражение Батлер высказывает через посредство другого эреунского писателя:

«Цивилизация и технический прогресс шли рука об руку, развиваясь каждый сам по себе и одновременно развивая друг друга: первое случайное применение палки могло сдвинуть с места шар и, раз заставив его катиться, поддерживать в дальнейшем это движение. Машины надо рассматривать как современный и специфический вид разви-

тия человеческого организма, так что каждое новое изобретение представляет добавление к возможностям человеческого тела. Даже общность конечностей делается возможной для тех, у кого столь много душевной общности, чтобы обладать достаточным количеством денег для оплаты проезда по железной дороге, потому что поезд — это всего лишь семимильные сапоги, которые пятьсот человек могут надеть одновременно».

Батлер не пытается примирить обе точки зрения, он ограничивается замечанием, что «первый писатель одержал верх». Я думаю, что весь этот отрывок очень верно отражает двойственное отношение к индустриализации не только самого Батлера, но и всей викторианской буржуазии в целом. Она одновременно радовалась, удивлялась и ужасалась тому, что сумела создать. Ее пленяли открывшиеся возможности праздной жизни и обогащения и одновременно пугали неизбежные спутники промышленного развития: нищета и страдания масс, а главное тот подземный угрожающий гул, который хотя и был частично заглушен в 1870 году, но полностью не затих, и всегда грозил ей уничтожением¹.

Все это скорее подразумевается, чем высказывается открыто. Сам Батлер как будто чувствовал, что эреуонцам без машин жилось лучше. Ему очень понравилось в Новой Зеландии, где народ здоровый и хорошо выглядит («косматые люди хорошего телосложения, в заливатских шляпах»). Он, несомненно, сравнивал их с горожанами и жителями Англии, работающими на фабриках. У него перед глазами были свободные и счастливые люди, не знавшие машин. Он не видел того, что жизнь новозеландских поселенцев была бы невозможной без английского капитала, без английского рынка и без английских промышленных товаров, которые они могли покупать в обмен на свою шерсть. Батлер сам принадлежал к среднему сословию, был застенчив и несколько неуклюж. Ему свойственна некоторая идеализация крестьян и аристократов, в значительной степени так же, как спустя поколение это было присуще Йитсу. Поэтому Эреун представляет Утопию физического совершенства:

¹ «Эреун», хотя и напечатан в 1872 году, по всей вероятности, был написан до Парижской Коммуны.

«Наконец я должен сказать, что физическая красота народа была поразительной. Я никогда не видел ничего сравнимого с ним. Женщины были сильные, имели внушительную осанку, головы на плечах сидели с грацией, превосходящей всякое описание...

Мужчины были так же красивы, как женщины прекрасны. Я всегда восхищался красотой и преклонялся перед ней; но я был просто ошеломлен в присутствии такого великолепного типа, представлявшего собой сочетание всего, что было лучшего в египтянах, греках и итальянцах. Детей было огромное количество, и они выглядели очень веселыми; мне вряд ли нужно говорить, что они обладали в полной мере красотой, свойственной всему народу».

Исходя из этого, Батлер фантазирует, выдумывает какие-то нелепицы (типа «там все наоборот»), вроде того, что скверное здоровье рассматривается как преступление и жестоко наказывается, тогда как моральные недостатки возбуждают всеобщее сочувствие и заботливо врачуются. Здесь снова двусмысленность: налицо весьма откровенная сатира на английское уголовное законодательство и совершенно ненаучный подход к преступности, однако за всем этим проступает глубокое убеждение в том, что красота, хорошее здоровье и удача (в Эреуне невезение также наказуемо) являются высшим благом и что люди должны быть вознаграждены за них и наказаны, когда ими не обладают. Батлер, конечно, в полной мере разделял уверенность своего класса в том, что если человек беден или несчастен, то сам в этом повинен.

Таким же было отношение Батлера к традиционной морали викторианского общества. Верховным, хотя ни где открыто не провозглашенным божеством Эреуона, является Идгруна (Грунди), почитание которой сводится к тому, чтобы делать то, что делают все. Батлер издевается над Идгруной, прекрасно отдавая себе отчет в том, что в Эреуне она бывает порой такой же жестокой и нелепой, как и в Англии, но в целом признает, что она все же является самой лучшей руководительницей в жизни и что «высокие идгруниты», то есть культурные высшие классы, «достигли примерно того, что надлежит иметь нормальному человеку».

«Всесторонне все оценив, — заключает он, — надо признать, что она была полезным и благотворительным божеством, которое не обращало внимания на то, что ее отрицали, — лишь бы ее продолжали слушаться и бояться, — и она вела сотни тысяч людей по путям, делающим жизнь терпимой; без нее они сошли бы с них, так как идея более возвышенная и одухотворенная не имела бы власти над ними».

Позиция Батлера всюду одинакова, рассуждает ли он о религии (Музыкальные банки), образовании (Колледж безрассудства) или иных установлениях. У него всюду налицо открытая сатира, но есть наряду с ней и завуалированная, выражающаяся в том, что самому нелепому установлению Эреуона неожиданно придается какой-нибудь совершенно здоровый штрих. Например, в Колледже безрассудства имеется кафедра мирового знания. В конечном счете каждый раз, когда Батлер чувствует, что достаточно раздражил и разъярил свой класс, он неизменно кончает покаянием; его братья по классу должны все же чувствовать себя славными ребятами и знать, что без них мир стал бы довольно убогим. Одновременно дерзкий и робкий, он вел себя как плохой пловец, то и дело отплывающий от берега и всякий раз в страхе спешащий назад, как только почувствует, что не сможет достать дна ногами. Его критика — это домашняя критика и никогда не идет дальше того, что остальные члены семьи могли бы счесть непоправимым. Тем не менее критика Батлера хорошо нацелена, занимательна, и, несмотря на все вышесказанное, обладает известной ценностью.

В заключение следует сказать несколько слов о построении этих двух книг. «Эреун», пожалуй, одна из последних Утопий со старомодным местонахождением в каком-то еще не открытом уголке земли. В этом сказало влияние пребывания Батлера в Новой Зеландии. Этот способ вышел из моды еще до Батлера, поскольку на карте оставалось все меньше и меньше белых пятен. Для Утопий потребовалась новая обстановка, и их стали переносить в более или менее отдаленное будущее или, как в книге Литтона, под землю, и, наконец, на другую планету. В этом отношении «Грядущая раса» — первая утопия нового типа, а «Эреун» — последняя из утопий старого типа.

ГЛАВА VI

МЕЧТА УИЛЬЯМА МОРРИСА

И в Англии промышленность тоже приобрела другой характер. Десятилетний цикл, повидимому, прорван с тех пор, как, начиная с 1870 г., американская и германская конкуренция кладут конец монополии Англии на мировом рынке. С 1868 г. в основных отраслях господствует стесненное положение при медленно возрастающей продукции, а теперь Америке и Англии как будто угрожает новый кризис, которому в Англии не предшествовал период процветания. Вот где тайна внезапного, хотя за последние три года и медленно подготовлявшегося, но теперь внезапно вспыхнувшего здесь социалистического движения.

Энгельс — А. Бебелю, 1884 год.

1. Новости из Бостона

Книга «Через сто лет», напечатанная в 1888 году в то время еще мало известным американским романистом Беллами, имела, как и «Путешествие в Икарию» Кабэ, тот же самый бурный успех и по причинам одного и того же порядка. «Через сто лет» была написана под непосредственным влиянием тех быстрых сдвигов и чрезвычайного напряжения, которые имели место в те годы; многим тогда казалось, что эта книга представляет практическое разрешение насущных вопросов. К середине 80-х годов капитализм достиг огромных успехов во всех ведущих странах, и битва с рабочим классом, который он породил, зашла уже довольно далеко. Для Англии этот прогресс во всем мире означал конец ее издавна установившейся мировой монополии, начало так называемой «великой депрессии» и новую стадию в политической и профсоюзной деятельности рабочего класса. Во Франции и Германии на основе организаций

распущенного Первого Интернационала стали расти массовые социалистические партии. Концентрация капитала во всех этих странах создала первые предпосылки для образования монополий, но ярче всего эти признаки зарождения монополий проявлялись в быстро развивавшихся Соединенных Штатах. Между 1859 и 1889 годами промышленное производство США увеличилось в пять раз, достигнув валовой суммы в 9 миллиардов долларов; огромная империя «Стандард ойл» была всего лишь одной из самых крупных монополий. Около 1887 года Беллами так описывал этот процесс монополизации, а также те страхи и противодействие, которые он возбуждал:

«Между тем поглощение предприятий растущими монополиями продолжалось, ничуть не задержанное поднявшимся против них возмущением. В Соединенных Штатах... начиная с последней четверти нынешнего столетия для частной инициативы не было возможности проявиться в любой из ведущих отраслей промышленности, если только за ней не стоял крупный капитал... Мелкие предприятия, поскольку они все еще продолжали существовать, могли сохраняться лишь на положении крыс и мышей, ютясь по норам и углам и стремясь не попадаться на глаза, не обращать на себя внимания, лишь бы только выжить. Железные дороги ухитрялись как-то существовать, пока несколько крупных синдикатов не наложили лапу на каждый километр рельсов в стране. В промышленности любая важная отрасль контролировалась синдикатом. Эти синдикаты, пулы, тресты или как бы их там ни называли устанавливали цены и подавляли всякую конкуренцию, если только в противовес им не возникали столь же мощные комбинации сил, как и они сами. Тогда начиналось соперничество, оканчивающееся еще большей консолидацией».

Для мелких капиталистов, интеллигенции и независимых производителей успехи и борьба рабочего класса представляли не меньшую угрозу. В 1886 году число членов «Рыцарей труда» достигло максимальной цифры, около 70 тысяч человек, и в том же году была основана Американская федерация труда. В течение нескольких лет были налицо все возможности для образования

сильной американской рабочей партии. В то время стачечное движение вспыхнуло с небывалой силой. Протицуем снова того же Беллами:

«Забастовки стали таким обычным явлением, что люди перестали даже спрашивать о причинах, из-за которых они возникали. Со времени большого кризиса 1873 года забастовки происходили почти непрерывно то в одной, то в другой отрасли промышленности. Можно сказать, что случаи, когда рабочие одной и той же промышленной отрасли продолжали свою работу непрерывно в течение нескольких месяцев подряд, стали исключением».

Многие забастовки носили политический характер:

«Трудящиеся массы очень быстро и широко прониклись глубоким недовольством своим положением и мыслью, что оно может быть значительно улучшено, если только знать, как приняться за это дело».

Социализм твердо значился в повестке дня как в Америке, так и в Старом Свете, и, как писал Энгельс в 1886 году:

«Последний буржуазный рай на земле быстро превращается в чистилище, и от превращения в ад, подобный Европе, его сможет удержать лишь бурный темп развития едва оперившегося американского пролетариата».

Таков был фон событий, на котором возникла книга «Через сто лет»: монополии, подкупы и спекуляция, жестоко подавляемые забастовки, мир Рокфеллеров и карнеги и мучеников Хаймаркета, незаконно осужденных в 1886 году после взрыва в Чикаго бомбы, провокационно подложенной полицией. В родной для Беллами Новой Англии промышленность расширялась, одновременно забрасывались большие площади сельскохозяйственных земель.

Беллами, мягкому человеку академического склада, не участвовавшему непосредственно в движении рабочего класса, «все это насилие, алчность и эгоистический конфликт» казались чрезвычайно дурного вкуса, они представлялись ему неразумными и грубыми, а в социализме его больше всего привлекали именно изящность и разумность. Торжество социализма должно было быть

торжеством абстрактного разума, а не революционного класса.

«Несмотря на свою форму фантастического романа, — пишет Беллами, — «Через сто лет» представляет собой самую серьезную попытку предсказать следующую стадию промышленного и социального развития человечества, основываясь на принципах эволюции».

В начале книги Беллами объясняет, что он понимает под принципами эволюции. Его герой, Джулиан Уэст, после летаргического сна пробуждается в новом, преобразованном, социалистическом Бостоне в 2000 году. Его хозяин и ментор д-р Лит, всегда готовый все объяснять необычайно пространно, рассказывает ему, как происходило изменение:

«В начале прошлого столетия эволюция завершилась полной консолидацией всего капитала нации. Промышленность и торговля страны перестали находиться в руках группы безответственных корпораций и синдикатов частных лиц, использовавших их как им заблагорассудится и только ради своего обогащения, и были доверены единому синдикату, представляющему весь народ, чтобы он управлял ими в общих интересах и ко всеобщей выгоде. Нация превратилась в одну огромную деловую корпорацию, которая поглотила в себе все другие корпорации; она стала единственным капиталистом, занявшим место всех других, единственным нанимателем, конечной монополией, в которую влились все прежние и менее крупные монополии, монополией, в прибылях и выгодах которой участвовали все граждане...»

«Такая изумительная перемена, какую вы описали, — сказал я, — не могла произойти, конечно, без страшного кровопролития и огромных потерь сений?»

«Напротив, — ответил д-р Лит, — не было никакого насилия. Это изменение предвидели заранее. Общественное мнение было вполне подготовлено к нему, и его одобрял весь народ. Противиться перемене нельзя было ни силой, ни доводами».

Мы видим здесь очень раннее и соответственно очень наивное изложение ставшей теперь очень распространенной теории св.ерхимпериализма, состоящей в том, что монополистический капитал, устранив конкуренцию, механически и безболезненно превратится в свою противоположность. В Утопии Беллами социализм неизбежно принимает механистический уклон. Голое уравнение во всем, почти военная регламентация труда, бюрократическая организация, суровость жизни, ценность, приписываемая механическим изобретениям, совершаемым ради самих изобретений, — таковы некоторые из его «пред-

видений», — все это свидетельствует о том, что он не сумел понять качественной разницы между капитализмом и коммунизмом. По мысли Беллами, в 2000 году все будут жить примерно так, как обеспеченные круги средней буржуазии жили в Бостоне в 1886 году.

Это, пожалуй, в той же мере, как и положительные стороны книги «Через сто лет», принесло ей исключительный успех. В тот период, когда интеллигенция и еще очень многочисленные мелкие производители чувствовали себя тиснутыми между трестами и воинствующим рабочим движением, им был предложен «Прогресс без горя и слез», социализм, не требовавший от них того, чтобы они примкнули к одной из сражающихся сторон. Беллами очень старательно отмежевался от движения рабочего класса — «последователей красного флага», как он называл революционеров:

«Они [революционеры] не принимали никакого участия в нем [в изменении], разве что мешали ему, — ответил д-р Лит. — Они все время препятствовали ему очень действенно, потому что их высказывания вызвали такое отвращение в народе, что он уже не хотел слышать ни о каких социальных реформах, хотя бы самых разумных».

Популисты и гренджеры, пытавшиеся организовать фермеров и мелкий люд против трестов, достигли как раз тогда наибольшего влияния; несколько лет спустя, при Брайане, они едва не подчинили себе демократическую партию. Главное — это народ, а не тресты, человек, а не деньги — таковы были самые популярные тогда лозунги. Для такой аудитории Беллами был чем-то вроде пророка, так как он окрасил в научный и эволюционный цвет то, что, в сущности, было безнадёжной попыткой остано-

вить наступление монополий путем возвращения к более примитивному порядку вещей. Книга его, кроме того, обладает рядом достоинств: несмотря на ее стиль, кажущийся нам сейчас невыносимо торжественным и претенциозным, в ней немало глубоких высказываний и острой, сокрушительной критики установлений и последствий к-а питализма. И уж, во всяком случае, она предлагает какие-то более цивилизованные нормы жизни, чем капиталистические, и привлекает внимание к возможности покончить с конкуренцией и заменить ее гуманным сотрудничеством в бесклассовом обществе, как бы ни было натянутым изображение автором этого общества.

Вследствие всех этих причин, а также потому, что в тот момент горячо воспринималась *любая* книга, сулившая какие-то надежды, успех, выпавший на долю книги «Через сто лет», превзошел все, на что мог рассчитывать Беллами. В Америке было распродано несколько сот тысяч экземпляров за короткий период. В 1891 году появились переводы на голландский, итальянский, французский, немецкий и португальский языки. Английское издание, выпущенное в 1889 году, привлекло к себе не меньше внимания, чем американское. В Соединенных Штатах на Беллами стали смотреть, как на творца социализма, и признали за лидера политической партии, чьей целью было осуществление на практике его утопии «Через сто лет». Даже в Англии, где социализм имел более длинную историю, где лучше знали марксизм, существовала сильная тенденция признать авторитетность изображенной Беллами картины жизни при социализме.

Это и заставило Уильяма Морриса подвергнуть обстоятельной и развернутой критике произведение Беллами, что он и сделал в журнале Социалистической лиги «Общее благо» в номере от 22 января 1889 года. Я приношу его оценку полностью, потому что, как мне кажется, в ней очень правильно поставлен вопрос о Беллами и объясняется точка зрения Морриса не только об этом авторе, но и на природу социалистического общества вообще, а кроме того, потому, что о ней мало знают, да она и трудно доступна современным читателям. После нескольких общих замечаний Моррис пишет следующее:

«Эта книга произвела такое впечатление на социалистов и не социалистов, что «Общее благо» должно, как нам кажется, уделить ей внимание.

Прежде всего, потому что это — «утопия». Предполагается, что она рассказывает о 2000 году и описывает состояние общества после постепенной и мирной революции, осуществившей социализм, который для нас представляется, по существу, лишь вступившим в начало своего воинств ующего периода. «Через сто лет» тем более заслуживает упоминания, что в книге такого рода заключена опасность — опасность двоякого рода. Найдутся люди, которым ответ, данный в ней на вопрос: «Как будем мы тогда жить?» — покажется приемлемым и удовлетворительным, и другие, для которых он будет и неприемлемым и неудовлетворительным. Для первых опасность заключается в том, что они, согласившись с книгой, примут ее со всеми ее неизбежными ошибками и заблуждениями (а книга такого рода должна ими изобиловать), считая, что тут даны исчерпывающие описания фактов и правила, по которым надо действовать, и, таким образом, их усилия будут направлены на ложный путь. Для вторых эта опасность заключается в том, что если это люди ищущие или молодые социалисты, то они, также приняв умозаключения книги за непреложные, скажут: «Если это социализм, мы не станем помогать тому, чтобы он восторжествовал, так как он не оставляет для нас никакой надежды...».

Взгляды Беллами можно назвать чисто современными, неисторическими и нехудожественными; придерживающийся их (если он социалист) может быть совершенно доволен современной цивилизацией, при условии, что будут устранены несправедливость, бедность и ущерб, который ей наносит классовое общество, а это кажется ему вполне возможным. Единственным идеалом жизни для такого человека может быть только жизнь теперешнего трудолюбивого *интеллигента* из средних классов, лишь очищенная от их преступного пособничества монополистам и ставшая независимой, вместо того чтобы быть, как теперь, паразитической...

Поскольку автор мирится с современной жизнью в значительной ее части, совершенно естественно, что он считает возможным такой переход к социализму, при котором не понадобится разрушать

старое общество или даже его тревожить: достаточно будет дать крупным частным монополиям, представляющим столь характерную черту современности, достичь полного развития. Беллами полагает, что они должны неизбежно слиться в одну большую монополию, в которую войдет весь народ, и что она станет действовать на пользу всех граждан...

Легко выполнив это великое изменение путем совершенно мирным и фантастическим, автор излагает свой план устройства жизни. Она организована, надо признать, здорово. Его проект можно назвать государственным коммунизмом, действующим на базе национальной централизации, доведенной до предела.

Лежащий в основе этой схемы порок состоит в том, что автор не мог представить себе что-либо большее, чем структуру общества и что, вполне естественно, он подразумевает существование в обществе будущего (в обществе, по его словам, не знающем бесполезных растрат труда) того страха голодной смерти, который является неизбежным спутником общества, где две трети или даже большая доля труда *действительно* тратится бесполезно. Он *утверждает*, что каждый волен выбирать себе род занятий и что труд никому не в тягость, но в то же время *создает впечатление*, что существует огромная армия людей, тщательно обученная и поощряемая каким-то таинственным роком стремиться производить как можно больше товаров для удовлетворения любого каприза, могущего возникнуть в обществе, каким бы расточительным и нелепым он ни был.

В качестве примера можно указать на то, что каждый начинает серьезный производственный труд с 21 года, сначала работая в течение трех лет в качестве чернорабочего, после чего выбирает себе специальность, чтобы проработать в ней до 45 лет; в этом возрасте он прекращает всякое занятие и свободно развлекается (ему предоставлена возможность просвещаться, если он еще на это способен), О боги! Представьте себе человека 45 лет, резко и по принуждению обязанного изменить все свои привычки!..

Короче говоря, Беллами неспособен изобрести для нас ничего лучшего, чем жизнь машины. Поэтому не приходится удивляться тому, что единственное, посредством чего он рассчитывает сделать труд терпимым, — это уменьшение его количества путем постоянного и непрекращающегося изобретения новых и новых машин.

Я полагаю, что идеал будущего должен заключаться не в снижении человеческой энергии путем сокращения *труда* до минимума, а в уменьшении его тягостности, в том, чтобы бремя его почти не ощущалось... Вот почему в этой части своего плана г-н Беллами напрасно хлопочет, отыскивая (заведомо безнадежно) какой-нибудь стимул для труда, чтобы заменить страх голода (который в настоящее время является нашим единственным побудителем), так как — и вряд ли это нужно слишком часто повторять — истинным стимулом для счастливого и полезного труда должна быть радость, исходящая из самого труда...

Следует указать на то, что есть такие социалисты, которые думают, что проблема организации жизни и необходимого труда разрешается путем гигантской централизации, которая действует словно по волшебству и за которую никто не несет ответственности; тогда как, наоборот, необходимо будет сделать административные единицы достаточно мелкими, чтобы каждый гражданин чувствовал себя ответственным за самые мелкие частные вопросы этой проблемы и был заинтересован в их решении; каждый отдельный человек не может рассчитывать на то, что эта жизненно важная проблема будет решена за него какой-то абстракцией, называемой Государством, а должен решать ее при сознательном сотрудничестве с другими. Разнообразие жизни в такой же мере является целью истинного коммунизма, как и равенство жизненных условий, и лишь соединение того и другого приведет к подлинной свободе... И, кроме того, искусство, в самом широком и правильном смысле этого слова, не является лишь случайным придатком к

жизни, без которого может обойтись свободный и счастливый человек, а служит необходимым и нужным инструментом для человеческого счастья».

Моррис с его сильно выраженным творческим складом ума не мог удовлетвориться одной критикой утопии Беллами. Для него книга «Через сто лет» была вызовом, на который он должен был ответить, нарисовав свою картину жизни при коммунизме. Он вполне отдавал себе отчет в том, что такая книга будет изобиловать ошибками и заблуждениями, но был готов нести ответственность за свои высказывания. Очевидно, что книга «Через сто лет» послужила толчком для «Вестей ниоткуда», которые начали появляться отдельными выпусками в журнале «Общее благо» с 11 января 1890 года.

2. «Вести ниоткуда»

Если, как я высказал предположение, книга Беллами послужила тем толчком, благодаря которому Моррис написал свои «Вести ниоткуда», то очевидно также и то, что им изложены мысли и образы, давно созревшие у него. В заключительных страницах «Видения Джона Болла», опубликованного в 1886 году в том же «Общем благе», встречается прямое указание на то, что автор уже тогда задумал продолжить свой труд. Джон Болл говорит перед отъездом:

«Я иду на жизнь и смерть и расставание с тобой; и мне не совсем ясно — нужно ли пожелать тебе увидеть тот сон, который, как ты говорил мне, поведал бы тебе, что будет после твоей кончины, так как я не знаю — поможет ли это тебе, или помешает».

После того как Моррис перенес нас в прошлое и затем перемещал нас вперед по оси времен, для него было вполне логично, уйдя вперед, затем оглянуться назад, тем более, что социалистическое будущее казалось ему во многом сходным с феодальным прошлым средних веков.

Мы знаем также, что тот уклад жизни, который он описывает в «Вестях ниоткуда», уже давно находил определенное выражение во всей его работе, в его архитектурной теории и практике и в его мастерстве не меньше, чем в его поэмах и рассказах. Это, пожа-

¹ Сравните со взглядами Уинстенли, Годвина и Спенса.

луй, яснее всего проступает в письме, написанном им в 1874 году:

«Конечно, если бы люди жили пять тысяч лет, а не семьдесят, они бы нашли лучший способ жить, чем в этом гнусном проклятом месте, но теперь как будто никто не считает своим долгом попытаться улучшить положение — это и не мое дело, несмотря на все мое ворчанье, но представьте себе, что люди жили бы небольшими общинами, среди садов и зеленых полей, так что вы могли бы оказаться в деревне после пятиминутной прогулки и что потребности ваши были бы очень немногочисленны; вам, например, не нужно было бы ни мебели, ни слуг и вы бы постигали трудное искусство наслаждения жизнью и узнавали, в чем состоят подлинные потребности, тогда, думаю, мне, можно бы было считать, что действительно наступила цивилизация».

В этом письме, написанном Моррисом задолго до того, как он сам осознал, что является социалистом, уже обнаруживается зерно «Вестей ниоткуда», и не в последнюю очередь — в случайно брошенной им фразе «не нужно было бы... ни слуг...». Нам теперь не очень легко себе представить, как революционно звучало такое высказывание в устах обеспеченного человека в 1874 году, когда домашние слуги считались необходимой принадлежностью обихода всех слоев населения чуть богаче низших групп средних классов. Но Моррис уже тогда склонялся к мысли, что в этом неравенстве положений есть что-то недостойное человечества, одинаково унижающее эксплуататора и эксплуатируемого, и к этой мысли он впоследствии возвращался, постепенно ее развивая, как, например, в «Искусстве и социализме». И мне кажется, что он мог и в 1874 году сказать, что быть слугой машины не менее унижительно, чем быть слугой человека. Основная разница между тогдашним Моррисом и им же в 1890 году состоит в том, что в это более позднее время он уже считал своим долгом попытаться улучшить положение и нашел в социализме тот путь, по которому следовало идти.

Рассматривая источники «Вестей ниоткуда», важно подчеркнуть, что многие подробности в них отвечают очень сильному в последней четверти XIX века идеоло-

гическому течению. С 1871 по 1884 год Раскин¹ писал «Форс Клавигара» («Письма к рабочим и крестьянам Великобритании»), где излагал цели своей Гильдии святого Георга и план сети утопических коммун, в которых жизнь сильно походила на ту, которая описана в «Вестях ниоткуда», хотя Раскин с его аристократическим социализмом никогда не представлял себе того духа товарищества и демократического равенства в жизни, которые для Морриса были венцом всего дела. Моррис понял также — и возможно, что его до некоторой степени научила неудача Гильдии, — что всякая попытка постепенного преобразования общества такими методами обречена на неуспех. Но, несмотря на то, что Моррис пошел значительно дальше Раскина, он многому научился от последнего и всегда относился к нему с огромным уважением.

Мы знаем также, что в 1885 году он читал с особым интересом «После Лондона» Ричарда Джефферриса:

«Я читал оригинальную книгу под названием «После Лондона». Мне она в общем понравилась: нелепые надежды зародились в сердце, пока я ее читал. Мне хотелось бы стать моложе лет на тридцать. Мне захотелось видеть конец игры».

Здесь мы касаемся одной из самых характерных мыслей Морриса: он был уверен в том, что капитализм уже близок к своему концу. Он считал, что произойдет революция и родится социалистическое общество или же случится огромная катастрофа, и в результате снова наступит варварство и все пойдет сначала. Он настолько ненавидел капитализм и его цивилизацию, что предпочитал даже этот путь, лишь бы они перестали существовать. Временами он даже как будто жаждал наступления катастрофы. В том же году он писал в письме:

«Как часто меня утешает мысль о варварстве, снова овладевающим миром... Я обычно приходил в отчаяние при мысли о том, что то, что современные идиоты называют прогрессом, будет продолжаться и дальше совершенствоваться; к счастью, я теперь знаю, что все это внезапно прекратится, я имею в виду внезапно — по внешним признакам, как это было в дни Ноя».

¹ Джон Раскин (1819—1900) — английский писатель, критик, искусствовед и социолог. — *Прим. ред.*

Однако Моррису более свойственно искать положительного исхода в социализме, так как он понимал, что такое начинание вновь ничего не разрешит. Он писал в «Вестях ниоткуда»:

«Этого торгашеский дух нельзя уничтожить иначе, разве только если бы все общество постепенно опускалось ниже и ниже, пока не достигло бы стадии варварства, однако без присущих ему радостей и надежд. Несомненно, лекарство самое резкое и быстро действующее окажется наилучшим».

В «После Лондона» Моррис нашел описание именно такого общества, грубого, как варварское, но лишенного всех его надежд, бедного, как в средневековье, но без его жизненности. В этой книге Джефферис с поразительной наглядностью описывает Англию и ее жизнь после какой-то необъяснимой катастрофы, сразу уничтожившей почти все население. Страна зарастает лесами, долины рек превращаются в озера или болота, остатки населения ютятся тут и там по крохотным княжествам и городам-государствам, все ремесла и искусства, за исключением самых примитивных и необходимых, забыты, повсеместно установилось рабство и возобновлены бесконечные междоусобные войны. В последней части книги (оставшейся незаконченной) как будто намечается формирование государства нового образца, возникающего среди варварских пастушьих племен на окраине страны.

Тут имеет место разрушение, «как в дни Ноя», и многое другое, что, несмотря на свое убожество и упадок, казалось Моррису предпочтительнее цивилизации XIX века. Все же обрисованные тут перспективы будущего были крайним выходом за неимением лучшего, и Моррис чаще всего продолжал надеяться, что можно будет обойтись без таких крайних потрясений. «После Лондона» — это в некотором отношении «Вести ниоткуда» наизнанку: капитализм разрушен, но социализм не водворяется на его место. Я вряд ли ошибусь, предположив, что и это произведение оказало влияние на ту окончательную форму, в которую вылилась утопия Морриса.

Интересно бы установить, читал ли Моррис другой утопический роман того времени — «Хрустальный век» У. Х. Хадсона, опубликованный в 1887 году. У нас нет

об этом положительных данных, но вполне допустимо предположить, что он был с ним знаком, поскольку Хадсон дружил с Уилфридом Скауэном Блантом и Р. Б. Канингхэм-Грехемом, от которых Моррис мог слышать о нем. Как бы то ни было, в «Хрустальном веке» некоторые черты напоминают «Вести ниоткуда», хотя социализм, как и следовало ожидать, совершенно из него исключен. Самой поразительной чертой «Хрустального века» является полное отсутствие связи с существующим миром, кроме, пожалуй, антипатии к нему. Тут представлено нечто впервые созданное, настолько удаленное от нас во времени и по чувству, что в этом новом мире полностью утрачена всякая память о существующем теперь обществе.

Хадсон в значительной мере разделяет с Моррисом представление о наступлении эпохи отдыха, периода, в котором мир будет стоять на месте. Эта передышка у Морриса не более, чем временная и относительная передышка между периодами более интенсивных изменений, но даже в таком толковании она мало вяжется с его обычно диалектическими взглядами: у Хадсона же период отдыха не прерывается, насколько можно видеть, ни в прошлом, ни в будущем. Он описывает мир маленьких разбросанных и самостоятельных, вполне устойчивых семей, у каждой из которых «свой» дом. Люди приходят и уходят, но число их остается неизменным, и «дом», то есть материальный базис и основа их жизни, вечен, так что, пожалуй, можно сказать, что семья служит «дому», а не «дом» служит семье. Поскольку семья сама полностью обеспечивает себя, вопрос об обмене или эксплуатации даже не возникает; в этом смысле можно даже говорить о наличии неопределенного социалистического элемента, и сцена, в которой герой, посетитель из современности, предлагает деньги в обмен за костюм, могла бы быть написана и Моррисом, за исключением того, что у последнего народ лучше воспитан и менее склонен осуждать, чем у Хадсона. Обе утопии имеют то общее, что ни в одной из них нет крупных городов, что искусство и ремесла играют значительную роль и что обе превозносят радость, испытываемую людьми при выполнении полезной работы.

¹ У. С. Блант (1840—1922) — английский поэт и публицист. — *Прим. ред.*

Но Моррис значительно превосходит Хадсона не только в понимании духа истории, но и глубиной человеческих чувств. Его Утопия не отгорожена от нас временем или пространством, а вырастает из существующего общества благодаря борьбе и носит отчетливые следы как этой борьбы, так и всего ее прошлого. Кроме того, его люди мало похожи на аскетические, унылые и почти бесполое существа Хадсона. Никто не мог бы представить себя живущим или желающим жить в Утопии последнего, как нельзя было бы провести жизнь в фонаре с цветными стеклами, тогда как тысячи людей считали Утопию Морриса не только осуществимой, но и стоящей того, чтобы за нее бороться.

Уместно упомянуть еще об одной общей черте обеих утопий. Мы имеем в виду, что та и другая изображены в виде сновидения. Герой Хадсона «просыпается» после сна, продлившегося бесконечное количество веков, однако нигде прямо не говорится о том, что в книге рассказывается о сновидении. Это можно заключить лишь по некоторым деталям, необъяснимым иначе, как сном, и в заключительных страницах, где герой описывает собственную смерть. Беллами, а впоследствии Уэллс воспользовались приемом продолжительного сна, но рационализировали его, давая ему псевдонаучное объяснение, гармонирующее с псевдонаучным характером их утопий. Подобный прием кажется совершенно не в духе Морриса, научный характер фантазии которого опирается не на множество поверхностных признаков, а на его владение законом движения человеческого общества. Кроме того, он был под большим влиянием литературы средних веков и варварского севера, в которой широко использован мотив волшебных и вещих снов. Для него было столь же естественно дать под видом сновидения картину социалистической Англии, как для Лангленда использовать этот прием для описания адских мук.

Сон был для Морриса более, чем литературным приемом. Он мыслил в основном зрительными образами, а зрительная память его была, как мы знаем, изумительной. Естественно, что при таких свойствах у человека должны быть живые и реалистичные сны, и на первых страницах «Видения Джона Болла» Моррис рассказывает очень подробно, что с ним именно так и было, и он всегда видел очень отчетливые, цельные и стройные сны.

Нет причины сомневаться в том, что в основе описываемого им лежал его собственный жизненный опыт и что в дальнейшем именно этот его собственный опыт определял в конечном счете ту форму, в которую вылились его оба больших социалистических романа.

Дж. У. Маккейл отзывался о «Вестях ниоткуда» тем покровительственным и пренебрежительным тоном, которым он всегда говорит о социализме Морриса:

«Любопытно, что этот наспех набросанный и преимущественно английский, страдающий национальными предрассудками роман был в качестве социалистического памфлета переведен на французский, немецкий и итальянский языки и за границей сделался популярнее, чем любые другие его более значительные работы в стихах и прозе».

Теперь кажется странным, что Маккейл, — который, несмотря на все ошибки, сделанные им как биографом Морриса, искренне любил и уважал его, — не видел того, что было очевидным тысячам рабочих во многих странах, а именно, что «Вести ниоткуда» были, как я попытался показать, результатом многолетней подготовки и размышлений, отлитых в форму, необычайно соответствующую таланту Морриса, и представляют венец и высшее достижение всей его работы.

Правда, это небольшая книга; верно и то, что она была написана быстро и чуть ли не между прочим в суете разнообразных дел; также справедливо и то — и этого не могут переварить обыватели, — что она была написана для социалистического периодического издания и служила оружием в повседневной борьбе. Все это лишь доказывает то, что как будто не нуждается в доказательстве, но всегда забывается или отрицается, а именно следующее: Моррис отдавал все, что было в нем лучшего, рабочему классу и что, как бы велик он ни был вообще, основную долю славы ему принесла его революционная деятельность. В «Вести ниоткуда» Моррис более, чем в любую другую свою книгу, вложил свои надежды и знания, все им совершенное, и себя таким, каким выковала его жизнь, наполненная борьбой.

Это очень важно отметить, потому что хотя он формально сделался социалистом лишь в 1883 году, его жизнь и творчество составляют неделимое целое, протянувшееся без перерыва и отклонений от его ранних ро-

манов до социалистических трудов зрелого возраста. Моррис всю жизнь учился, углублял свое понимание мира и расширял свой кругозор, но ему ни от чего не приходилось отрекаться, поскольку на каждой новой ступени его настоящее было лишь исполнением его прошлого. От Раскина он научился рассматривать искусство (в широком смысле) не как особый род деятельности, производящей специфический род предметов роскоши, а как существенную часть всей жизни человека. «Искусством» было все, созданное людьми, свободными и находившими удовольствие в своей работе. Предметы искусства отличались от товаров коммерческого производства тем, что последние были сделаны без радости и по принуждению. Такой взгляд не мог логически не повести к критике современного общества, а Моррис не был человеком, способным отступить от своих выводов и не попытаться довести их до конца.

Так, он стал очень рано задавать вопрос: «Что нужно человеку, чтобы он был счастлив?» Поскольку он подходил к нему прямо и просто, не вкладывая в понимание счастья никакого мистического смысла или идеализма, то и ответы его были всегда простыми и материальными. В его представлении самым главным был дух товарищества, изобилие всего, что нужно в жизни — солнце, воздух, простор и радость в работе. Именно такую жизнь он рисовал, когда писал о людях Бург-Дейла.

«Они жили непринужденно и пользуясь радостями, хотя и без излишеств и несоразмерных желаний. Они занимались физическим трудом и утомлялись; и они отдыхали после работы, и пировали, и были веселы; завтрашний день не был для них бременем, и о вчерашнем не хотелось забывать; жизнь не позорила их, и смерть не была им страшна».

Ко всему этому надо прибавить еще одну черту. В одном из своих ранних рассказов «Свенд и его братья» (1856) он писал о народе богатом, сильном и многочисленном, владевшем всеми искусствами, обладающем всеми талантами:

«Не должен ли был король гордиться народом, который так много помогал миру достичь полного совершенства и даже надеялся, что его внуки увидят это?»

Увы, увы! — король и священники, дворяне и горожане — все были рабами не в меньшей степени, чем самый ничтожный серв, и даже в большей мере, потому что они были ими по собственному желанию, а он серв — против воли».

Еще будучи молодым Моррис высказывает свое суждение о блеске и нищете викторианской Англии. С самого начала, и чем дальше, тем яснее, он видел, что человек может быть счастлив только в свободном обществе. Лучше всего он познал это на собственном опыте, так как сам обладал больше, чем какой-либо другой человек его времени, всем, что нужно, чтобы быть счастливым: силой и талантом, большими средствами, преданными друзьями и работой по душе. Что бы он ни предпринимал, он делал хорошо, и каждое его начинание приносило успех. Но он оставался неудовлетворенным, потому что не мог полностью наслаждаться тем, чем не могли наслаждаться все. «Я не хочу искусства для немногих, как не хочу образования для немногих или свободы для немногих», — писал Моррис.

Поэтому он начал изучать природу этой свободы, заниматься историей тех времен и народов, когда ее было как будто больше, и спрашивать, почему отсутствуют даже признаки ее в буржуазно-демократической Англии XIX века? Более всего он уделял внимания литературе и героическим временам истории Северной Европы и нашел, что самый свободный строй, существовавший когда-либо в мире, был в Исландии. Он очень быстро уловил основной факт, заключавшийся в том, что свобода в Исландии была результатом почти полного отсутствия классовых подразделений, а как только он осознал, что свобода означает уничтожение классов, он тем самым встал на путь сознательного социализма. Моррис был пламенным поклонником бесклассового общества, решившим искать и добиваться его всеми возможными средствами. Путь к нему он нашел в марксизме, избегнув тем самым тех разочарований и крушений, которые испытывал в наше время Д. Х. Лоуренс, пытавшийся разрешить тот же вопрос без этой руководящей нити. Моррис любил прошлое и понимал его лучше Лоуренса, но он никогда не совершал ошибки, пытаясь возвратиться к прошлому. Он посетил Исландию для того, чтобы вооружиться знаниями и силой для борьбы, но не для того,

чтобы уйти от настоящего. Он знал, что бесклассовое общество будущего может возникнуть только из того, что существует сейчас и будет достигнуто только посредством классовой борьбы, иначе говоря — революции.

Вследствие этого Моррис хотя и называл себя социалистом в общем смысле, но любил употреблять слово «коммунист», когда хотел уточнить, к какой *категории* социалистов он принадлежит. Моррис пользовался этим словом отнюдь не в качестве приятной исторической реминисценции, но совершенно точно, понимая полностью все, что оно за собой влечет. В 80-е годы называться коммунистом — значило следовать двум принципам, имевшим, как тот, так и другой, дурную репутацию. Коммунист прежде всего был сторонником Парижской Коммуны, в то время события совершенно свежего и предмета ужаса буржуазии, поскольку Коммуна была великим практическим примером диктатуры пролетариата. Моррис никогда не переставал защищать Коммуну и прославлять ее дела. Во-вторых, коммунист должен был принять учение Маркса, изложенное в Коммунистическом Манифесте. О Моррисе писали столько глупостей, что и сейчас еще необходимо подчеркивать, что он был марксистом в соответствии со своим пониманием марксизма, и всегда помнить, что в то время значительная часть трудов Маркса и Энгельса была недоступна английским читателям и что английский социализм находился практически еще на ранней ступени развития. Отсутствие того опыта — своего, английского, и международного, — какой у нас есть теперь, приводило к грубым ошибкам. Те, кто не признают за Моррисом права называться марксистом, делают это потому, что или настолько невежественны в марксизме, что не узнают его в том виде, в каком он обнаруживается в сочинениях Морриса, где он нередко выражен в весьма своеобразной форме, или же потому, что создали себе о Моррисе предвзятое представление, в защиту которого готовы исказить прямой смысл того, что он писал или говорил¹.

¹ Уместно привести пример подобного искажения. В своем сочинении «Уильям Моррис — пророк нового порядка в Англии» Ллойд Эрик Грей утверждает, будто Моррис писал «членам марксистской Социал-демократической федерации, что те, кто верят, что экономика «ножа и вилки» преобладает над «искусством и культурой»... не понимают сути искусства». Моррис же писал (в своей книге «Как

Он был марксистом в том смысле, что, принимая принципы марксизма, превосходно понимал необходимость практической деятельности. С 1883 года, когда он вступил в Социал-демократическую федерацию, и до своей смерти в 1896 году Моррис отдавал все свое время, энергию и средства делу социализма. Он посвятил ему свои лучшие сочинения этих лет и, помимо этого, принимал участие в тяжелой повседневной работе движения, а также в лично для него очень неприятных внутренних спорах, которые раздирали тогда социалистическое движение. Здесь неуместно говорить о них или об истории движения в те времена, если бы даже и нашлось для этого место. Следует сказать лишь о том, что в десятилетие, предшествовавшее выходу «Вестей ниоткуда», Англию потряс кризис, сопровождавший утрату ею мировой монополии; в эти десять лет массовая безработица вызывала забастовки безработных, профсоюзное движение ожило, главным образом под руководством социалистов, и сам социализм в своей современной форме стал сильно развиваться, сначала среди небольших групп, но оказывая косвенное влияние на широкие массы рабочих.

Моррис играл во всем этом брожении центральную роль, и именно события указанного десятилетия и составили фон «Вестей ниоткуда». Если данная утопия по содержанию богаче предшествующих, то объясняется это тем, что она писалась не вне связи с событиями эпохи, а составляла часть той борьбы, которую вел человек, бывший одновременно научным социалистом и большим поэтом. Книга Морриса — первая неутопическая утопия. Во всех предыдущих утопиях наше внимание привлекают частности, но здесь, если мы и можем усомниться в той или иной подробности, важнее всего чувство исторического развития и человеческое понимание условий жизни в бесклассовом обществе.

Таковы в общих чертах элементы, составившие «Вести ниоткуда»: одни — принадлежащие Моррису и свойственные ему, другие — проистекающие из условий того

я стал социалистом) как раз обратное: «Безусловно, те, кто заявляют, что вопросы искусства и культуры должны быть впереди вопросов «ножа и вилки» (а некоторые предлагают нам это), не понимают сути искусства или не понимают, что почвой его корням должна служить цветущая, не знающая тревог жизнь».

времени, тогда как некоторые являются результатом взаимодействия тех и других. Теперь пора вернуться к самой книге и прежде всего отметить, что она была написана с определенной целью: во-первых, заменить картину жизни при социализме, нарисованную Беллами, которую Моррис считал неправильной, дав вместо нее другую, которая представлялась ему правильной, и, во-вторых, подбодрить своих товарищей и вдохнуть в них веру, напомнив о той положительной цели, к которой должны были привести их усилия.

Вследствие этого ему не нужно было подражать Беллами или пытаться превзойти его нагромождения технических средств и приспособлений, жизнь под аккомпанемент вечно играющей музыки на манер передач Би-би-си (очень характерно для Беллами, что единственное развлечение, упомянутое в его утопии, — это нечто похожее на то, что мы теперь понимаем под «слушанием радио»), его огромную сеть труб, по которым стандартные товары доставляются на дом из гигантских складов, его все усложняющиеся машины. Подобные планы могли казаться привлекательными в 1890 году, но мы, видящие современные чудеса техники, какие и не снились Беллами, знаем, как мало они обеспечивают счастье, взятые сами по себе. Моррис, полностью сознавая, что социализм подразумевает победу человека над окружающим его миром, не углубляется в детали технического характера и упоминает о них лишь вскользь и случайно. Он интересовался не технической сложностью вещей, а новыми производственными отношениями *людей* и вызванным этими новыми производственными отношениями преобразованием человеческих отношений и человеческой природы.

Беседуя со старым Хэммондом, историком, в чьи уста он вложил рассказ о наступлении социализма, Моррис (все рассказывающий от первого лица) упоминает о «человеческой природе».

«Человеческая природа! — пылко воскликнул старик. — Какая человеческая природа? Природа бедняков, рабов, рабовладельцев или человеческая природа зажиточных, свободных людей? Которая? Ну, говори!»

Именно человеческая природа обеспеченных свободных людей и представляет постоянный и основной интерес «Вестей ниоткуда», та человеческая природа, в фор-

мировании которой не участвовали ни бедность, ни эксплуатация, ни конкуренция, ни страх или алчность. При таких условиях он в состоянии показать, как и почему бесклассовое общество, в котором пороки капитализма настолько исчезли, что даже память о них не сохранилась, может породить новый вид счастья, чувство товарищества, терпимости, всеобщую учтивость в обращении, радость жизни, наслаждение материальным миром, которые нам трудно себе представить. Благодаря тому, что Моррис поразительно сочетал в себе дарования и опыт, необходимые, чтобы совершить такой подвиг воображения, его книга и сохраняет свое место среди немногих численных классических произведений социализма. Терпеливо, прибегая к многочисленным и детализированным доказательствам, он показывает, что пороки, которые обычно приписываются «человеческой натуре», на самом деле являются следствием капитализма.

Некоторые критики упрекали Морриса за то, что нарисованная им картина слишком светла, что мужчины и женщины в его утопии настолько хороши, что перестают быть правдоподобными. Я не нахожу почвы для подобной критики. Моррис больше всего прислушивался к внутреннему голосу, он ощущал в себе и видел в своих друзьях потенциальные способности к счастью и гармонической жизни в обществе; несмотря на то, что их заглушали и подавляли, они все же ясно проступали наружу. Он обладал к тому же тем, чего не хватало его критикам: глубоким пониманием безграничных возможностей социализма, в котором видел не только новый механизм для преобразования общества, но также и средство для обновления души.

Моррис не думал, что социализм сделает людей совершенными или что прекратятся страдания или исчезнет глупость, и он не пишет об этом в «Вестях ниоткуда»; более того, он даже уклоняется в сторону, чтобы указать на некоторые источники несчастий, которые, по его мнению, все еще сохраняются. Одновременно он настаивает на том, что в новом мире «ясных и прозрачных человеческих взаимоотношений» все проблемы жизни будут обсуждаться на новом и более высоком уровне и найдут свое разрешение. В его Утопии человек делается свободным в самом полном смысле этого слова: господином своего окружения и себя самого.

«Вам должно быть известно, что люди нашего поколения сильны, здоровы телом и живут легко; мы проводим свою жизнь в разумной борьбе с природой, упражняя не одну какую-нибудь свою способность, а все способности, и извлекаем самое острое удовольствие из того, что живем одной жизнью с миром. Для нас является вопросом чести не замыкаться в себе и не думать, что мир должен кончиться, потому что один человек огорчен; поэтому мы считаем глупым или даже преступным придавать чрезмерное значение всем этим вопросам чувства и чувствительности... Поэтому мы отбрасываем прочь все эти огорчения, и возможно, что чувствительные люди сочтут наш способ избавляться от них достойным осуждения и негероическим, однако мы полагаем, что он необходим и подобает настоящим людям».

Именно потому, что Моррис настаивал на человечности, его книга смогла достичь таких высот, но по этой же причине ее часто не понимали. Поскольку он не давал втянуть себя во второстепенные детали техники производства, на него стали смотреть, как на разрушителя машин, и очень распространен взгляд, что «Вести ниоткуда» — книга, призывающая к возвращению к средневековым методам, когда все делалось вручную. Справедливо, что Моррис, очень любивший ручной труд и сам искусный ремесленник, гораздо больше обращает внимания на данную сторону жизни, чем это сделали бы другие писатели, и мне кажется, что в «Вестях ниоткуда» эта тема иногда настолько разрабатывается и разукрашивается, что грозит нарушить равновесие всего произведения; однако мы не должны забывать, что он писал сказку, а не трактат. Вместе с тем совершенно неверно, что Моррис был в принципе враждебен механизации: он лишь настаивает на том, что при капитализме машины используются не для пользы рабочего населения, а для его эксплуатации, как стал бы настаивать любой социалист. Об этом совершенно ясно сказано, например, в «Полезной работе против бесполезного труда» — памфлете, написанном для Социалистической лиги в 1885 году:

«Наша эпоха изобрела машины, которые показались бы дикими бреднями людям прошлых

веков, но до сих пор мы еще не извлекли из них пользы.

Их называют машинами, «экономящими труд», подразумевая под этим то, что мы от них ожидаем; однако на деле мы не получаем от них того, на что надеемся. Эффект современного применения машин можно определить как перевод квалифицированного рабочего в разряд неквалифицированных. Они увеличивают ряды «резервной армии труда», то есть увеличивают необеспеченность жизни среди рабочих и делают более изнурительным труд тех, кто обслуживает машины (как рабы своих господ). Все это машины выполняют между прочим, в основном же они накапливают прибыли нанимателей рабочих или заставляют их использовать эти прибыли для отчаянной торговой войны между собой. В обществе, правильно устроенном, эти чудеса изобретательской мысли были бы впервые применены для доведения до минимума количества времени, расходуемого на непривлекательные виды работ, и таким путем они бы в конце концов сократились настолько, что стали бы лишь очень легким бременем для каждого человека. Тем более, что все эти машины будут еще значительно усовершенствованы, поскольку уже не будет ставиться вопрос — выгодно ли это для отдельного лица, а встанет другой вопрос — насколько от этого выиграет общество?»

Эта точка зрения, которой Моррис всегда придерживался, может быть прослежена и в «Вестях ниоткуда» любым человеком, готовым прочесть эту книгу без предвзятого мнения. В социалистической Англии Морриса «вся работа, которую было бы слишком тяжело производить вручную, выполняется неизмеримо усовершенствованными машинами». Это не приводит к сосредоточиванию населения в обширных промышленных центрах, потому что «большие изменения в использовании механической силы» делают ее ненужной. «Почему, — спрашивается в книге, — люди должны собираться кучно, чтобы использовать механическую силу, если они могут иметь ее у себя на месте, где они живут, или рядом, соединяясь по двое или по трое, или же оставаясь в одиночестве?» Многие утописты, начиная с Мора, рассмат-

ривали разделение на город и деревню как растущее зло. Маркс говорил, что одной из задач социализма является уничтожение этого разделения. Моррис первым заговорил о месте, которое займут планы электрификации — подобные тем, которые сейчас выполняются в СССР, — в жизни будущего общества, и в его намеках больше научного подхода к вопросу, чем во всех искусных построениях Беллами.

Моррис рассматривал это изменение в использовании механической силы как фактор диалектики истории:

«Таково положение. Англия была когда-то страной, покрытой лесами и пустошами, с кое-где разбросанными городами, служившими крепостями для феодальных войск, рынками для населения и местами, куда стекались ремесленники. Затем она превратилась в страну огромных и вонючих фабрик и еще более вонючих игорных притонов, окруженных убогими, плохо устроенными фермами, ограбленными владельцами заводов. Теперь это сад, в котором ничего не портится и ничего не выбрасывается зря, с необходимыми жилищами, складами и заводами, возведенными тут и там по всей стране; все аккуратно, красиво и нарядно. Нам было бы слишком стыдно самих себя, если бы мы допустили, чтобы производство товаров, даже в больших масштабах, повлекло за собой запустение и нищету».

В остальном Моррис ограничивается откровенным заявлением, что придумывание технических подробностей не в его компетенции. Так, увидев на Темзе вереницу «силовых барж», он написал:

«Я понял, что эти «силовые суда» заменили каким-то образом наш старый пароходный транспорт. Но я остерегся задавать дополнительные вопросы о них, так как прекрасно сознавал, что никогда не смогу понять, каким образом они действуют, и, кроме того, мне не хотелось выдавать себя или вызвать какие-нибудь осложнения, с которыми я не мог бы справиться. Поэтому я только сказал: «Да, конечно, я понимаю!»

Поднятый Моррисом вопрос о машинах и отношениях между городом и деревней имеет большое значение, так как показывает, насколько неправильно его обычно истол-

ковывают и как верно применялись Моррисом принципы марксизма. Его марксистское понимание можно также проследить буквально в любом вопросе, которого он касается, но лучше всего оно обнаруживается в главе, названной «Как совершилась перемена», в которой описывается революция, сбросившая капитализм и установившая социализм.

Моррис был окружен, с одной стороны, фабианцами, отделявшими социализм от классовой борьбы своей верой в постепенное перерождение капитализма изнутри, а с другой — анархистами, которые практически также отказались от классовой борьбы, так как превратили битву за социализм в заговор, в котором масса рабочих играла лишь второстепенную роль. Хотя Моррис делал немало тактических ошибок, он всегда придерживался марксистского взгляда на то, что социализм мог прийти только посредством захвата власти рабочим классом, то есть того, что он всегда подразумевал под словом «революция». В «Вестях ниоткуда» он описывает именно такой захват власти, основываясь на опыте, извлеченном из событий истекшего десятилетия: волнений безработных, борьбы за свободу слова, завершившейся кровавым воскресением (13 ноября 1887 года), и огромной волны забастовок 1888 года, сопровождавшихся оживлением профсоюзного движения.

Многие подробности этой революции, которую Моррис отнес к 1952 году, кажутся теперь устаревшими и невероятными, но в целом он дал рассказ более убедительный, чем любое другое описание вымышленной революции, и я думаю, что эта общая удача обусловлена тем, что он писал, основываясь на фактах современного ему движения, тогда как отдельные фальшивые ноты в его описании отражают слабость и незрелость этого движения. Сказалась и та тщательность, с которой Моррис изучал социализм, как науку классовой борьбы. Этот его взгляд на социализм многократно и совершенно отчетливо проявляется в описании того, как в борьбе развивается сознательность рабочих от чувства профсоюзной солидарности до более высокого уровня — политической сознательности; какую роль в развитии борьбы сыграла кровавая расправа на Трафальгар-сквере — событие, которое вызвало качественное изменение в соотношении сил, — и, наконец, в описании того, как ра-

бочие уже в ходе революции быстро создают и совершенствуют необходимые формы организации борьбы. Очень интересно отметить его понимание — без сомнения, неполное по сравнению с более поздним учением Ленина, но замечательное на этом раннем этапе рабочего движения — необходимости революционной партии:

«Но теперь, когда время потребовало немедленных действий, выдвинулись люди, способные их начать. Очень быстро выросла целая сеть рабочих организаций, единственной открыто признанной целью которых было благополучно провести корабль государства через бурные волны общественной борьбы в гавань естественного состояния общества — к коммунизму. А так как они практически взяли на себя руководство повседневной борьбой рабочих, то очень скоро сделались рупором и представителем интересов всего рабочего класса».

Моррис также ясно высказывается по вопросам государства, законодательства, колониального гнета, но его проницательность нигде не проявляется острее, чем в том отрывке, в котором он использует марксистскую мысль, что революция нужна для перевоспитания рабочего класса и подготовки его к социализму не менее, чем для свержения капитализма:

«Лень, безнадежность и, если можно так выразиться, малодушие прошлого века уступили место страстному, неукротимому героизму ясно выраженного революционного периода. Нельзя сказать, что люди того времени уже предвидели, как мы будем жить теперь, но в них был заложен инстинкт стремления к существенным чертам этой жизни, и многие люди тогда видели, что за отчаянной борьбой тех дней наступит мир, который она должна привести за собой...

Самый конфликт, происходивший в те дни, когда, как я сказал вам, люди, сколько-нибудь сильные духом, отбросили всякую заботу об обычных житейских делах, создавал в их среде таланты для ведения борьбы. На основании всего, что мне пришлось читать и слышать, я сомневаюсь, чтобы среди рабочих могли развиваться нужные административные таланты без гражданской войны, кажущей-

ся такой ужасной. Как бы то ни было, война произошла, и они очень скоро сделались руководителями гораздо лучшими, чем самые способные люди среди реакционеров».

После стольких утопий, бывших либо чистой фантазией, либо скучнейшим гаданием, а то смесью того и другого, нельзя не признать выдающегося значения за этой утопией, научной в том смысле, что она выводится из настоящего и из существующих классовых отношений. Однако этого одного было недостаточно, чтобы «Вести ниоткуда» получили то признание, которым они пользуются теперь. В этой книге применение научного метода сочетается с фантазией большого поэта, поэтому она описывает не только такую Утопию, в возможность которой легко поверить, но и такую, в которой нам хотелось бы

жить. Моррис вложил в свою утопию не только свои политический опыт, но и все свое знание жизни, всю свою любовь к человечеству и природе. Мне кажется, что его участие в профсоюзном движении дало ему возможность слиться с народом не только политически, но и в мечтах, так что в «Вестях ниоткуда» воплощены глубокие и неумирающие надежды и желания не только одного человека, но и всей нации. В диалектическом развитии английской утопии «Вести ниоткуда» представляют заключительный синтез.

Мы видели, как утопия начиналась со «Страны Кокейн» — мечты серва о мире покоя, досуга и изобилия, и мы смогли проследить, как сон о Кокейне превратился в скрытую, почти тайную традицию, тогда как главный поток утопической мысли устремился по иным каналам. Великие литературные утопии были созданием ученых или философов, а нередко педантов, и если они и отражают историческое развитие, то только косвенно и представляют в искаженном виде борьбу и надежды народа. В Моррисе оба течения снова сливаются, и не только потому, что он был гениальным человеком, но и потому, что он посредством своего воображения и разума познал философию рабочего класса. Это можно иллюстрировать небольшим примером.

Надменные критики порицали Морриса за то, что во все время его путешествия в будущее светит солнце, «тогда как, — говорят они, — мы хорошо знаем, что в Англии постоянно идет дождь и так будет продолжаться

при любой социальной системе». Такая критика возможна только потому, что авторы ее забывают, что Англия в «Вестях ниоткуда» — это страна Кокейн, а в Кокейне возможно иметь ту погоду, какую пожелаешь. Бездельные поэты, создававшие многочисленные варианты Кокейна, символически выражали мысль, что человек делается господином всего окружающего, вместо того, чтобы быть его рабом. И Моррис, отождествивший себя с ними, пользуется, совершенно естественно и, может быть, бессознательно, тем же древним символом, чтобы выразить одну из важнейших истин социализма.

Этот синтез самой древней мудрости с самой современной, ума — с воображением, революционной борьбы — с простой любовью к земле и придает «Вестям ниоткуда» их исключительную литературную ценность. Это единственная утопия, которая от начала до конца читается с большим волнением, Мор может тронуть нас своим описанием огораживаний, но не своей Утопией. Свифт может заставить нас разделить его гнев и соболезновать его страданиям, но мы не могли бы выдержать жизни его гуинггмов; за Моррисом мы можем следовать повсюду. Нам понятны волнение и удивление, испытываемые при пробуждении в преобразившемся Лондоне, радость и простота новой жизни в нем, напряженность и бурность революционных лет, слава Англии, спасенной и очищенной от грязи и унижения капитализма.

Везде в книге чувствуется, что Моррис, рассказывая об Утопии, облекает в новую форму свои личные воспоминания, и полнее всего он воплощает их в той волшебной, чудесной поездке по Темзе, которой заканчиваются «Вести ниоткуда». Он часто сам совершал ее, и в описанной вымышленной поездке чувствуется, как, путешествуя на самом деле, он в мыслях срывал с каждого местечка и городка их вульгарность и всю скверну буржуазных удовольствий и буржуазной погони за барышами. Его глазами мы видим Хэмптон, Ридинг, Виндзор, Оксфорд, но не такими, какими они были в 1890 году, а такими, какими, как он часто мечтал, они должны стать в будущем. В конце пути стоял его излюбленный дом в Келмскотте, дом, которым он никогда не мог до конца насладиться, так как сознавал, что он составляет часть страдающего мира; однако это сознание неспособно было полностью лишить его надежд, потому что Моррис

стал социалистом прежде всего благодаря своему уменью быть счастливым. В июне 1890 года, перед тем как он приступил к работе над «Вестями ниоткуда», он наслаждался картиной сенокоса в Келмскотте:

«Уборка сена спорится, как никогда; мне кажется, что такая благоприятная погода для уборки случается нечасто; замечательные травы и чудесная погода, чтобы их убрать; во всем прочем деревня — один сплошной букет, ароматы дивные, иначе не скажешь; жизнь у нас, людей отдыхающих, роскошна до того, что заставляет чувствовать себя точно во власти чар».

Все это в измененном виде появляется на превосходных последних страницах «Вестей ниоткуда»: небывалый укос, жаркие июньские дни, старинный тонущий в ароматах дом, но это уже не оазис в мире ужасов торгашества, а жилище, получившее новую красоту и достоинство благодаря новым формам использования и новой окружающей среде. Чувствуется неомраченная радость, всем можно наслаждаться без чувства вины (хотя Моррис, конечно, более кого-либо другого заработал право наслаждаться), и, наконец, всюду разлитое ощущение волшебной заколдованности. В Келмскотте кончается путешествие Морриса. Он входит туда тенью прошлого, с сознанием, что все это вымышленное счастье создано не для него, понимая и то, что он и его вновь обретенные друзья, в ту минуту более живые, чем люди из реального мира, разделены пропастью; он и они могут разглядывать через нее и звать друг друга, но не могут найти форм более тесного общения. Капля за каплей радость и красота будущей жизни уходят, ускользают между пальцев, его восприятие ослабевает, и он идет прочь, чтобы встретить представителя прошлого, к которому ему приходится вернуться.

«Этот человек выглядел старым, но я уже по давней, полузабытой привычке знал, что ему на самом деле немногим более пятидесяти (это был настоящий возраст самого Морриса). Его лицо было грубым и скорее закопченным, чем грязным, его тусклые глаза были затуманены, тело согнуто, его икры тонки, а ноги дрожали и волочились. Его одежда состояла из грязных отрепьев, которые я слишком хорошо помнил. Когда я проходил мимо,

он довольно охотно и вежливо, однако очень подострастно, приподнял шляпу».

Этот эпизод чрезвычайно волнующий, но это еще не конец. Новый мир исчезает, его время еще не пришло, но Моррис понимал и оказался в состоянии убедить нас в том, что то, что он придумал, было по своей сути верным, что этот мир существует и мы должны его искать и со временем найдем. Более трехсот лет до него Мор закончил свой рассказ о коммунистическом обществе грустным признанием: «Я охотно признаю, что в утопической республике имеется очень много такого, чего я более желаю в наших государствах, нежели ожидаю». У Мора не было надежды, потому что он был один. Моррис же писал, ощущая полноту собственной жизни, на основе своего опыта в борьбе за социализм и сотрудничества с другими участниками этой борьбы, и поэтому его заключение было совершенно иным:

«Безусловно, да! И если другие смогли это увидеть так же, как и я, то это уже нельзя называть сном, а скорее видением».

3. Создание Призрака

Утопии Беллами и Морриса выделяются среди других, но они далеко не единственные, в которых затрагивается тема социализма в последние годы XIX века и начале XX века. Дело в том, что становилось все более и более очевидным, что социализм сделался единственным вопросом, который подлежал обсуждению писателями-утопистами, если они хотели оставаться в рамках реальных проблем, так как социализм стал незыблемой антитезой капитализма и его логическим историческим преемником. Куда идет капиталистическое общество? Возможно ли практическое осуществление социализма? Если да, то желательно ли это? Если нет, можно ли его предупредить? И наконец, какова будет жизнь при социализме? Таковы были обсуждавшиеся тогда вопросы.

Мы видели, как Моррис и Беллами ответили на них, каждый по-своему, и по мере того, как обсуждение продолжалось, страх буржуазии все возрастал. Он в какой-то мере не исчезал никогда полностью, и так как за Парижской Коммуной последовали усиление мирового профсоюзного движения, успехи социалистических партий в

ряде стран, русская революция 1905 года и все более острые кризисы, сопровождавшиеся массовой безработицей, то и страх буржуазии все время увеличивался. В то же время росла тревога средних классов из-за роста монополий, как потому, что в нем таилась для них угроза сама по себе, так и из-за того, что он вел к принятию контрмер со стороны рабочих. Если рабочие все больше и больше обращались в сторону социализма, видя в нем путь избавления от трудностей, то капиталисты стали сомневаться в незыблемости установленного ими строя и чувствовать, что мир может обходиться без них и вскоре попытается это сделать.

Популярность книг «Через сто лет» и «Вести ниоткуда» была сама по себе угрозой и вызовом; эти книги оказали серьезное влияние, и на них надо было ответить. И такие ответы были написаны, но они никакого эффекта не произвели и давно уже теперь лежат на свалке литературной макулатуры. Кто, например, читал или даже слышал о книгах «Приключения м-ра Иста в стране, м-ра Беллами» или «После сна»? Кроме того, поскольку успехи социализма носили международный характер и утопии Беллами и Морриса были переведены на разные языки и широко распространены, то и дискуссия приобрела более интернациональный характер; и в этом разделе нам придется рассматривать книги, появившиеся не только в Англии, но и в Америке, Германии и Австрии.

Английский перевод «Приключений м-ра Иста в стране м-ра Беллами» немецкого автора Конрада Вильбрандта появился в Нью-Йорке в 1891 году. Это тяжелая и бесплодно полемическая тевтонская работа, насыщенная терминами академического политико-экономического жаргона. Ее основной положительный вывод состоит, пожалуй, в том, что революция является результатом тарифов, и если война разрушит основные иностранные рынки, то социалистическое государство должно развалиться из-за отсутствия капитала (!).

Тот факт, что с подобным ответом на книгу «Через сто лет» так поспешили за границей, представляет убедительное доказательство произведенного ею эффекта. Не менее знаменательно и то, что еще в 1900 году считалось нужным отвечать на эту книгу, и именно тогда был напечатан в Лондоне роман «После сна. Продолжение книги «Через сто лет» покойного м-ра Беллами». В нем герой романа

Беллами — Джулиан Уэст заявляет, что ему нужно добавить кое-что к тому, что он раньше рассказал Беллами. Эта книга получилась более жизненной, чем произведение не только Вильбрандта, но и самого Беллами. Основные доводы ее звучат не слишком убедительно, но там есть несколько красноречивых штрихов, удачно критикующих манеру Беллами высокопарно распространяться о технических деталях, как, например, при описании опасностей и трудностей движения по улицам, заполненным бесчисленными пневматическими трубами всех размеров для доставки на дом товаров с национальных складов.

Типичным является доведение до нелепости положения Беллами об автоматическом регулировании часов работы в разных отраслях производства. Уэст объясняет, что трудность подыскания людей для работы в похоронных бюро была настолько велика, что их рабочий день был доведен до пяти минут, так что одни похороны обслуживали, работая посменно, 4362 человека. Чтобы бороться с этим, была открыта школа, где дети упражнялись в процедуре похорон на гигантской модели малиновки.

«Ученики набираются среди подростков, проявивших необычайные признаки мягкосердия: мысль заключается в том, что, если приучить их еще в раннем возрасте к похоронным обрядам, в будущем найдется много желающих добровольно выбрать эту профессию, что позволит увеличить время работы, а это, в свою очередь, поведет к значительному сокращению расходов общества».

Профессия артиста, наоборот, привлекала столько желающих, что тут можно было ввести полный восьмичасовой рабочий день, а актеров то и дело терзали инспекторы.

Окончательное посрамление Джулиана Уэста произошло, когда ему было поручено чистить отхожие места и когда он обнаружил, что Эдит Лит (которая оказалась «лэди») работает в прачечной. Его не очень вдохновляющее заключение состоит в том, что:

«Мир не требовал, как я установил, реконструкции на новых основах, нужно было лишь создать более высокие идеалы у трудящихся масс».

Он не говорит о том, считает ли он высокие идеалы ненужными для высших классов или полагает, что они уже достаточно ими проникнуты.

Ни одна из этих книг не имеет серьезного значения как критика социализма, но обе служат до известной степени противовесом бюрократическим искажениям сугубо механического эгалитаризма утопии Беллами, то есть ее наиболее немарксистских сторон. В этом смысле они подтверждают справедливость предостережения Морриса против опасных тенденций книги «Через сто лет».

Помимо этих двух прямых ответов Беллами, в тот период появились, по крайней мере, четыре антисоциалистические утопии. Самая ранняя из них — «Через зодиак» Перси Грэга — издана в Лондоне в 1880 году. О Грэге, ланкаширском журналисте, мы находим такую справку в Словаре национальных биографий:

«В молодости сторонник светского образования, в среднем возрасте спиритуалист, затем поборник феодализма и абсолютизма и особенно ярый противник Соединенных Штатов».

Грэг пусть только поверхностно, но все же был знаком с марксизмом, что является редкостью в Англии того времени, и, нападая на социализм, он пользуется своеобразным историческим методом, который интересен тем, что является предшественником более современных попыток связать коммунизм с фашизмом. Герой книги достигает Марса в межпланетном корабле и обнаруживает там мир, подобный тому, в который, как он явно опасается, превратится ваш мир примерно через несколько веков.

Создание марсианского мирового государства со всеобщим избирательным правом положило начало длинному периоду классовой войны, завершающейся пролетарской революцией и всемирным коммунизмом. Результаты (само собой разумеется) губительные:

«Первым и наиболее очевидным последствием коммунизма было полное исчезновение всевозможных предметов роскоши, всякого продовольствия, одежды, мебели, кроме самой элементарной утвари, доступной беднейшим людям».

Недовольные группы населения постепенно уходили в менее плодородные части планеты и там образовали соперничающее государство. Последовала длительная, с

перерывами, война. Она закончилась уничтожением коммунизма и установлением мирового тоталитарного государства. Оно оказалось более жизнеспособным, чем его коммунистический соперник, но, с точки зрения Грэга, также не заслуживающим особого восторга.

Это общество было основано на частной собственности, но фактически у его граждан не было личной жизни. Семья перестала существовать, брак сделался коммерческой сделкой, а женщины строго запирались дома и не имели никаких прав. Новое общество было «материалистическим», атеизм возведен в догмат и высказывание малейших сомнений в непогрешимости науки могло повести к водворению в дом умалишенных. Государство было авторитарным, с обладающим неограниченной властью правителем, «кампетэ» (campete), произвольно отобранным, а все остальные должностные лица выбирались на основании чего-то вроде «принципа лидерства». Система правления была грубо репрессивной, причем заключенные систематически подвергались пытке.

Однако ко времени посещения его героем книги марсианское государство было изнутри подточено тайным обществом скорее религиозного, чем политического характера, отвергавшим официальный атеизм и обычай передавать детей в распоряжение государства. Конфликт остается неразрешенным, но Грэг дает понять, что со временем тоталитарное государство будет уничтожено. «Через зодиак», несмотря на старомодность в подробностях и напыщенный, торжественный стиль, все же звучит до странности знакомо: все современные штампы о коммунизме, тоталитаризме и «свободном мире» можно видеть тут еще в стадии выработки: тоталитаризм представлен как логический ответ на коммунизм, и оба критикуются с феодально-романтических позиций, причем сильно обыгрываются мотивы «рыцарства» и «христианских ценностей».

Книга, в некоторых отношениях аналогичная, была опубликована в Америке в 1890 году. Несмотря на свой фантастический характер, она имела значительный, хотя и кратковременный успех. Мы говорим о «Колонне Цезаря» Игнатиуса Доннели. Доннели родился в 1831 году в Филадельфии, переселился на Запад и осел в Миннесоте. Во время гражданской войны был вице-губернатором, а впоследствии грэнджером и ведущей фигурой в партии

популистов. Доннели — очень типичный мелкобуржуазный радикал Пограничных штатов, непоследовательный, эксцентричный (он одновременно верил и в теорию Бэкона и в историческое существование Атлантиды), но пронизательный и мужественный человек, безоговорочный противник подкупов и монополий.

Он близко сталкивался с продажностью американских политиков, так как около 1889 года был членом того сената штата Миннесота, о котором биограф Доннели писал:

«Один сенатор обвинял другого в том, что за его избрание было заплачено 25 тысяч долларов, и брался это доказать. И это высокое собрание даже не сочло нужным назначить расследования. Говорили, что в сенате тридцать членов заключили между собой соглашение, и их уполномоченный продавал их голоса по всем важным вопросам, «как продают пучок спаржи», по выражению Доннели. По единогласному отзыву народа, это был худший законодательный орган, когда-либо существовавший на свете».

«Колонна Цезаря» обязана своим появлением тем впечатлениям, которые автор вынес из своей политической карьеры. В этой книге некто Габриэль Вельштейн, чрезвычайно простодушный молодой человек швейцарского происхождения, приезжает из Восточной Африки в Нью-Йорк в 1888 году. Он там видит, что система монопольного капитализма превратилась в систему невиданных злоупотреблений. В ряде драматических глав описываются пороки и эгоизм богачей, одичание и нарастающее возмущение масс, завершившееся стихийным взрывом, составляющим часть всемирного восстания, во время которого рабочие разрушают капитализм и его цивилизацию под предводительством тайного и в высшей степени зловредного «Братства разрушителей». Это восстание не имеет ни плана, ни цели, но ведет к массовым убийствам и беспорядкам, достигающим высшей точки в эпизоде, от которого книга берет свое название.

Улицы Нью-Йорка устланы таким количеством трупов, что лидер восстания, Цезарь Ломеллини, решает соорудить из них колонну: мертвые тела укладываются рядами и заливаются бетоном. Вельштейн составляет для этой колонны надпись, представляющую эпитафию цивилизации:

«ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ПАМЯТНИК СООРУЖЕН ЦЕЗАРЕМ
ЛОМЕЛЛИНИ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ «БРАТСТВА
РАЗРУШЕНИЯ», В ПАМЯТЬ
СМЕРТИ И ПОГРЕБЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Она сооружена из тел четверти миллиона человеческих существ, которые когда-то были правителями или орудиями правителей этого могучего, но — увы! — разрушенного города.

Они были под властью дурных правителей.

Они подкупали суд, присяжных, газеты, законодателей, конгрессы, избирательные камеры и сердца и души населения.

Они проводили чудовищные комбинации, чтобы грабить бедных; чтобы сделать несчастных еще более несчастными; чтобы взять у тех, у кого было меньше, и отдать тем, у кого было больше.

Они использовали аппарат свободного правления, чтобы угнетать; они сделали из свободы насмешку и фарс — из ее традиций. Они изгнали из страны справедливость и водворили на ее место жестокость, невежество, отчаяние и порок.

Их сердца были тверже камня; они унижали человечество и оскорбляли Бога.

Наконец возмущение достигло просторных судилищ неба; и отягощенное человечество подняло всемирное восстание на всей земле.

Они погибли от тех орудий, которые сами изобрели в своей злонамеренности, и теперь лежат здесь погребенные в камне...

Если цивилизации еще суждено воскреснуть на земле, пусть придут сюда люди, посмотрят на эту башню и пусть учатся обуздывать эгоизм и жить по правде. Пусть они из этого жуткого памятника извлекут тот урок, что ни одно земное правительство не может существовать, если оно не основано на милосердии, справедливости, правде и любви.

Пораженный всем виденным зрелищем мертвой цивилизации не менее, чем осудившим ее приговором, Велыптейн бежит назад, в далекую Африку, в одно из немногих мест, не задетых катастрофой, и там принимается за устройство республики на принципах, способных, по его мнению, устранить опасность классовой борь-

бы. Тут высказывается старая мечта мелкобуржуазных радикалов о свободном предпринимательстве без эксплуатации, очень схожая с тем, что Доннели и его единомышленники-популисты хотели иметь в Америке. Нельзя сомневаться в искренности его намерений; но его беспомощность при его ненависти к монополистическому капитализму, с одной стороны, и страхе перед рабочим классом и непониманием его — с другой, также очевидна.

Другой утопией, также обещавшей свободное предпринимательство без эксплуатации в одном из поселений в Восточной Африке, была книга «Свободная страна. Социальный прогноз», опубликованная в 1890 году австрийским экономистом Теодором Герцкой. Это совпадение покажется менее удивительным, если вспомнить, что в результате путешествий по Восточной Африке, предпринятых в те годы, были обнаружены большие площади, пригодные по климату для поселения европейцев, и что страна была как раз накануне освоения. Обе книги были написаны в те годы, когда Британская восточно-африканская компания подготавливала формальную аннексию всей области. Утопия Герцки несколько выделяется тем, что вместо того, чтобы изображать общество как действующее предприятие, она показывает, как его закладывают и развивают. Он, как и Кабэ, был свидетелем попыток осуществить на практике его фантазии. Результаты, однако, были еще ничтожнее, чем у икарийцев.

Рассказ об основании Свободной страны изобилует тщательно обрисованными деталями, вплоть до экипировки каждого члена разведывательной партии «шестью полными комплектами нижнего белья из легкого упругого шерстяного материала, так называемого «егерского белья». Нетрудно себе представить, что при таком старте все дальнейшие препятствия на пути становления утопического государства устраняются самым блистательным образом.

Это государство основывается на общности владения землей, сочетающегося со свободным предпринимательством в области производства. Любой человек или группа людей могут получать беспроцентные ссуды на организацию предприятий, которые разрешено создать, причем заем погашается взносами. Основная часть продукции производится кооперативными организациями, продукты потребления распределяются между гражданами в соот-

вышленной ими работой. Обеспечиваются продуктами женщины, дети и нетрудоспособные. Свободная страна — это Утопия просвещенного эгоизма.

«Все было организовано так, чтобы по возможности устранить все препятствия на пути проявления разумного частного интереса. Становилось особенно важно дать надлежащее направление высшей воле в государстве и всемерно помочь эгоистическим интересам быстро и правильно осознать свою истинную выгоду».

Ни коммунизм, ни нигилизм — два пугала тех дней — не смогли привиться в подобной стране, это следует считать явлением скорее отрадным, чем достойным удивления.

Почти все, что было сказано об ответе на «Через сто лет», можно отнести и к «Картинам социалистического будущего» Эйгена Рихтера (1893). Он рисует явно нелепую картину социализма, опровергнутую всем тем, что произошло с 1917 года. Его социалистическое правительство конфискует личную собственность и мелкие сбережения и упраздняет деньги. Детей отбирают у родителей, престарелых людей заставляют селиться в особых домах. Все, вплоть до самого мелкого предприятия с одним рабочим, национализируется в течение суток. Немудрено, что после таких мер напрашивается вывод (неверность которого теперь доказана на практике), что социализм поведет к падению производства продукции, так что рабочие будут получать меньше, чем при капитализме. Перед нами снова обычная картина полицейского государства, в котором бюрократические безумства и злоупотребления привели угнетенных до крайности рабочих к восстанию. Тут можно еще раз указать на то, что некоторое оправдание картине, нарисованной Рихтером, можно найти в тех оппортунистических ошибках и недиалектическом мышлении, которые уже тогда проявлялись в социал-демократической партии в Германии и в других странах.

Более интересная работа, построенная по той же схеме, принадлежит Эрнесту Брама. Мы имеем в виду его «Что могло бы быть; история социальной войны» (1907), переизданную в 1909 году под более известным заглавием «Секрет лиги». Во время всеобщих выборов 1906 года в парламент прошло около сорока лейбористов и членов тред-юнионов, что вызвало тревогу у тех, кто привык счи-

тать это учреждение заповедником, доступным лишь высшим и средним классам. Книга Брама выражает эту тревогу, и повествование начинается с 1918 года, когда в Англии происходят новые выборы, во время которых «умеренное» лейбористское правительство заменяется социалистическим. У Брама этот процесс восхитительно прост:

«Партия лейбористов пришла к власти, доказав выборщикам из рабочих, что члены ее — их братья, и пообещав им значительную часть той собственности, которая принадлежала другим, а также достаточно много привилегий, которые она гневно осуждала, когда они были присвоены другим классам. Придя к власти, она сделала выборы доступными для всех. Социалистическая партия пришла к власти благодаря тому, что доказала выборщикам из рабочих, что члены ее даже больше, чем их братья, и пообещала им еще большую часть собственности других людей (среди которых были и более состоятельные члены партии лейбористов, находившейся тогда у власти) и еще большие привилегии».

Новое социалистическое правительство, несмотря на свое название, не пытается провести коренные преобразования, но удовлетворяется тем, что вводит прогрессивный налог для финансирования «Страны благоденствия», основанной на существующей капиталистической системе производства. Результаты вызвали сильную ненависть верхних классов и особенно средних, а выигрыш рабочих оказался на поверку очень незначительным:

«Это был почти «золотой век». Единственным недостатком было то, что рабочий человек в финансовом отношении оказался в положении, весьма сходном с положением колриджевского старого моряка. Для него и ради него тратилось много денег, однако в его кармане никогда не было ни гроша. Положение жен рабочих было еще хуже».

Брама, повидимому, не мог себе представить, чтобы социализм означал что-либо, кроме бессмысленного грабежа, и книга его, невежественная и глупая одновременно, наполнена неприкрытой ненавистью и презрением к рабочему классу. Известный интерес этой книге придает то, что она, во-первых, является отражением роста лейбори-

стской партии и, во-вторых, совершенно произвольно демонстрирует, насколько несостоятельна попытка построить благоденствующее государство, если оставлять в руках класса капиталистов ту власть, которую они имеют благодаря владению средствами производства.

Далее книга повествует об увеличивающихся трудностях правительства и поражении, нанесенном ему «Лигой единения», полулегальной организацией, куда влилось все население, кроме чернорабочих. Метод лиги заключался в неожиданном отказе, от имени всех своих членов, от пользования углем. Одновременно лига путем сговора с заинтересованными иностранными государствами обеспечила наложение эмбарго на британский уголь в главных странах-потребителях — все это из самых патристических чувств и побуждений. Наконец, после государственного переворота лига завладевает властью и устанавливает парламентскую диктатуру при помощи самых простых средств: она практически лишает голоса весь рабочий класс — шаг, который Брама одобряет, рассуждая примерно, как Айртон, ссылавшийся на то, что во всякой акционерной компании при голосовании по вопросам ее деятельности число голосов, которыми обладают пайщики компании, пропорционально количеству вложенного ими капитала.

В том же 1907 году была опубликована еще одна книга, касающаяся того же великого спора, но на этот раз социалистическая по своему духу. «Железная пята» Джека Лондона уже давно признана классическим произведением рабочего движения, и я не намерен подробно обсуждать его здесь. Она имеет безусловную ценность, потому что Лондон, несмотря на свою теоретическую слабость, с большой силой и мастерством описывает ближайшее будущее с марксистской точки зрения. Именно его талант позволил ему разгадать сущность врага, понять жестокость и беспринципность правящих классов и то, что они пойдут на что угодно, лишь бы сохранить свою власть. Благодаря этому пониманию он смог предвидеть возникновение фашизма и особенно той новой его разновидности, которая, как это особенно ясно видно нам теперь, грозит возникнуть из американского империализма. А главное, Лондон видел, что фашизм — не таинственная болезнь, но нечто естественно возникающее при некоторых обстоятельствах в период загнивания капитализма.

В одном отношении «Железная пята» была «старомодной» уже в момент своего появления: в этой книге принято за аксиому, что социализм является революционным убеждением, тогда как везде в Европе и Америке реакционные лидеры пытались скрыть этот неудобный для них факт. В 1907 году империализм уже сильно прогрессировал в своей новой стадии, а с ним рос и оппортунизм в рабочем движении. Соответственно изменилась и природа утопических чаяний, и если дискуссия все еще продолжалась вокруг вопроса о социализме, то речь шла о другом «социализме». Так мы, говоря о развитии утопии, подошли к периоду, в котором Г. Уэллс был доминирующей фигурой, и нам теперь надлежит обратиться к нему и его идеям, а также к тем возражениям, какие они вызвали.

ГЛАВА VII

ВЧЕРА И ЗАВТРА

Я могу это сказать о сражении при Нэзби¹. Когда я увидел, как враг выстроился там и стал приближаться к нам стройными рядами, а мы, толпа несчастных невежд, не знали даже, как построиться для сражения, и когда генерал² приказал мне командовать всей кавалерией, — я не мог (когда скакал один на лошади по порученному мне делу) не возносить хвалу Богу, будучи уверенным в победе, в том, что Бог сделает тщетными вещи существующие при помощи несуществующих. В этом я был совершенно уверен. И Бог это сделал.

Кромвель, Письма.

— Завтра, — наконец сказал задумчиво Гамбриль.

— Завтра, — прервала его мисс Вивиш, — будет таким же ужасным, как сегодня.

Олдус Хаксли, Античное сено.

1. Утопия из целлофана

Писатели, которых мы касались до сих пор, писали по одной утопии или же, как Свифт, укладывали их в одну книгу. Этого, к сожалению, нельзя сказать про Уэллса. Значительную часть той примерно сотни книг, которую он написал, составляют утопии или же сочинения утопического характера. Сочинений такого рода столько, что нет, конечно, никакой возможности рассмотреть их все. Главные работы, которых я хочу здесь коснуться, следующие: «Когда спящий проснется» (вышла в свет в 1899 г.; переиздана в 1921 г. под названием «Спящий просыпает-

¹ В битве при Нэзби 14 июня 1645 года кавалерия Кромвеля нанесла сокрушительное поражение роялистам-кавалерам. — *Прим. ред.*

² Генерал Томас Ферфакс, главнокомандующий английской парламентской армии; Кромвель был тогда его помощником. — *Прим. ред.*

ся»), «Первые люди на Луне» (1901), «Современная Утопия» (1905), «Новый Макиавелли» (1911), «Освобожденный мир» (1914), «Люди, как боги» (1922), «Грядущее» (1935; переработка для кино книги «Формы грядущего», 1933) и «Разум у своего предела» (1945). Эти книги могут дать достаточно полное представление о сорокалетнем периоде творчества автора.

Самый факт, что Уэллс считал необходимым написать такое количество утопий, дает основание предполагать, что он не был удовлетворен ни одной из них. Так оно и было в действительности. Уэллс всю жизнь постоянно менял свое мнение решительно обо всем и ошибочно принимал за принципы свои предубеждения. Не обладая научным пониманием общества, он вечно попадал в тупик, изолируя и тем самым искажая то одну сторону явления, то другую, давал «социалистическое» или «прогрессивное» толкование каким-нибудь обрывкам буржуазной псевдонауки, вроде неомальтузианства, экономической теории полной занятости Кейнса, психологии юнговского типа и т. п. Он сделал целый ряд предсказаний о будущем, причем каждое имеет псевдонаучный характер, и все они, различаясь друг от друга, претендуют каждая в отдельности на научность.

Чтобы разобраться в этих джунглях эмпиризма, потребовалась бы не одна глава, а целая книга, и я не пытаюсь проводить такого исследования. Вместо этого я хочу последовать методу, отличному от примененного мной ранее, а именно попытаться рассмотреть все эти книги как одно целое, игнорируя расхождения и сосредоточиваясь на основных чертах сходства между ними и на том, что представляется постоянным и действительно характерным для мышления Уэллса. Поэтому я не стану заниматься отдельными утопиями в деталях или вдаваться в их фантастическую структуру, хотя очень важно понять, что Уэллс не в пример большинству других писателей, упоминаемых в этой книге, был профессиональным романистом и обладал большими техническими знаниями.

Уэллс достиг духовной зрелости, а труды его вылились в определенную форму (насколько это вообще возможно у Уэллса) в период становления империализма и в его первую короткую стадию до 1914 года, открывшего эпоху общего кризиса капитализма. Иными словами, Уэллс рос в викторианском мире идеологической путани-

цы, пережитков иррациональных воззрений, игрушечных масштабов конкуренции и экономики мелкого лавочника и дожил до дней, когда становилось все очевиднее, что все это отжило свой век и стало аномальным. Он считал себя, правда не всегда, социалистом, но его социализм исходил скорее от Сен-Симона, Конта и Беллами, чем от Маркса и Морриса. Он видел ошибки старого капитализма и наивно предполагал, что сможет убедить его измениться, отбросить все свои нелепости и сделаться ясным, кротким и благоразумным. По его мнению, плох не самый капитализм, а лишь несовершенства, унаследованные от его ранних стадий, и феодальные пережитки, от которых ему все еще не удалось окончательно избавиться. Приведем такое высказывание героя «Нового Макиавелли», относящееся примерно к 1902 году:

«Неразбериха в умах, — сказал я, — вот враг. Таково мое убеждение сегодня. Ясность и порядок, просвещение и предвидение — вот что поистине хорошо. Именно путаница в умах привела ко все еще болезненно ощущаемым бедствиям и унижениям войны; из-за этой путаницы в городах и промышленных районах все шире распространяются беспорядки, путаница приводит к бесполезному растрачиванию жизней, ограничениям, жалкому положению и безработице бедных. Неразбериха! Я помню, как сам цитировал Кипплинга:

Все время грязь и все время кутерьма.

Все время все делается спустя рукава.

«Мы строим государство», — повторяли мы без конца.

Вот к чему стремимся мы — слуги новой реорганизации! И несколько позднее:

«У меня постоянно было одно желание, владевшее моими мыслями. Я думал, что покину Англию и Британскую империю, устроенными лучше, чем я их застал, я хотел организовывать, вводить дисциплину, создать конструктивное и контролирующее государство из неразберихи окружающего меня мира».

Таким образом, социализм служил в основном средством, чтобы помочь капитализму выбраться из хаоса

детского возраста, тогда как в конце пути светила Утопия Уэллса, стерильный гигиенический мир в целлофане, где все было свежо отполировано всеми рекламируемыми средствами.

Тут Уэллс не был одинок. Он, как и все фабианцы, видел в социализме не новую категорию, а форму социальной гигиены: мир требовалось привести в порядок. Чтобы доказать нелепость и убытки капитализма, фабианцы любили в качестве примера указывать на то, что нередко одну улицу обслуживало шесть молочников, тогда как разнести молоко по ней мог бы с успехом один человек. Вполне справедливо и бесспорно, что социализм покончит с подобными потерями, однако фабианцы просмотрели то, что монополии также могут их устранить, без того, однако, чтобы домашние хозяйки или молочники сделались на волос лучше и даже, наоборот, сделались хуже. Честертон не слишком сильно преувеличивал, когда писал, что

«м-р Сидней Уэбб также говорил, что в будущем порядок и опрятность в жизни народа будут все увеличиваться, а его бедный друг Фиппс, сойдя с ума, бегал повсюду с топором и обрубал ветви на деревьях, если на них росло неодинаковое с разных сторон количество ветвей».

Для Уэллса, как и для всех фабианцев, было что-то весьма импонирующее в империализме, его мощи, отшлифованности, порядке, науке, в его идеале подчиненного и организованного мира, в безудержном техническом прогрессе. Если бы только властители этого нового мира обратились к философам... Не получая такого приглашения, философы должны как-то сами расположить к себе властителей, иметь доступ к ним, убеждать их и должны сами браться за рычаги управления, когда властители глядели в другую сторону, или — на худой конец — писать бесчисленные трактаты и очерки, чтобы указать, как надлежит поступать. Уэллс больше преуспел как памфлетист, чем как влиятельный советник.

Если Уэллс и порвал с Фабианским обществом, то это произошло не потому, что он не соглашался с его основной позицией. Он был фабианцем, стремившимся вложить в фабианство страстную веру, приковывающую силу, придать ему видимость большой научной глубины, которая была ему органически чуждой. Уэллсу удалось толь-

ко вульгаризировать фабианство. Фабианской вере в социализм, как в особый вид гигиены, не хватало чувства и эмоционального подъема, и Уэллс всегда терялся, когда хотел объяснить, для чего нужны его утопии. Как и у империализма, у фабианства нет иной, более высокой цели, кроме самоутверждения самих себя, и очень характерно, что, подобно империализму, прикованному лишь к покорению мира, сверхимпериалистические утопии Уэллса не могут предложить ничего, кроме покорения вселенной. Самурай из «Современной Утопии» вспоминает в минуту сильного возбуждения:

«Я помню, как раз ночью сидел и говорил очень серьезно этим мошенницам-звездам, что в конечном счете и они не уйдут от меня».

Вряд ли Уэллс написал хоть одну утопию, в которой не появлялась в той или иной форме тема межпланетных и межзвездных путешествий.

Если империализм представлял с внешней стороны зрелище внушительное, во всяком случае до 1914 года, то рабочее движение не могло, конечно, произвести впечатление на людей, подобных фабианцам. Это движение было еще неопытным, организационно неоформленным, сектантским и эмоциональным, короче говоря, какой-то кучкой бедных, невежественных людей. Никто из фабианцев не обладал зоркостью Кромвеля, чтобы видеть, что за этой «жалкой кучкой» будущее и именно она обратит в ничто существующие ценности. Поэтому, хотя среди них и были люди значительно умнее Кромвеля, они никогда не одерживали побед. Уэллс в полной мере разделял это отсутствие веры. В «Новом Макиавелли» он выразил это в образе Криса Робинсона (Кейр Харди?), лидера рабочих-социалистов:

«Я смотрел на Криса Робинсона, на его светлые глаза и слегка взъерошенные волосы, на всю его несколько риторическую внешность и сравнил его с гигантской правительственной машиной, запутанной и таинственной. И как же я был растерян!»

Социализм, конечно, не мог водвориться с помощью грубых, невежественных и узколобых рабочих, под руководством таких людей, как Робинсон. Они были неспособны оценить логическую красоту Утопии Уэллса, в которой не было места ни для них, ни для тех, в кого они могли превратиться.

Фредерик Барнет в «Освобожденном мире» встречается безработных рабочих и находит, что они недостаточно отзывчивы:

«Я пытался разговаривать с этими недовольными людьми, но им было трудно смотреть на вещи так, как смотрел я. Когда я говорил им о терпении в широком плане, они отвечали: «Но мы все к этому времени умрем», — и я не мог им втолковать так же просто, как понимал это сам, что это нисколько не касалось всего вопроса. Люди, думающие категориями человеческих жизней, непригодны для государственной деятельности».

В «Освобожденном мире» устанавливается в конце концов утопическое мировое государство, после опустошительной войны и международной конференции королей и президентов, которым для порядка придана горстка ученых и писателей.

Эта уверенность в том, что, как бы ни осуществилась Утопия, это произойдет без участия рабочего класса, определяет взгляды Уэллса от его первой книги до последней. Рабочие не только отстраняются как положительная историческая сила, но, более того, налицо боязнь и действительная, хотя часто скрываемая, ненависть к ним, принимающая порой курьезные формы. Рабочие, появляющиеся на страницах книг Уэллса, всегда неотесанные, низкорослые и нередко изображены уродами, как, например, селениты в романе «Первые люди на Луне». Они живут под землей, не знают солнца и воздуха, как в «Машине времени» или «Когда спящий проснется». То же чувство нередко передается символически, как, например, в знаменитой метафоре в «Киппсе» о людях, ползущих по канализационной трубе до тех пор, пока не умрут. В одной из поздних утопий «Люди как боги» группа представителей английского народа, подобранных случайно, переправляется при помощи какого-то научного фокус-покуса на утопическую планету, и в этой группе рабочий класс представлен двумя окончательно деморализованными шоферами, которые там еще более неуместны, чем сопровождающие их представители правящих классов. Уэллс может возразить, что их поведение вполне правдоподобно, но этим он не отвечает на вопрос: *почему* он считал нужным сделать таких людей представителями рабочего класса?

Наряду с этой боязнью и ненавистью имела место антипатия к Марксу и марксизму. Уэллс, никогда не думавший о том, чтобы постигнуть марксизм, не упускал случая, чтобы над ним поглумиться. Для того, кто видел в социализме главным образом средство заменить шесть молочников одним, марксова концепция истории, его анализ классовой структуры общества, его вера в то, что социализм означает победу рабочего класса, была неприемлема. Всю свою жизнь Уэллс провел в тщетных попытках состряпать свою, соперничающую с марксизмом теорию, в которой сводились бы концы с концами. Поскольку, как мы уже видели, его социализм не был принципиально новой категорией, но лишь иной, более эффективной формой, он мог представлять его разбавленным всевозможными несоциалистическими формами или в комбинации с ними. В «Современной Утопии», представляющей его наиболее классический утопический очерк, в котором он воплотил почти все, что почитал практически пригодным для относительно близкого будущего, описывается смешанная экономика, основанная главным образом на идеях «Свободной страны» Герцки, экономика, в которой частные предприятия все еще работают в рамках общественной собственности на землю, транспорт и основные виды коммунальных услуг. Это сочетается с системой, обеспечивающей полную занятость путем планирования общественных работ, поглощающих излишки рабочей силы.

Опровергая Маркса, Уэллс был вынужден все больше и больше отворачиваться от действительности. На место ясной концепции классов, основанной на производственных отношениях, Уэллс выдумал, несколько опираясь на Юнга, классификацию, основанную на психологических типах. В «Современной Утопии» люди поделены на четыре «класса сознания» — поэтический, кинетический, ограниченный и низкий. Значительно позднее, в «Работе, богатстве и счастье человечества» (1932), разделение проведено несколько по-иному: люди делятся на «персон» — крестьян, самодержцев и священников. Поскольку все эти классификации совершенно не связаны с реальной жизнью, очень легко избрести любое количество их и все они будут одинаково правдоподобны и одинаково лишены смысла.

Эти классификации, кроме того, статичны, они претен-

дуют на описание чего-то, встречаемого одинаково в любом обществе, и поэтому не оставляют места для представления о могущем произойти изменении от внутренних движений и противоречий в современном обществе. И все же Уэллс знал, что мир изменится, и, более того, он сам верил в необходимость и возможность Утопии. А поскольку для Уэллса Утопия не могла быть, как для Морриса, результатом борьбы рабочих, ему приходилось прибегать к бесконечным уловкам, чтобы убедительно объяснить, «как произошла перемена». Это достигалось различными способами. В «Освобожденном мире» перемену производили прозревшие властители. В «Грядущем» имел место открытый заговор летчиков и инженеров под девизом «На крыльях через весь мир». В «Современной Утопии» также рассказывается о другом открытом заговоре аристократии, самураев, «священников» в уэллсовском понимании, решившихся служить миру, не считаясь с тем, захочет ли он этого, или нет. Наконец, в романе «Люди как боги» процесс обрисован несколько смутно, в виде общего и постепенного роста просвещенности:

«М-ру Барнстеплю было дано понять, что это не те насильственные изменения, которые наш мир научился называть революциями, но лишь рост просвещения, рассвет новых идей, в котором установления старого порядка продолжали жить некоторое время, постепенно слабая, пока народ, следуя здравому смыслу, не заменял старого новым».

К каждой Утопии Уэллса ведет своя отдельная дорога, но у всех у них есть то общее, что Утопия всегда диктуется грубому и недовольному большинству просвещенным меньшинством. Уэллс так никогда и не рассказал, как будет подобрано это меньшинство и из кого оно будет состоять. Иногда выдвигался светский орден, вроде самураев, отобранных из более образованных слоев населения и связанных «уставом» в средневековом значении этого слова. В другом случае он искал его среди людей науки, или между инженерами, техниками, или администраторами, которых расплодилось так много для обслуживания монополистического капитала. К старости Уэллс все усиленнее искал спасителей среди наиболее преуспевающих и «просвещенных» капиталистов — фордов и Рокфеллеров, моррисов и мондсов. Он полностью разделял общие иллюзии во время великого американ-

ского бума конца 20-х годов и почти ничего не извлек из уроков кризиса 1929 года.

Его неверие в рабочих тесно связано с его нелюбовью к демократии: как бы все его Утопии ни рознились между собой, они все антидемократичны. Устроив Утопию по-своему, меньшинство избранных начинает управлять ею самовластно, пусть даже и благожелательно. Нельзя нигде встретить указания или намека на то, что эта грань между меньшинством и массой может быть устранена, и это вполне естественно, ибо она отражает не разницу между классами, которая должна исчезать в бесклассовом обществе, но произвольную и абсолютную разницу психологического типа, врожденную и неизменную.

Уэллс принимает платоновскую концепцию о специализации общества, в котором каждый выполняет ту работу, к которой он приспособлен по своей натуре и подготовке, и, следовательно, общества дифференцированного. В романе «Первые люди на Луне» эта ступенчатость доводится до предела, который Уэллс может быть сознательно и не одобрял:

«На Луне каждый гражданин знает свое место. Он родился для этого места, и тщательная дисциплина, обучение, воспитание и лечение, через которые он проходит, подготавливают его к нему так совершенно, что у него нет ни мыслей, ни органов для чего-либо, помимо выполнения отведенных ему обязанностей. «На что они ему нужны?» — спрашивал Фи-у. Если, например, селенит житель Луны предназначен быть математиком, его учителя и воспитатели сразу же начинают готовить его к этому. Они обладают большим психологическим опытом и устраняют всякие зародыши стремлений к другим целям, поощряют только его математические наклонности. Его мозги развивают, вернее развивают его математические способности, все же остальное развивается лишь настолько это нужно, чтобы поддержать эти способности его».

Независимо от того, приглашают ли нас любоваться селенитами, или нет, в них лишь доведено до логической крайности то, что свойственно всему образу мыслей Уэллса, а такая логика приводит к такому миру, какой показан в «Славном новом мире» Хаксли или в «Стране под Англией» Джозефа О'Нейла.

В специализированном обществе управление им также является делом специалистов. Уэллс, как и Платон, думал, что сапожник, работая из последних сил, должен довериться тем, кто лучше его знает, что для него хорошо, — самураям или явным заговорщикам. Были сделаны попытки провести параллель между самураями и коммунистической партией: в этих попытках игнорируется та основная разница, что самураи отделяют себя от масс, которым они навязывают свою волю, тогда как коммунисты остаются частью того класса, который они ведут. Эта истина была образно выражена Сталиным, когда он сравнил коммунистическую партию с мифическим греческим гигантом Антеем, который лишился своей силы, как только переставал касаться земли:

«Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии, Антея. Они, так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, что-бы остаться непобедимыми».

Специализированная Утопия Уэллса представляет антитезу социализма, который рассматривает человека как гибкое и разностороннее существо, вполне способное постичь мир и управлять им. Уэллс, принявший капитализм за базис, стремился лишь сделать его гуманнее. Империализм превращает человека во все более усовершенствованный инструмент, и таким он остается в утопиях Уэллса, каким бы ухищренным и тонко отделанным ему ни позволили сделаться.

Уэллс, во всяком случае, ставил весьма определенную границу тому, чем может стать человек. Мы видели, как Моррис в «Вестях ниоткуда» старался подчеркнуть изменение человеческой природы. В Утопиях Уэллса изменяется все, кроме человека; начиная от «Современной Утопии» и до «Грядущего» люди окружены всевозможными механическими чудесами, но продолжают разговаривать и действовать так же, как и прежде. Для него в человеческой природе есть нечто постоянное и неизменное, и эта неизменная часть в ней оказывается главной. Люди в Утопии, говорит он,

«будут иметь другие привычки, другие традиции, другие знания, другие цели, другую одежду и другое применение, но, *несмотря на все это* (курсив мой. — А.М.), они останутся прежними людьми. Нам было очень ясно поставлено условием, что современная Утопия должна иметь совершенно такой же народ, какой существует в мире сейчас», и «что бы мы ни сделали, человек останется существом конкурирующим».

Следовательно,

«наше дело спросить, что станет делать Утопия со своими пьяницами и людьми злонамеренными, жестокими или лживыми, с людьми настолько глупыми, что их нельзя будет использовать для общества, с теми, кто не поддается обучению, тупоумен и несообразителен? И что сделает она с тем, кто кругом «обижен», с теми безвольными и неспособными, низкопробными людьми, которые покорно сидят в тех клетках, куда они посажены их эксплуататорами, топчут мостовые в городе под знаменем безработных или дрожат, — одетые в выброшенную другим человеком одежду, без конца кланяющиеся, снимая шапку, — так как находятся на грани безработицы в деревне?»

В Утопии Уэллса таких людей будет, очевидно, столько же или почти столько, как и в нашем мире, и он, считая это явление неизбежным, не видит другого выхода, кроме буржуазной евгеники. В «Современной Утопии» Уэллс ворчит, совершенно как декан Индж, по поводу того, как воспитываются бедняки, и вырабатывает целую систему мер, для того чтобы люди «низшей породы» не могли плодиться:

«Тут следует настоять на том, что Утопия будет регулировать прирост населения. Никакая Утопия невозможна без решимости и способности ограничивать этот рост или стимулировать его, когда это необходимо. Это ясно доказал Мальтус для всех времен».

Уэллс верил в прогресс, целое поколение в Англии смотрело на него, как на вездущего апостола этого прогресса, его книги битком набиты всякими удивительными

случаями, которые, как он уверяет, могут стрястись с нами, но по своей сути все остается на месте, так как весь прогресс чисто количественный и представляет по отношению к человеку явление внешнее. Дальше этого Уэллс не пошел. Вот почему его книги, хотя некоторые из них принесли в свое время известную пользу, легковесны, вульгарны и туманны; недаром в целом ряде критических мест ему приходится прибегать к нанизыванию общих мест и многоточиям:

«Наука — уже не наш слуга. Мы считаем ее чем-то более значительным, чем наше маленькое индивидуальное «я». Это пробуждается сознание человека, и через небольшой промежуток времени — через небольшой промежуток — я очень хотел бы дожить до конца этого небольшого промежутка теперь, когда занавес поднят...»

Для Уэллса занавес вечно поднимался, но представление так никогда и не началось.

Он не мог видеть представления, так как разыгрывалась борьба классов, а чтобы ее видеть, надо было признать ее за движущую силу исторического процесса. По своему происхождению Уэллс принадлежал к нижним прослойкам средних классов, среде особенно разочарованной. Он очень скоро отбросил взгляды своего класса, а его быстрая карьера писателя вывела его из этой среды экономически и приблизила к правящим группировкам. Однако Уэллс никогда не утратил характерной черты своего класса — боязни трудящихся масс, от которых он всегда чувствует себя отделенным лишь узким промежуток. Этот страх принимает две формы — боязнь соскользнуть вниз, в «низшую среду», и страх перед вторжением этого низшего мира, вторжением варваров, все сравнивающих с землей на своем пути.

Этот страх Уэллс сохранил на всю жизнь. Он мог почувствовать рабочим, желать облегчения их жизни, но никак не мог смотреть на них иначе, чем как на разрушительную силу, нуждающуюся в управлении, как на массу, которую надо вести, а иногда и принуждать. В его интересной ранней книге «Когда спящий проснется», где любопытно, хотя и искаженно, отражается классовая борьба, а идея революции окончательно не отвергнута, рабочие угнетены и мятежны, но могут поднять восстание только под предводительством могучей группы лю-

дей из высших классов; герой книги, Спящий, который, просыпаясь, оказывается владельцем всей земли, участвует в битве рабочих отдельно от них, как какой-то боец, пришедший к ним со стороны. Как бы ни было, рабочие не играют заметной роли ни в одной из его книг.

Под непродуманной, слепой верой в прогресс, в способность империализма избавиться от своих грехов и превратить мир в Утопию в глубине всегда лежит пессимизм. Самураев приходилось ждать, они могли не прийти во-время. Мир, который Уэллс всегда рассматривал, как класс с непослушными учениками, которых надо было воспитать и обучить, становился все менее и менее внимательным. Сомнения Уэллса неожиданно проявляются даже в ранних вещах, например в «Современной Утопии», где герой говорит:

«Мы теперь как будто разочарованы во всем, нет ни новых религий, ни новых культов, ни новых орденов — больше никаких начинаний».

Это было в 1905 году, то есть тогда, когда в России началась новая революционная эпоха.

Но это было не то начинание, которого искал Уэллс или которое он был способен разглядеть. Успехи социализма с 1917 года и рост мирового революционного движения не утешали его. Он все больше и больше сердился, все сильнее удивлялся тому, что никто не слушает его добрых советов. В романе «Люди как боги» Утопия отнесена к такому далекому будущему, что фактически уже ничем не связана с существующим положением вещей. Уэллс уже неспособен разглядеть связь между настоящим и будущим, о вере в которое, как в нечто священное, он продолжает твердить.

В его последней книге «Разум у своего предела» даже эта отдаленная надежда утрачивается:

«Конец всему, что мы называем жизнью, уже близок, и мы не можем его избежать».

Такой конец кажется страшнее после стольких лет бурных и жизнерадостных пророчеств, однако он был предопределен с самого начала. У Уэллса было много превосходных качеств — мужество, ум, энергия, даже великодушие, когда не были задеты его предрассудки, но при всем этом он поворачивался спиной к будущему, и никакие таланты не могли создать ему глаза на затылке, чтобы он мог видеть вещи впереди такими, какими они

были на самом деле. Его смутное понимание того, что происходило, нашло свое выражение, возможно, в его вере в то, что человек должен, чтобы выжить, превратиться в нечто такое, что он, Уэллс, не мог признать за человека.

Может быть, последнюю книгу следовало бы озаглавить «Фабианство у своего предела», так как фабианство, при всем бесславии своей истории, представляет все же в известном смысле попытку снабдить капитализм комплексом идей, устремленных в будущее. После Уэллса не было и, я думаю, не может быть фабианских утопий, или каких-либо иных утопий положительного характера. Форма сохраняет свою популярность, но используется она в отрицательном направлении, для выражения сатиры, или отчаяния, или для констатации вырождения некоторых типов интеллигенции в последней фазе капитализма. Положительный ответ Уэллсу был дан первый раз в 1917 году и затем, в ином роде, лет двадцать тому назад, когда два самых выдающихся фабианца, Сидней и Беатриса Уэбб, отреклись от всего своего прошлого, назвав свой очерк об СССР «Советский коммунизм — новая цивилизация».

2. Разрушители машин

«Наполеон из Ноттинг-хилла» Честертона начинается в туманной фабианской Англии 1984 года, в Англии, где как будто все пришло к мертвой точке, в Англии, «верившей в нечто, называемое эволюцией. И она говорила: «Все теоретические перемены заканчиваются в крови и скуке. Если меняться, то надо это делать медленно и без риска, как меняются звери. Естественные революции — единственные, которые имеют успех. Консервативная реакция никогда не была защитницей самых слабых и отсталых».

И некоторые вещи изменились. Вещи, о которых думали мало, совершенно выпали из поля зрения. Вещи, случавшиеся редко, перестали случаться вообще. Так, например, действенная физическая сила, управлявшая страной, — солдаты и полиция — все сокращалась и сокращалась, пока не исчезла почти окончательно. Народ мог бы за десять минут смети прочь немногих оставшихся полисменов, но он этого не делал, так как не считал, что это принесет ему какую-либо пользу. Народ утратил веру в революцию.

Демократия умерла, потому что никто не возражал против того, чтобы правящий класс правил. Практически Англия была теперь деспотией, но не наследственной. Кто-нибудь из чиновного класса становился королем. Никто не интересовался ни как это делалось, ни кто им делался. Король был всего-навсего универсальным секретарем.

Таким образом получалось так, что в Лондоне было очень спокойно».

Весь мир был беспросветно скучным, однообразным и космополитическим; фабианские методы были успешно применены, но Честертон не был вполне уверен, что они приведут к ожидаемым результатам и, во всяком случае, не к быстро движущимся, гладко отполированным Утопиям Уэллса: что бы ни последовало дальше, попытка Уэллса сделать фабианство волнующим умы должна была неизбежно кончиться неудачей.

Король выбирался по жребию, и вот в 1984 году жребий пал на Оберона Квина — молодого человека, бывшего, возможно, единственным оставшимся в живых юмористом на земле. Квин, желая устроить публичную шутку, издал указ о том, что все лондонские городские округа должны ввести у себя средневековый реквизит — старшин, герольдов, городскую стражу в роскошных костюмах и вооруженную алебардами, городские ворота, набат, сигнал для гашения огня и все прочее. В одно прекрасное время мэром Ноттинг-хилла, также по жребию, стал некто Адам Уайн — романтическая личность, принимавшая всерьез королевскую «хартию о городах», и когда соседние округа захотели провести через Ноттинг-хилл магистральную дорогу, он этому воспротивился, основываясь на правах, предоставленных ему хартией. В последовавшей за этим войне округ Ноттинг-хилл вооруженно сопротивлялся, при фантастическом неравенстве сил благодаря сочетанию счастья с военным гением. Тем временем благодаря страстям, разыгравшимся во время войны, шутка короля была претворена в жизнь не только у Уайна и ноттингхиллцев, но и у их противников. Жизнь сделалась красочной, романтической и чрезвычайно самобытной, и хотя владычество Ноттинг-хилла закончилось двадцать лет спустя после большого сражения, разыгравшегося в Кенсингтонских садах, последствия его победы и правления сохранились.

Все это, как видно, достаточно туманно. С одной стороны, это прекрасная пародия на Уэллса и фабианцев. С другой — очевидно, что Честертон понимал не больше, чем они, что творится в мире. Англия в его последних главах, после победы Ноттинг-хилла, имеет поверхностное сходство с Утопией в «Вестях ниоткуда», однако лишь в том, что касается самых незначительных внешних черт надстройки. Честертон думал, если он вообще задумывался над этим вопросом, что надстройку можно менять произвольно, оставляя базис неизменным. Возражение вызывает не то, что эта книга фантастична: в известных пределах фантазия представляет вполне закономерную литературную форму, но чтобы фантастическое произведение было эффективным, оно должно быть крепко связано с реальностью. Нужно, чтобы, если принимаются за основу определенные предпосылки, какими бы они ни были, все остальное вытекало из них логически. Мир, где может случиться *что угодно*, не имеет для нас никакой ценности.

Во всех книгах Честертона, и даже в «Наполеоне из Ноттинг-хилла», лучшей из них, мы постоянно чувствуем эту несообразность, потому что то, что автор хочет видеть происшедшим, невозможно по своей природе. Он был буржуазным радикалом, ненавидевшим империализм и боровшимся с ним в меру своих сил, но всегда во имя прошлого, вдохновленный мечтой возвращения к малому, местному и личному. Уэллс принял империализм, Честертон от него убежал, но ни тот, ни другой не поняли диалектики его превращения в социализм.

Для Честертона это кончилось тем, что его оппозиция, ненацеленная и мелочная, очень скоро истощилась, превратившись в сплошной акробатический фокус. Возмущение его было все же искренним, и в 1904 году, когда началась его карьера писателя, оно было очень четко выражено на страницах его «Наполеона из Ноттинг-хилла», что и придало этой книге ту положительную силу, которую мы уже не находим в его других произведениях. Обратившись к генезису книги, мы поймем, почему возмущение Честертона нашло надлежащую форму, остроту выражения, яркость чего-то фактически пережитого. В своей «Автобиографии» Честертон говорит (хотя это и без этого видно из некоторых мест его книги), что «Наполеон из Ноттинг-хилла» написан по воспоминаниям

о тех рассказах, которые он любил сам себе рассказывать, когда мальчиком бродил по улицам западного Лондона; в ней чувствуется восхищение мальчика ясностью, решительностью и определенным богатством сказки, долго вынашиваемой в сердце. Молодой Честертон сам под именем Адама Уайна разрабатывает план защиты Ноттинг-хилла.

Как бы ни было, рамка, нужная ему для обличения империализма вместе с прославлявшим его фабианством и космополитизмом, бывшим его естественным спутником, была у него под рукой. Если мы вспомним, что Честертон писал эту книгу в годы, непосредственно следовавшие за бурской войной, одним из самых ярких противников которой он был, то нельзя не оценить ее силу и достоинства. Они нигде не выступают так ясно, как в великолепной сцене, в которой Уайн стоит лицом к лицу с королем и мэром, которые обсуждают проект проведения дороги, означающего конец независимости Ноттинг-хилла. Король говорит:

«— Вы пришли, милорд, по поводу Насосной улицы?»

— По поводу округа Ноттинг-хилл, — гордо ответил Уайн. — Насосная улица составляет его оживленную и любезную горожанам часть.

— Однако не очень большую, — сказал с презрением Баркер.

— Если она достаточно велика, чтобы богатые на нее зарились, — сказал Уайн, подняв голову, — то достаточно велика и для того, чтобы бедняки ее защищали.

Король хлопнул себя по ляжкам и немного подрыгал ногами.

— Все почтенные люди в Ноттинг-хилле, — вмешался Бак своим холодным, жестким голосом, — за нас и против вас. У меня много старых друзей в Ноттинг-хилле.

— Ваши друзья те, кто взял ваше золото, чтобы изменить своим очагам, милорд Бак, — сказал мэр Уайн. — Я охотно верю, что они ваши друзья.

— Как бы ни было, они никогда не продавали грязных игрушек, — сказал Бак с коротким смешком.

— Они продавали вещи погрязнее, — ответил спокойно Уайн. — Они продали самих себя».

Несмотря на все свои блуждания, заведшие его в конце концов в тупик, в то время Честертон видел ясно по крайней мере две вещи. Первая заключалась в том, что нудная бюрократическая Утопия фабианцев и блестящая механическая Утопия Уэллса, представлявшая лишь особую разновидность ее, обе лишь отражают и прославляют империалистическую действительность, которую Честертон ненавидел. Поддержка фабианцами бурской войны служила ярким и свежим доказательством этому. Фабианцы мотивировали свою позицию тем, что буры-де были неспособны и отжили свое время, так что их должна была поглотить более современная и энергичная империя. Во-вторых, Честертон видел, что все эти люди ошибаются, полагая, что настает тусклый век компромиссов. Он верил, наоборот, что наступил век революционный, а следовательно, героический. Безусловно справедливо, что ожидаемая им революция была совершенно отличной от той, которая произошла на самом деле, и что, когда она наступила, он не сумел разглядеть в ней того, что предвидел, но это имеет меньше значения, чем самый факт его оправдавшейся интуиции. Уайн выразил это следующим образом перед своим последним сражением:

«Я помню, что в те давние мрачные дни, когда я был молод, мудрецы писали книги о том, как поезда пойдут быстрее, весь свет будет одной империей и трамваи станут ходить на луну. Но даже ребенком я говорил себе: «Гораздо более вероятно, что мы опять отправимся в крестовые походы и станем поклоняться богам города. И так оно и было».

«Наполеон из Ноттинг-хилла» был первым выстрелом по фабианской Утопии. Е. М. Форстер в своей книге «Машина останавливается» (написанной около 1912 г., но впервые изданной отдельной книгой под названием «Вечный момент» в 1928 г.) и Олдус Хаксли в «Прекрасном новом мире» (1932) атакуют ее с других позиций. Утопии Уэллса представляют собой капиталистическое общество, чудесным способом избавившееся от своих противоречий, потому что социализм Уэллса является утопическим социализмом, развивающимся не диалектически, не как отрицание буржуазного общества, а как его продолжение. Марксисты не могут признать та-

кое будущее возможным, как не мог этого сделать и Честертон, но если бы оно и оказалось возможным, они отвергли бы его с отвращением. Уэллс же считал его и возможным и желательным. Форстер и Хаксли, признавая возможность такого будущего, считали его нестерпимым, хотя и по совершенно различным мотивам.

Выхолощенный целлофановый мир Уэллса вызывал проклятия и презрение Хаксли и наполнял Форстера жалостью и ужасом. Это вызвано отчасти тем, что Форстер был человечнее, чувствительнее и обладал большей культурой, а также и тем, что в 1932 году было легче, чем в 1912 году, разглядеть весь ужас такого мира, доведенного до своего логического завершения.

«Очень хорошо, — писал Лаус Дикинсон про книгу «Машина останавливается», — что нашелся кто-то, чтобы взять пророчества Уэллса — Шоу и вывернуть их наизнанку». Этот кто-то был, конечно, Форстер. Он описывает мировое государство в далеком будущем. Люди ушли глубоко под землю, и вся поверхность ее покинута. Люди живут по одному в одинаковых комнатах, из которых они посредством телевидения могут общаться друг с другом во всем мире. Никакой работы делать не надо, поскольку любая потребность — синтетическая пища, синтетическая одежда, синтетическая культура — обеспечена «машиной»: достаточно нажать соответствующую кнопку. В тех редких случаях, когда люди покидают свои комнаты, к их услугам движущиеся платформы и огромные быстрые воздушные корабли. Их сознание сделалось пассивным и восприимчивым, тело — слабым и вялым. Весь земной шар представляет одно целое, связанное «машиной», которая уже давно вышла из-под контроля человека и должна скоро сделаться предметом поклонения, как сверхчеловеческая сила:

«Машина, — восклицали они, — кормит нас, одевает и укрывает! Посредством нее мы разговариваем друг с другом, видимся, в ней наше существование. Машина — друг идей и враг суеверий; машина всесильна, вечна; машина благословенна!»

В том же духе, но без всякой видимой иронии у Уэллса один персонаж в «Освобожденном мире» хвастает, что «наука — уже не наш слуга».

И как в «Современной Утопии» герой с одобрением отмечает отсутствие окон в экспрессе, уносящем его из

Швейцарии в Лондон, так и главный персонаж книги «Машина останавливается» — Вашит, мчась через весь мир, чтобы навестить своего сына Куно, не находит ничего, что могло бы ее заинтересовать на поверхности земли:

«В полдень она вторично взглянула на землю. Воздушный корабль пересекал другую горную цепь, но она плохо ее видела из-за туч. Внизу теснились массы черных скал, постепенной принимая серый цвет. Их очертания были фантастичны — одна из гор походила на простертого человека.

— В этом нет мысли! — прошептала Вашит и закрыла Кавказ металлической шторой.

Вечером она выглянула снова. Они пересекали золотое море, в котором лежало много маленьких островов и один полуостров.

Она повторила: «В этом нет мысли» — и закрыла Грецию металлической шторой.

В конце наступает катастрофа, быстрая и полная, «как и та, что была в дни Ноя». Машина останавливается, а с этим прекращается подача пищи, воздуха и света, и погребенные под землей миллионы людей погибают. В темноте Вашит и Куно встречаются, и перед концом он рассказывает ей о своем посещении поверхности земли и о найденном там сохранившемся человеке, который будто бы начнет все заново. В этот момент правда об их цивилизации становится им очевидной:

«Эти двое плакали за человечество, не за себя. Они не могли вынести мысли, что это был конец. Ранее чем водворилась тишина, их сердца открылись, и они поняли, что было важно на земле. Человек, цвет всего живого, самое благородное из видимых существ, человек, который когда-то сделал бога по своему подобию и отражал свою силу в созвездиях, этот прекрасный в своей наготе человек погибал, задушенный теми одеждами, которые он сам соткал. Он тяжело работал столетия за столетиями, и в этом была его награда».

Здесь, мне кажется, Форстер занимает среднее положение между Моррисом и Хаксли. Все трое отвергают «современную цивилизацию», как ее иногда называл Моррис. Но хотя Моррис иногда считался с возможностью катастрофы, он понимал вполне диалектику пе-

ремены. Ему была ясна двусторонняя природа капитализма, загнивающего и одновременно создающего тот класс, который сможет его заменить. Форстер и Хаксли видят только разложение, или, во всяком случае, оно имеет для них решающее значение. Но Форстер в отличие от Хаксли никогда не отчаивается в человечестве. Если он верит в человеческие заблуждения, то Хаксли верит в испорченность, в первородный грех. Форстер думает, что человек может временно сбиться с пути, Хаксли же считает, что человек вообще неспособен найти его, если только не поможет ему «небесный промысел», однако он сомневается, чтобы такое милосердие было ему оказано. Форстер, может быть, и верит, что человек сейчас заблудился, что неизбежен период отступления и бедствий, и это, быть может, является причиной его молчания, но он остается при твердом убеждении, что кое-что будет спасено, что будет взят новый разгон, и человек в конечном итоге восторжествует.

Для Форстера мерилом является человек, а для Хаксли человеческая жизнь не имеет ценности, если только ее нельзя оценить в единицах чего-нибудь вне ее. В «Прекрасном новом мире» он нападает на гуманизм под видом описания общества, чья основная цель — устойчивость и счастье в самом низком, в самом примитивном значении этого слова. Общество, основанное на гуманизме, для него неизбежно плохое. Счастье без божественного милосердия может быть достигнуто лишь путем подчинения личности, такой переделки ее, чтобы она подходила к желаемому образцу. Хаксли неспособен понять, что социалистическое общество есть форма движения, в которой каждый человек может достичь вершины своих потенциальных возможностей во взаимоотношениях с другими людьми, а не всемирный, окруженный сиянием Батлинский праздничный лагерь.

Переделка личности в «Прекрасном новом мире» доведена до предела и начинается еще до рождения, или, правильнее, до декантирования, ибо от нормального способа рождения давно отказались. Хаксли производит по желанию из своей бутылки или самураев, или низкопробные слабоумные существа, неспособные мыслить и, следовательно, скучать. Для всех существ одинаково, от высшего (альфы) до слабоумного (морона), разработан соответственно с его уровнем определенный режим с над-

лежащей дозировкой работы, игр, разнообразия и «сома» — напитка, «обладающего всеми преимуществами христианства и алкоголя и не имеющего ни одного из их недостатков».

Вот в этот-то мир и является молодой человек, случайно воспитанный на Шекспире и мифах в индейской резервации в Мексике. Он сильно возмущается этим машинообразным порядком и просит присвоить ему право быть несчастным:

«— Я не хочу комфорта. Я хочу бога, хочу поэзии, я хочу подлинной опасности, свободы, добра. Я хочу греховности.

— В сущности, — ответил Мустафа Монд, — вы хотите быть несчастным.

— Отлично, — сказал тогда Дикарь вызывающим тоном. — Я требую права быть несчастным.

— Не говоря уже о праве стать старым и обратительным импотентом; праве болеть сифилисом и раком; праве не иметь достаточно еды; праве быть вшивым; праве жить в вечном страхе того, что может случиться завтра; праве подхватить тиф; праве испытывать невыразимые муки всевозможного рода.

Последовало долгое молчание.

— Я хочу всего этого, — сказал наконец Дикарь».

Все это совершенно справедливо и неопровержимо, если принять механистические постулаты Хаксли, которые он, несмотря на свой тон презрительного превосходства по отношению к Уэллсу, разделяет с ним. Если согласиться с тем, что человек, по существу, неизменяем; что устойчивость общества может быть обеспечена, если каждому человеку предписать определенный круг обязанностей и следить за тем, чтобы он их выполнял; что счастье состоит в том, чтобы механически подходить к этим обязанностям, а в свободные часы начинаться механическими развлечениями; что свобода заключается в неведении и слепом подчинении силам природы, если принять все это, тогда, конечно, нет другого пути, кроме «прекрасного нового мира» и безнадежного варварства. Я думаю, что большинство из нас на месте Дикаря сделали бы тот же выбор, что и он. Хаксли очень ясно дает понять, что лично одобряет этот выбор, но нам

трудно поверить в искренность человека, покинувшего Англию, чтобы поселиться в Голливуде — месте, наиболее верно предвещающем жизнь, описанную в «Прекрасном новом мире».

Кажется, что Уэллс как будто также чувствует, что человечество сейчас стоит перед необходимостью сделать выбор. В романе «Разум у своего предела» он пишет:

«Человек должен круто подниматься вверх или идти вниз, и все шансы как будто за то, что он пойдет вниз, к гибели. Если же он поднимется, то ему нужно будет приспособливаться до такой степени, что он должен потерять облик человека. Обыкновенный человек находится у предела своих сил».

Хаксли в своей книге с неприятным душком «Обезьяна и сущность», которой мы коснемся ниже, также описал погружение в варварство, в ближайшем будущем ожидающее человечество.

Однако было бы достаточно все эти «постулаты» • изложить ясно, чтобы сделать очевидной их несостоятельность. На практике же мы своими глазами ежедневно убеждаемся в их лживости, являясь свидетелями того, как одна треть мира строит социализм, исходя из совершенно иных предпосылок. Именно факт построения социализма дает нам мерилло, при помощи которого мы можем судить Уэллса и его критиков и коренным образом менять наше представление об Утопии.

Поскольку Нигде становится Кое-Где, то и вести, которые мы получаем оттуда, должны измениться — это уже не «Вести ниоткуда».

3. Последняя фаза

Положение современных утопистов четко охарактеризовано в отрывке Николая Бердяева¹, послужившем Хаксли предисловием к его «Прекрасному новому миру»:

«Утопии оказываются гораздо более выполнимыми, чем мы предполагали раньше. Теперь мы находимся лицом к лицу с вопросом также жгучим, но в совершенно ином плане: как можем мы избежать их фактического осуществления?»

¹ Н. А. Бердяев (1874-1948) — реакционный философ, идеалист и мистик, белоэмигрант. В молодости — кантианец-богоискатель, после эмиграции — один из теоретиков наиболее махрового религиозного обскурантизма. — *Прим. ред.*

...Утопии могут быть реализованы. Жизнь идет к Утопии. И возможно, что начинается новый век, в который интеллигенция и образованные классы будут мечтать о методах, как избежать Утопии, о возвращении к обществу не утопическому, менее совершенному, но более свободному».

Для Бердяева, Хаксли и класса, который они представляют, завтрашний день не только «так же ужасен, как и сегодняшний», но это завтра бесконечно хуже, его даже нельзя себе представить. И, таким образом, на этой последней стадии, в эту эру общего кризиса и надвигающегося свержения капитализма Утопия меняет свой характер.

На протяжении почти всего периода, охватываемого этой книгой, буржуазия была гордым и прогрессирующим классом, крепнувшим в рамках феодализма, пробиравшимся к государственной власти, захватывающим ее и, наконец, пользующимся этой властью. Буржуазия смотрела с верой вперед, и Утопия была тем, что лучшие ее представители, способные видеть дальше узких классовых интересов и отождествлять прогресс буржуазии с прогрессом всего человечества, видели в конце пути. Это видение вселяло надежды, хотя и не всегда давало полное удовлетворение; если даже некоторые утописты и видели, что обеты буржуазной революции не соблюдаются, они были уверены, что достаточно дать хороший совет или небольшой толчок — и все пойдет хорошо.

Были, конечно, частичные исключения, вроде Блейка, но вся картина в общем не изменялась вплоть до последних десятилетий XIX века. Теперь уже нельзя было попрежнему игнорировать угрожающий и непреложный подъем нового класса. Становилось очевидным, что если Утопия сможет когда-нибудь быть реализована, она будет следствием грядущей рабочей революции, а не последней главой, завершающей буржуазную революцию. Отсюда тревога Грэга, Доннели, Брама. В двух предшествующих разделах этой главы мы проследили дальнейшее развитие этого процесса, мы видели реакцию на непродуманный оптимизм Уэллса и имеющий, может быть, большее значение отход его в старости от своего раннего оптимизма.

Так мы подошли в известном смысле к концу истории английской Утопии. Теперь перед нами, с одной стороны, буржуазия, отождествляющая свое будущее с бу-

душим цивилизации, а потому взирающая на него с отчаянием; с другой — рабочий класс и его союзники, борющиеся за завоевание или построение социализма, мало склонные рисовать вымышленные картины того будущего, которое они создают своими руками. И все же форма Утопии слишком глубоко укоренилась в человеческом сознании, чтобы можно от нее легко отказаться, и в течение последних десятилетий она была использована в разных целях, очень отличных от тех, которые ставили себе классические утописты прошлого.

Это обобщение имеет, как это обычно бывает, исключение — книгу «Неизвестная страна» лорда Сэмюэля, опубликованную в 1942 году, но «задуманную и написанную в основном до войны». Это произведение, написанное в форме продолжения «Новой Атлантиды» Бэкона, так строго выдержано в традиционном стиле утопии, что иногда кажется, что это скорее академическое упражнение, чем серьезная оригинальная работа. Да и Сэмюэль, как и либеральная партия, признанным теоретиком и философом которой он является, представляет сам какой-то пережиток прошлого.

Как и следует ожидать от продолжения «Новой Атлантиды», большое место уделяется прогрессу науки и изобретений, а также образованию. Но самым интересным во всей книге является то, что, когда либералу-философу понадобилось строить идеальную экономику, он вынужден был основывать ее на классической формуле Маркса «от каждого по способностям, каждому — по потребностям». Утопия Сэмюэля, как и Мора, представляет бесклассовое коммунистическое общество, и к его чести нужно отнести, что он отказался от неуклюжих теорий, к которым вынуждены были прибегать Беллами, Герцка и Уэллс, чтобы построить приемлемую Утопию на какой-то другой основе.

Нельзя было бы требовать, чтобы нам был показан Бензале́м, достигший бесклассового общества посредством классовой борьбы или революции. Напротив, классовой борьбе уделяется очень мало места в истории бензале́мцев, и взгляды их на революцию были идентичны с взглядами одного английского ви́га XX века:

«Насилие является сущностью революции; возможно, что она преследует моральные и гуманные цели, но, применяя средства аморальные и жесто-

кие, она еще дальше отодвигает эти цели. Точно так же нельзя говорить, что «хуже, чем есть, не может быть». Ухудшение всегда возможно, и случается очень часто. Страдания порождают революцию, а революции приносят новые страдания».

Поэтому бензале́мский общественный строй

«не был установлен сразу при помощи революционного возмущения, но формировался столетиями: однако за последние сто лет под влиянием стимула сугуризации продвижение было более быстрым, чем когда-либо раньше».

Сугуризация — операция, при помощи которой размеры черепа, а следовательно, и природные способности детей, увеличиваются, — представлена как подлинно волшебное средство, производящее социальные изменения. Это типичное средство утопизма в его последней стадии. Если не признавать классовую борьбу средством изменения общества, то это изменение должно всегда приходить извне — от монарха, как в ранних утопиях, от абстрактного разума или необъясненного изменения душевных свойств, наконец, от какого-то творческого чуда. А так как упадок религиозной веры затрудняет признание нами чуда в смысле сверхъестественного вмешательства в человеческие дела, современные писатели-утописты обращаются к науке в надежде, что это может быть совершенно ею. Эту тенденцию мы ясно видели у Уэллса, а в другой форме ее можно обнаружить в «Назад к Мафусаилу» Шоу, где темой служит возможность удлинения жизни человека до трехсот лет.

Какую бы форму ни приняло это обращение к внешним факторам, на практике оно выливается в утверждение, что общество нельзя изменить без какого-либо физического, биологического изменения человека, и то же самое, лишь несколько иначе, выражено Сэмюэлем. Как и в книге Уэллса «Люди как боги», где он сделал представителями рабочего класса двух шоферов, отвергающих утопический образ жизни еще более категорически, чем их «хозяева», точно так же и у Сэмюэля команда корабля, на котором герой достигает Утопии, состоит из круглых политических неучей, принимающих без раздумья самые непродуманные социальные и экономические идеи буржуазии и отвергающих с ужасом бесклассовое утопическое общество Бензале́ма. Совершенно оче-

видно, что Сэмюэль, как и Уэллс, никогда не рассматривал рабочих как положительную политическую силу.

И так как Сэмюэлю казалось, что всего этого еще мало, чтобы показать, что его «коммунизм» не имеет ничего общего с коммунизмом Маркса и Ленина, он прибавляет к своей утопии небольшой фарс в виде посещения группы небольших островов невдалеке от побережья Бензалема, образ жизни обитателей которых походит на тот, который существует, по представлениям автора, в главных европейских странах. На одном из этих островов Улмии

«появился теоретик, учение которого, претендовавшее на простоту, логику и исчерпывающий охват исторических фактов, на самом деле было сложным, запутанным и пристрастным до последней степени. Оправдываясь этой теорией, кучка неистовых людей произвела революцию, и Восточный остров стал «Союзом логических материалистов-идеалистов».

Насколько я мог понять, теория, как видно, была основана на странной гипотезе, что человеческое общество всего-навсего продукт экономических факторов и что вся история человечества не что иное, как вариации на одну и ту же тему: производство и потребление ценностей. Придерживаясь этих идей, народ сделал материализм своим символом веры, а орудия труда — своей эмблемой; их национальным гербом стали вилы, скрещенные с пилой, а девизом — «Вещи правят людьми».

Как мне сказал Ламон, эта теория настаивает на том, чтобы государство было бесклассовым и уравнилительным. «Наша собственная система в Бензалема, — сказал он, — того же порядка. Но тогда как у нас это было достигнуто после подготовки, длившейся несколько столетий, причем принцип заключался в том, чтобы все население поднялось до достигнутого высшего уровня, здесь равенство было введено гораздо более простым и быстрым методом, состоявшим в том, чтобы довести всех до самого низшего уровня».

Сатира всегда признавалась законным орудием писателя-утописта, и марксизм и СССР такие же законные объекты сатиры, как и любые другие, но вряд ли можно назвать сатирой приписывание . чему-либо ряда

свойств и принципов, которых у него нет. И хотя искаженное изображение марксизма стало явлением обычным, все же несколько странно, чтобы писатель такого значения, как Сэмюэль, оказался настолько невежественным в наиболее элементарных принципах марксизма или так мало заботился об их честном изложении, как это видно из приведенных выдержек. Книга, в целом дающая одной рукой то, что отнимает другой, приходящая к заключению, что Британии нужно, в сущности, лишь слегка быстрее продвигаться по пути, по которому она следует, носит на себе печать усталости и банальности, полностью отражая тот тупик, в который зашла теперь либеральная мысль.

Но какой бы она ни была, все же эта утопия — единственная за последние годы, которая претендует на положительный характер. О нескольких других произведениях будет достаточно лишь бегло упомянуть. Имеется прежде всего обширная коллекция весьма недолговечных книг, в которых утопическая форма использована в качестве строительных лесов для романтической фабулы, чье главное назначение развлекать; о них стоит упомянуть лишь как о доказательстве продолжающейся популярности утопической формы. Типичными книгами в этом роде, хотя и разного достоинства, являются «Острова сирот» Розы Маколей (1924), «Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона (1933) и «Они нашли Атлантиду» Денниса Уитли (1936). Из них наиболее заслуживает внимания «Острова сирот», представляющий живо написанную фантастическую повесть о возникшем на одном острове на Тихом океане (в результате кораблекрушения у этого острова) поселении группы детей-сирот под присмотром набожной воспитательницы — старой девы с твердыми принципами. Открытие острова через семьдесят лет дает повод для забавной, хотя и поверхностной сатиры над жизнью викторианской и современной Англии, причем автор очень тонко использовал интерес, вызываемый темой о необитаемом утопическом острове.

Другая группа произведений хотя и имеет до известной степени утопический характер, но вряд ли подлежит рассмотрению в этой книге, так как в нее входят книги, представляющие собой «научную» фантазию о будущем. Множество этих книг необозримо: тут и бесчисленные американские макулатурные романы, остав-

ляющие далеко позади Уэллса в своем неистовом исследовании межзвездных пространств, и такие серьезные работы, как «Назад к Мафусаилу» Шоу (1921), «Последний суд» Дж.Б.Холдейна (1927) и «Последние и первые люди» Олафа Степлдона (1930).

Рост фашизма в 20-х годах и образование широкого антифашистского фронта также получили отражение в утопиях. Две открыто антифашистские негативные утопии, написанные как предостережение человечеству на случай, если бы фашизм восторжествовал во всем мире, принадлежат Джозефу О'Нейлу — «Страна под Англией» (1935) и Мэррею Константайну — «Ночь свастики» (1937).

В «Ночи свастики» весь мир поделен между германской и японской империями, одинаковыми по своей мощи, политике и методам. В Германской империи, о которой идет речь в книге, все существующие стремления фашизма доведены до своего логического завершения. Вокруг Гитлера образовалась законченная иерархическая система:

«Насколько женщина выше червя,
Настолько мужчина выше женщины.
Насколько мужчина выше женщины,
Настолько наци выше иностранного
гитлеровца.
Насколько наци выше иностранного
гитлеровца,
Настолько рыцарь выше наци.
Насколько рыцарь выше наци,
Настолько фюрер (благослови его бог)
Выше всех рыцарей».

Женщины окончательно унижены, а мужчины, даже немецкие наци, не более как неграмотные крепостные; насилие и грубость определяют взаимоотношения; расовое превосходство стало абсолютным принципом.

Наиболее интересна черта, позднее разработанная Джорджем Оруэллом: это полное изглаживание из памяти прошлого — вся история, вся литература, все старинные памятники уничтожены, так что ничего не осталось, чтобы напоминать людям о цивилизации, предшествовавшей фашизму, и послужить образованию очагов протеста. Вокруг этого мотива развивается несложный сюжет книги, рассказ о старом рыцаре, в чьей семье существует тайная традиция неподчинения и сохранились

свидетельства о старом времени. Он передает их англичанину, и мы можем предположить, что из этого впоследствии вырастет оппозиция, которая со временем уничтожит фашизм. Несмотря на эту надежду, общий эффект отрицательный и удручающий: нам убедительно доказывают, что фашизм представляет явление опасное, но не говоря, как можно с ним бороться.

То же относится к книге «Страна под Англией», хотя технический уровень ее значительно выше. Здесь не прямое описание фашизма, а род аллегории. Герой, исследуя стены Рима, обнаруживает ход в темное подземное царство, где среди чудовищ и плесени уцелели потомки римлян, которые спаслись тут во времена англо-саксонского вторжения. Перед лицом безумия и разложения, грозившими им из-за ужаса вечной ночи, эти люди построили общество, в котором индивидуальное сознание и даже речь исчезли и в котором римская дисциплина и послушание доведены до такой степени, когда личная жизнь каждого составляет функцию государства. Любое действие, любая мысль, которые были не нужны государству, не просто исчезли, но сделались физиологически невозможными.

В тексте есть только намеки на современный фашизм, но в предисловии (автор его подписался инициалами А.Е.) о нем говорится следующее:

«Высшей формой, которой может достичь сатира, является нарочитое восхваление критикуемой политики, ее апофеоз, заставляющий вздрогнувшее человечество отпрянуть от картины полной реализации его собственных идеалов. Именно это сделал Джозеф О'Нейл, придумав государство, где осуществлено полное уничтожение индивидуализма, где воле господина (или Гитлера) его Утопии подчинено обезличенное человечество; и мы отворачиваемся от видения этого совершенства механизированного человечества, как если бы мы заглянули в самый ужасный человеческий ад».

Во всех этих книгах одна главная нота — уход. Уход в фантазию, в ненаучное использование «науки», во мрак во имя мрака. Почти везде утрачена вера в то, что из существующего общества может вырасти справедливое и достойное общество. В последнее время этот уход превратился в бегство, и в таких книгах, как «Обезьяна

и сущность» Олдуса Хаксли (1948) и «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» Джорджа Оруэлла (1919), обнаруживается самая откровенная реакция, решимость сопротивляться «практическому осуществлению» Утопии, глубокое убеждение в том, что надо держаться за существующие установления, как бы испорчены они ни были, так как любое изменение поведет к ухудшению.

Ничуть не думая сопоставлять с такими вырожденческими книгами блестящий невинный роман Герберта Рида «Наивное дитя» (1935), мы все же хотим отметить, что уже в нем отчетливо выражено желание уйти от сложной действительности современного мира. Рид описывает два утопических мира, упрощенных, завершенных и абстрактных: один — в крошечной южноамериканской республике в начале XIX века, другой — под землей. Он пытается передать последнему часть знаний надземного мира, но это оказывается невозможным:

. «Его свидетельство имело не большую ценность, чем свидетельство человека, который проснулся бы после отчетливого сна. Его сон был реальным, но единственным в своем роде».

Именно уникальность сна Рида, его полная оторванность от чего-нибудь, похожего на наш опыт, и делают его Утопию совершенно нереальной. Мир, им описываемый, немного напоминает описанный в последней части книги Шоу «Назад к Мафусаилу»: в нем вслед за юношеским периодом игр и любовной свободы люди стали постепенно переходить к легким видам работы, к интеллектуальным утехам и, наконец, к одиночному созерцанию, заканчивающемуся смертью, после которой их тела сохраняются навеки в кристаллическом состоянии. Все в мире стремится к простоте кристаллов, и вокруг их собиранья, устройства и созерцания, перезвона разнообразных кристаллических гонгов и сосредоточиваются все удовольствия и философия населения. В «Назад к Мафусаилу» Шоу еще ранее определил то состояние духа, которое обнаруживается в романе «Наивное дитя».

«Тиндаль заявил, что он видел в Материи залог и потенцию для всех форм жизни, и, вооруженный своей ирландской графической ясностью воображения, нарисовал картину мира намагниченных атомов, с положительным и отрицательным полюсами у каждого, соединяющихся благодаря отталкиванию

и притяжению в упорядоченную кристаллическую структуру. Такая картина имеет опасное очарование для мыслителей, удрученных кровавыми беспорядками живого мира. В поисках более чистых объектов мышления они находят в концепции кристаллов и магнитов счастье более драматическое и менее ребячливое, чем счастье, находимое математиками в отвлеченных числах, потому что они видят в кристаллах красоту и движение без разлагающих appetitов плотской жизненности».

Рид, как и его герой, тоскует по порядку и красоте. Он надеется прежде всего обрести их в аркадской простоте своей южноамериканской Утопии, но, потерпев неудачу в этом, находит их, следуя в этом случае многозначительному образу реки, текущей обратно к источнику, в нечеловеческой породе, для которой смерть есть высшая форма бытия. Это то же самое видение, которое он выразил значительно раньше в одной из своих поэм:

Родиться новые дети должны от богов
в стране бессмертия, где
неразмытые скалы вздымаются ясные
на фоне холодного зеркала
горных озер, где нет пороков у духа и плоти.
Чувство и образ они должны переделать —
но воссоздавать
не станут любви: концом ее будет ненависть;
не нужны им будут слова, ибо слова лгут.

В этом видении нет места надеждам на будущее, но это не те безобразные видения, которые описывают Хаксли и Оруэлл. «Обезьяна и сущность» не столько отрицание «Прекрасного нового мира», сколько добавление к нему. В этой книге капиталистический мир достиг наивысшего торжества в обстановке холопского благополучия; сегодня Хаксли предпочитает оседлать другого конька и описывать, как этот мир сам себя разрушает в третьей мировой войне, доведенной до конца при помощи атомного и бактериологического оружия. Его книга описывает эту картину послевоенных разрушений. Горстка дикарей, опустившихся, подточенных болезнями, «грубых, как само варварство, но без его надежд и удовольствий», живет паразитами в Лос-Анжелосе на трупе цивилизации, употребляя книги на топливо и грабя могилы, что-

бы достать одежду. Корабль из Новой Зеландии, единственной страны, которой удалось уцелеть благодаря своему географическому положению, появляется у побережья, и в руки варваров попадает новозеландский биолог.

Обнаружив, что Балиел (Сатана) теперь бог, ибо окончательно восторжествовало зло, этот последний представитель человечества прибегает к умилюющему обрядам, в тщетной надежде избежать уничтожения. Викарий Балиела объясняет своему посетителю, как все произошло:

«— Это началось с машин и первых кораблей с зерном из Нового Света. Пища для голодных и бремя, снятое с плеч человека...

Но Балиел знал, что кормить — значит растить. В старое время, когда люди занимались любовью, они лишь увеличивали детскую смертность и снижали вероятность продолжения жизни...

Да, Балиел предвидел все это: переход от голода к импортированной пище, от импортированной пищи — к процветанию населения и от процветания — снова к голоду. Снова к голоду. К Новому Голоду, Высшему Голоду... Голоду, являющемуся причиной тотальных войн, к тотальным войнам, порождающим еще больший голод...

Прогресс и национализм — таковы были две великие идеи. Он вложил их им в головы. Прогресс в том, что вы можете получить нечто вместо ничего; теория о том, что вы можете выиграть в одной области, не оплачивая этот ваш выигрыш в другой... Национализм — теория о том, что государство, подданным которого вы оказались, является вашим единственным и подлинным божеством».

Из этого видны два момента: убежденность Хаксли в безумии и порочности человеческого рода и его мальтузиазм (новое наименование мальтузианства, предложенное Джеймсом Файфом в «The Modern Quarterly»¹).

¹ «Мальтузианские идеи не умирают. Наоборот, они становятся все хуже и хуже. Их последний выразитель, Фогт, в своей книге «Путь к выживанию» утверждает, что возможность увеличения производства продуктов питания ограничена, что есть предел, выше которого оно идти не может. Восторги Фогта в отношении войн, чумных эпидемий и голодовок как факторов, лимитирующих увеличение человеческого населения, заслуживает специального названия, и я предлагаю назвать их мальтузиазмом. («The Modern Quarterly», vol.VI, No 3, p.201).

У него это проявляется не впервые, уже двадцать лет тому назад в «Античном сене» он разглагольствовал по поводу

«способов, которыми они размножаются, как личинки, сэр, совсем, как личинки. Миллионы их ползают по всей стране, распространяя всюду разложение и грязь, портя все. Я возражаю против этого народа...

С населением, которое в одной Европе увеличивается ежегодно на миллионы, нельзя делать никаких политических прогнозов. Нескольких лет такого скотского размножения будет достаточно, чтобы опрокинуть наши самые мудрые планы, или их уже было бы достаточно, если бы такие мудрые планы были выработаны сейчас».

Именно это сочетание мальтузиазма и ненависти, являющееся самой отличительной чертой «Обезьяны и сущности», делают эту книгу столь похожей на беллетристический вариант книги Фогта «Путь к выживанию». Хаксли видит впереди бедствия, вызванные не неправильной политикой капитализма, не какими-нибудь ошибками, которые можно было бы исправить, а тем, что люди подобны личинкам и заслуживают катастрофы, хотя бы в наказание за свою самонадеянность, потому что «эти ничтожные рабы колес и балок стали мнить себя победителями природы».

Так как считается абсурдной сама идея прогресса и мира, более совершенного, чем тот, в котором мы живем, то очевиден и практический вывод: мы должны избегать всяких попыток изменить положение, должны соглашаться с любыми существующими несправедливостями и страданиями, потому что, пытаясь их выправить, мы тем самым нарушаем «равновесие природы»; иными словами, мы должны позволить действовать «естественным ограничителям» Мальтуса и тем избежать худших из бедствий, которые Хаксли описывает с каким-то неприятным смакованием. Очень показательно, что он никогда не обходится в своих общих обличительных выпадах без того, чтобы не поглумиться над коммунизмом и Советским Союзом, как характерно и то, что книга «Обезьяна и сущность» широко популяризировалась и расхваливалась в Соединенных Штатах.

Можно было бы подумать, что эта книга представляет предел той глубины падения, до которой может докаться этот новый жанр антиутопической литературы, но появление годом позже книги «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» лишило ее и этого преимущества. Мы тут знакомимся с миром, поделенным между тремя «коммунистическими» государствами, находящимися в состоянии непрерывной войны, постоянных нехваток, постоянных чисток и постоянного рабства. «Герой» книги работает в министерстве правды, чья задача заключается в том, чтобы непрерывно обманывать народ относительно того, что происходит в действительности, и при этом воссоздавать прошедшее таким образом, что невозможно установить правду относительно того, что когда-либо произошло. Для этой цели создан новый язык — «двойной разговор», в котором даже «мысленное преступление», то есть малейший намек на расхождение с политикой правительства в любой данный момент, сделано невозможным. Эта цель еще не вполне достигнута, и герой совершает «мысленное преступление», а вдобавок еще «половое преступление», то есть согрешает по части любви или довольно дрянного ее заменителя. Стоит отметить, что в мире Оруэлла принудительная невинность играет ту же роль, что принудительное совокупление в «Славном новом мире»: в обоих случаях цель состоит в том, чтобы искоренить нормальное чувство полового влечения и этим путем выродить человеческий интеллект, чтобы он уже не мог служить базисом для индивидуальности.

Из-за своих преступлений герой и его любовница попадают в руки министерства любви, где они подвергаются в течение месяцев пыткам, которые Оруэлл подробно и смакуя описывает. Отпущенные на свободу, они совершенно опустошены, сломлены и лишены всяких человеческих свойств. Весь рассказ, как и в романе «Обезьяна и сущность», составлен с претензией на философские рассуждения, но как интеллектуальная атака марксизма не заслуживает даже презрения. Единственное, что Оруэлл делает с большим искусством, это играет на самом низменном страхе перед распадом капитализма и на предрассудках, порождаемых буржуазным обществом. Его цель заключается не в оспаривании теории, но в том, чтобы поселить в умах своих читателей иррацио-

нальное убеждение, что любая попытка построить социализм неизбежно ведет к миру, где царят испорченность, пытки и неуверенность. Чтобы достичь этого, никакая клевета не слишком непристойна, никакое средство не слишком грязно: «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» — это, в Англии по крайней мере, самое последнее слово в прославлении контрреволюции.

Это было бы жалким концом блестящей истории утопии, если это был в самом деле конец. Но это, конечно, не так. Само появление таких дегенеративных книг, как «Обезьяна и сущность» и «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый», говорит о том, что приближается новая фаза. Такие книги являются признанием того, что у сторонников буржуазного общества не осталось ничего, что можно было бы защищать, что оно само уже не способно дать народу какую-нибудь жизненную перспективу, не говоря о надежде на прогресс. В этом смысле их скорее следовало бы назвать антиутопиями, чем утопиями, так как сущностью классических утопий прошлого была вера в то, что посредством сатиры, критики и оказания поддержки примерам, достойным подражания, можно помочь изменению мира. Они играли положительную роль, они стимулировали мысль, заставляли людей критиковать злоупотребления и с ними бороться, учили их, что бедность и угнетение не являются частью естественного порядка вещей, который следует терпеливо сносить.

Но и это не все. Мы можем видеть сейчас, как строительство социализма меняет людей и природу в масштабах, о которых никогда не мечтали. Фантазии Кокейна, проекты Бэкона, предсказания Эрнеста Джонса переводятся на язык фактов в планах, изменяющих теперь лик и климат СССР. Профессор Бернал, касаясь недавно лишь одной стороны этих планов, писал:

«Орошение и облесение входят в план, охватывающий все засушливые площади Советского Союза, начиная от абсолютных пустынь до сухих песчаных степей и засушливых районов. Вся охваченная этим планом площадь достигает примерно двух миллионов квадратных миль, то есть удвоенной площади Западной Европы, или двух третей площади Соединенных Штатов. Вся эта площадь будет преобразована путем трех последовательных и дополняющих друг друга операций — лесонасажде-

ний, строительства гидроэлектростанций и судоходных каналов и ирригации и мелиорации земель. Хотя эти меры и проводятся порознь, они составляют отдельные части одного цельного проекта».

Осуществление Утопии силами рабочего класса, который Хаксли и Оруэлл находят столь страшным, является оправданием веры в то, что легло в основу всех великих утопических произведений прошлого, веры в способности и прекрасное будущее человечества.

Сегодня длинный ряд славных утопических писателей влился одним из потоков в могучую реку социалистического движения и внес в него свой благородный вклад. Сегодня миллионы людей убеждены в том, что Утопия — не в виде какого-то совершенного, а потому неизменного общества, а в виде живого общества,двигающегося все к новым победам, — будет достигнута, если люди будут готовы за нее бороться. Человеческое знание, человеческая деятельность, использование науки на службе народа, а не монополистов и поджигателей войны ведут к такому миру, который, хотя и не будет отвечать желаниям Мора, Бэкона и Морриса или неведомых поэтов, мечтавших о стране Кокейн, будет обогащен всеми ими и многими другими, кто внес свой вклад в ту неопределимую, но всегда живую и растущую реальность, которую я назвал Английской Утопией.

КОНЦОВКА ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ О КОКЕЙНЕ

Желанная страна
Солнца и молочных поросят,
Где страсти утоляются легко, —
Вот рай для бедняка.
Ах, там и чистая вода
Во рту вином становится
И ветер буйный укрощен,
А человек
О радости всегда поет.
Там даже человеческим костям
Легко лежать в земле,
И мягче им, чем колыбель,
Их каменное ложе.

Красивей, лучше человек
Становится со временем,
Уподобляется природе,
Как и она ему;
И слившийся субъект с объектом
К вершинам славы мчатся.
И торт не сходит со стола,
И гусь, зажаренный румяно.

Так мечтал
Старинный тот поэт,
Обманиваемый шесть веков философом
И богом проклятый на голод и страдания,
Что знал лишь тяжкий плуг
Да чахнул у станка.
Все тяжелей был труд
И все чернее мрак судьбы.

По гудку на работу утром,
Проснувшись, идет человек...

Бьют фонтаны тяжелыми струями меда
В забытом сне о Кокейне,
Наслаждаясь той праздностью,
Что все яснее
Воспринималась как глупость,
Пока не проснулся он в Хаммерсмите
И чудное утро настало,
И мир озарился,
И наслажденьем стала не праздность,
А новый труд, преображенный и легкий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРАНА КОКЕЙН

Я даю ниже полный текст «Страны Кокейн» в современном стихотворном переложении. Единственным достоинством этой обработки является ее точное соответствие оригиналу, насколько оно было совместимо с сохранением структуры и ритма. Более половины подлинного текста находится в Кембриджском сборнике прозы и стихов; более полный вариант помещен в таких изданиях, как «Altenglische Sprachproben» Метцнера или в «Thesaurus» Хикса. Насколько мне известно, перевод поэмы на современный английский язык до сих пор не публиковался. Я полагаю, что многие читатели найдут такой перевод удобным, потому что, хотя подлинный текст и не представляет никаких неодолимых трудностей, язык его обладает некоторыми особенностями, могущими воспрепятствовать надлежащему пониманию поэмы.

В море на запад от страны Спейн
Есть остров, что люди зовут Кокейн,
И хоть пройди весь белый свет,
Страны богаче и лучше нет.
Пуškai прекрасен и весел рай,
Кокейн куда прекраснее край!
Ну что в раю увидишь ты?
Там лишь деревья, трава, цветы...
Услад там много, но тебе в рот
Всего попадет разве пресный плод.
Нет ни трактира и ни пивной,
Залей-ка жажду одной водой!
И нету людей. Вот рай чем плох,
Там двое всего: Илья да Енох.
Было б мне грустно попасть туда,
Где только у двух человек дома.

Чтоб в Кокейне поестъ и попить,
Не нужно стараться и деньги копить.
Вина себе вволю, любую еду
В обед и ужин всегда найду.
Я снова скажу — готов поклясться,—
Второго Кокейна не может попасться.
Другую страну ты найдешь навряд,
Где так же блаженство и радость царят.

Много видов сладостных там.
День постоянно, нет места ночам.
Ссор и опоров нету, поверьте!
Живут без конца, не зная смерти.
В одежде и пище нет нехватки,
У мужа с женой не бывает схватки,
Нету ни змей, ни лисиц, ни волков,
Ни коней и кляч, ни волов и коров,
Нету овец, ни коз, ни свиней,
Конюхов-холуев — нет и тех, ей-ей!
Жеребцов и конюшен совсем не ищи,
Другие там вещи зато хороши.
В одежде, постели, во всех домах
Ни вшей нет, ни мух, не слыхать о блохах.
Снег не валит, ни града, ни грома...
Улиток с червями нет возле дома.
Ни тебе бури, как нет и ветров
Или дождя. Нигде нету слепцов-.
Одни там лишь песни, веселье, бал,
Счастлив человек, кто туда попал.

Широкие реки текут молока,
Меда и масла, а то и вина.
Там совсем не нужна водица,
Для виду разве да чтоб помыться.
Плодов бесчисленно там «а растениях
В сладкое зреет всем утешение.

Аббатство здорово там красивое
Набито монахами — белыми, сивыми.
Ну, а комнат у них, а какие чертоги!
Паштетные стены стоят там, ей-богу,
И жирного мяса и рыб без костей,
Каких никогда не едали вкусней.

Из пышек пшеничных на крышах дрань,
На церкви и кельях, куда ни глянь,
Из пудингов башни стоят по углам —
Сладкая пища самим королям.
Любой приходи — выбирай, что по нраву,
И ешь, сколько влезет, как будто по праву.
Все вместе у всех — у юнцов, стариков,
У кротких, у смелых, худых, толстяков.

Светел, красив монастырь стоит:
Длинный, широкий — красивый вид.
Из хрусталя колонны стоят,
На солнце, как яркий свет, горят.
Из яшмы зеленой у них капители,
А низ из кораллов, чтоб все глядели.
Дерево есть за аббатства оградой,
Даже смотреть на него отрада.
У корней — имбиря запах летучий,
Ростки — из валерьяны пахучей,
Мускатный отборный орех — его цвет,
Ствол корой из корицы одет,
Плоды — ароматные гроздья гвоздики.
Всяких пряностей — запасы велики.
Розы повсюду пунцового цвета,
Лилии в снежные ризы одеты.
Не вянут они: цветут дни и ночи,
Лишь бы людские радовать очи.
В аббатстве том быют четыре ключа.
Вода — для здоровья, лечить хороша.
Она, как вино иль лечебный бальзам,
Свободно течет на потребу всем нам.
В дивных ключи текут берегах —
В золоте все, в драгоценных камнях.
Там жемчугов рассыпанный клад,
Голубые сапфиры, алый гранат,
Хризопразы, ониксы, бериллы сверкают,
Изумруды зеленым огнем отливают.
Хризолит с аметистом, как напоказ,
Гелиотроп, халцедоны, топаз.

На каждом кусту там всякие птицы —
Дрозды.-певуны, соловьи, синицы;
Поют жаворонки, дятлы там тоже,

Больше, чем ты сосчитать когда сможешь!
Без пения птиц не проходит минутки —
Поют непрерывно круглые сутки.
Еще вот диковина там какая:
Гусей жареных летает стая,
На вертелах все — ей-богу, клянусь!
Гогочут: «Я — гусь, я — горячий гусь!»
Чесноком приправлены гуси не худо,
Изо всех это самое смачное блюдо.
А жаворонки, что так вкусны,
Влетают людям прямо во рты.
Тушенные в соусе с луком, мучицей,
Присыпаны густо тертой корицей.
И сколько захочет, всяк может пить:
Потеть не надо, чтоб счет оплатить.

Когда зазвонят к обедне в храме
И монахи молиться пойдут толпами,
Хрусталем обернется в окнах стекло,
Чтоб было монахам читать светло.
Потом же, когда отслужена месса
И книги аббат положит на место,
В окнах церковных стекло опять
Хрустала место спешит занять.

Так вот, пообедав, монахи гурьбой
Бегут за ограду заняться игрой,
Летать так не сможет ни сокол, ни птица
Под небом, как по лугу мчится
Монах развеселый в большом капюшоне
И длинном белом своем балахоне.
Аббату монахов резвость по нраву,
Он тешится их разудалой забавой.
Но вот уже время обратно их звать,
Вечернюю службу пора начинать.
Но слушать аббата не хочет никто:
Играют монахи да дразнят его.
И только сверкают их резвые пятки —
Они от аббата бегут без оглядки.
Но вдруг он в лесочке девицу встречает:
Без слов он немедля ей зад заголяет,
И бьет по нему для монахов он сбор,
Спешили они, чтоб к вечерне в собор.

Монахи такую увидев забаву,
Бегут взапуски все к нему из дубавы.
Кружком обступили монахи девицу
И шлепают каждый по ягодицам.
Тут и конец их дневных трудов,
Осталось им бражничать до петухов.
На длинных столах сытный ужин их ждет,
Процессией пышной к ним братия идет.

От них недалеко еще есть аббатство.
По правде сказать, это женское царство.
Густым молоком там струится река,
В кладовых монастырских — цветные шелка.
И вот в добрый час, в летний день погожий,
Лодку монашки берут помоложе.
По речке приятной тихонько плывут:
Одни у них правят, другие гребут.
За поворот уплывают укромный,
Одежду с себя там снимают проворно
И весело в воду ныряют и ловко
Плавают, плещутся вволю плутовки.
Зазидят монахи как эти затеи,
Бегут к ним, тропинки избрав по прямее,
Вплотную к монашкам они подбегают,
Спешат, по подружке себе выбирают.
Добычу несет всяк к аббатству скорей,
Укрыться торопится в келье своей.
Молитвам святым ее там обучает,
Забавится сам, и она не скучает.
Монах жеребец, как уж водится, славный,
Своим хохолком управляет исправно.
И еще прежде, чем минует год
Он жен как раз дюжину переберет.
Не по молитве, только по праву
Им достается такая забава.
А какой монах любит соснуть
И телу дать хорошо отдохнуть,
Надеяться может тот — бог мне судья, —
Что станет аббатом он, право, друзья.

В эту страну, чтобы путь найти,
Епитимью надо сперва пройти.
Надо сначала целых семь лет

В навозе свином просидеть,
По шею в него погрузиться —
Тогда сможешь там очутиться.
Милостивые, добрые лорды,
Если откажетесь гордо
Эту епитимью стерпеть,
Никогда вам тогда не суметь
Из этого света уйти туда
И остаться там навсегда.
Молитесь, чтобы вам помог
Туда попасть милосердный бог!

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Ко всей книге

- Joyce Oramel Hertzi er, The History of Utopian Thought
London, 1922.
Lewis Mumford, The Story of Utopias, New York, 1923.
Paul Bloomfield, Imaginary Worlds, London, 1932.
Marie Louise Berneri, Journey through Utopia, London,,
1950.
Henry Morley, Ideal Commonwealthc, London, 1885.

К главе I

- The Cambridge Book of Prose and Verse: From the Beginnings to
the Cycles of Romance, Ed. George Sampson, Cambridge,
1924 (for Land of Cokaygne).
E. K. Chambers, The Medieval Stage, 2 vols., Oxford, 1903.
E. K. Chambers, The English Folk-Play, Oxford, 1933.
R. J. E. Tiddy, The Mummers Play, Oxford, 1923.
S. Baring-Gould, Curious Myths of the Middle Ages, Lon-
don, 1866.
Benjamin Farrington, Head and Hand in Ancient Greece,
London, 1947.
Joseph Hall, Mundus Alter et Idem, London, 1607. (In Latin
trs. John Healey, 1608).
Jean d'Outremeuse, Travels of Sir John Mandeville (Many
modern editions and translations).
Margaret Alice Murray, The Witch Cult in Western:
Europe, Oxford, 1921.

К главе II

- Sir Thomas More, Libellus vere Aureus nee Minus Salutaris
quam festivus de optimo reip. statu, deque nova Insula Uto-
pia, Louvain, 1516 (Томас Мор, Утопия, М., 1953).
Utopia: or the best state of a republic weale, Translated by
Ralph Robinson, London, 1551.
Plato, The Republic (Many English editions) (Платон, Полное-
собрание творений в 15 томах, Л., 1922—1929).

Frederic Seebohm, *The Oxford Reformers*, London, 1869.
 Karl Kautsky, *Thomas More and his Utopia*, Stuttgart, 1887
 (In German, English translation, London, 1927),
 Russel Ames, *Citizen Thomas More and his Utopia*, Princetown, 1949.
 H. W. Donner, *Introduction to Utopia*, London, 1945
 T. E. Hulme, *Speculations*, London-, 1924.
 Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, London, 1946.

К главе III

Francis Bacon, *New Atlantis*, London, 1627 (in Latin. Many English translations available) (Френсис Бэкон, *Новая Атлантида*. Опыты и наставления нравственные и политические, М., 1954).
 Benjamin Farrington, *Francis Bacon, Philosopher of Industrial Science*, London, 1951.
 Samuel Hartlib, *A Description of the Famous Kingdom of Macaria*, London, 1641 (Also in *Harleian Miscellany*).
 G. H. Turnbull, *Samuel Hartlib*, Oxford, 1920.
 John Sadler, *Olbia: The New Island Lately Discovered*, London, 1660.
 Samuel Gott, *Nova Solyma*, London, 1648 (In Latin. Translated and Edited Rev. Walter Begley, 2 vols., London, 1902).
 James Harrington, *Oceana*, London, 1656.
 John Toland, *The Oceana and Other Works of James Harrington, Esq.*, London, 1700.
 H. F. Russell Smith, *Harrington and His Oceana*, Cambridge, 1914.
New Atlantis. Begun by the Lord Verulam, Viscount St. Albans and Continued by R. H. Esquire, London, 1660.
 Henry Nevile, *The Isle of Pines*, London, 1668 (Also in *Everyman Library: Shorter Novels*, Vol. 2).
 Joseph Glanvill, *Anti-Fanatical Religion and Free Philosophy in a Continuation of the New Atlantis*, London, 1676 (In *Essay on Several Important Subjects*).
 Caplain Siden (Denis Vairasse d'Allais), *The History of the Sevarites or Severambi*, London, 1675 and 1679.
 Basil Willey, *The Seventeenth Century Background*, London, 1934.
 A. S. P. Woodhouse, *Puritanism and Liberty*, London, 1938.
 Leonard Hamilton, *Gerrard Winstanley, Selections from his Works*, London, 1944.
 D. M. Wolfe, *Milton in the Puritan Revolution*, New York, 1941.

К главе IV

Daniel Defoe, *The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner*, London, 1719 (Даниэль Дефо, *Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо*, моряка из Иорка, Л., 1932).
 Jonathan Swift, *Travels into Several Remote Nations of the World, By Lemuel Gulliver*, London, 1726 (Джонатан Свифт,

Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей, М.—Л., 1932).
 Swift, *Selected Writings in Prose and Verse*. Ed John Hquward, London, 1934 (Джонатан Свифт, *Сочинения*, СПб., изд. Чуйко, 1881).
 Francis Godwin, *The Man in the Moon, or a Discourse of a Voyage thither by Domingo Gonsales, the Speedy Messenger*, London, 1638 (Also in *Harleian Miscellany*).
 Margaret Cavenish. *Duchess of Newcastle, The Description of a New World, called the Blazing World*, London, 16th8.
 Simon Berington, *The Memoirs of the Sigr Gaudentio di Lucca*, London, 1738.
 Robert Paltock, *The Life and Adventures of Peter Wilkins*, London, 1751.
 Leslie Stephen, *Swift*, London, 1882.
 Herbert Davis, *The Satire of Jonathan Swift*, New York, 1947.
 Sir Charles Firth, *The Political Significance of Gulliver's Travels*, Oxford, 1938 (In *Essays Historical and Literary*).

К главе V

William Godwin, *Enquiry Concerning Political Justice*, London, 1793 (Second Ed, much revised. 17Г6).
 Poetry and Prose of William Blake, Ed. Geoffrey Keynes, London, 1927.
 Thomas Spence, *Description of Spensonia*, London, 1795.
 Thomas Spence, *The Constitution of Spensonia*, London, 1801.
 P. A. Brown, *The French Revolution in English History*, London, 1918.
 H. N. Brailsford, *Shelley, Godwin and their Circle*, London, 1913.
 J Bronowski, *A Man Without a Mask*, London, 1944.
 F. Engels, *Herr Eugen Duhring's Revolution in Science (Anti-Diihring)*, 1885 (In German, English trs., London, 1935) (Фридрих Энгельс, *Анти-Дюринг*, М., 1953).
 Mark Hoiloway, *Heavens on Earth*. London, 1951.
 Robert Owen, *The Book of the New Moral World*. London, 1836—1844 (Роберт Оуэн, *Избранные сочинения*, тт. 1—2, М.—Л., 1950).
 G. D. H. Cole, *The Life of Robert Owen*, London, 1930.
 Thomas Frost, *Forty Years Recollections*, London, 1880.
 John Saville, *Ernest Jones: Chartist*. London. 1952.
 Lord Lyll on, *Tte Coming Race*, London, 1870 (Э. Бульвер-Литтон, *Грядущая раса*, СПб., 1908).
 Samuel Butler, *Erewhon, or. Over the Range*, London, 1872.
 Samuel Butler, *Erewhon Revisited*, London, 1901.
 Samuel Butler, *A. First Year in Canterbury Settlement*, London, 1863.
 The Note Books of Samuel Butler, London. 1912.
 G. D. H. Cole, *Samuel Butler*. London, 1947.
 H. J. Massingham, *Samuel Butler and New Zea and (Geographical Magazine, Vol. III, N. 6)*, London, 1936.

К главе VI

- Edward Bellamy, Looking- Backward, Boston, 1888 (Эдуард Беллами, Через сто лет, М., 1907 .
- Conrad Wilbrandt, Mr. East s Experience in Mr. Bellamy s World, Translated by Mary J. Safford, New York, 1891.
- My Afterdream. A Sequel to be Late Mr. Bellamy s Looking Backward, by «Julian West», London, 1900.
- Arthur E. Morgan, Edward Bellamy, Columbia University Press, 1944.
- William Morris, News from Nowhere, London, 1890 (Вильям Моррис, Вести ниоткуда или эпоха мира, М., 1923).
- William Morris, Stories in Prose, Stories in Verse, Lectures and Essays. Ed. G. D. H. Cole, London, 1934.
- J. W. Mackail, The Life of Williams Morris, 2 vols, London, 1899.
- R. Page Arnot, William Morris, a Uindication, London, 1934.
- Richard Jefferies. After London, London, 1885.
- W. H. Hudson, A Crystal Age, London, 1887.
- Percy Greg, Across the Zodiac, 2 vols., London, 1880.
- Edmund Boisgilbert (Ignatius Donnelly), Caesar s Column: A story of the Twentieth Century, Chicago, 1890.
- E. W. Fisk, Dnnelliana, Chicago, 1892.
- Theodor Hertzka, Freeland. A Social Anticipation, 1890 (English transition by Arthur Ransome, London, 1891).
- Eugen Richter, Pictures of the Socialistic Future (English translation), London, 1893.
- Ernest Braman, What Might Have Been. The Story of a Social War. London, 1907.
- Jack London, The Iron Heel, New York, 1907 (Джек Лондон, Избранное, М., 1951).

К главе VII

- H. G. Wells, When the Sleeper Wakes, London, 1892 (Герберт Дж. Уэллс, Когда спящий проснется, М., 1930).
- H. G. We Us, Th- First Men in the Moon. London, 1901 (Герберт Дж. Уэллс, Первые люди на Луне, М., 1939).
- H. G. Wells, A Modern Utopia, London, 1905 (Герберт Дж. Уэллс, С- Воеменная Утопия, СПб.. 1906).
- H. G. Wells, The New Machiavelli, London, 1911 (Герберт Дж. Уэллс, Новый Макиавелли, Л., 1926).
- H. G. Wells, The World Set Free. London. 1914.
- H. G. Wells, Men Like Gods, London, 1922 (Герберт Дж. Уэллс, Люди как боги, М., 1930).
- H. G. Wells, Things to Come, London, 1935 (Герберт Дж. Уэллс, Облик грядущего (киноповесть), «Интернациональная литература», М., 1937).
- H. G. Wells, Mind at the End of Its Tether, London, 1945.
- G. R. Chesterton. The Napoleon of Notting Hill, London, 1904. (Г. К. Честертон, Наполеон из пригорода, Л., 1925).

- E M. Forster, The Eternal Moment, London, 1928.
- Aldous Huxley, Brave New World, London, 1932.
- Aldous Huxley, Ape and Essence, London, 1948.
- Lord Samuel, An Unknown Land, London. 1942.
- Rose Macaulay, Orphan Island, London, 1924.
- James Hilton, Lost Horizon, London, 1933.
- Dennis Wheatlev, They Found Atlantis, London, 1936.
- G. Bernard Shaw, Back to Methuselah, London, 1921 (Бернард Шой, Назад к Мафусаилу, М., 1924).
- J B S Haldane, Possible Worlds, London, 1927.
- Olaf Stapledon, Last and First Men, London, 1930.
- Joseph O'Neill, Land Under England, London, 1935.
- Murray Constantine, Swastika Night, London, 1937.
- Herbert Read, The Green Child, London. 1935.
- George Orwell, Nineteen Eighty-Four, London, 1949.